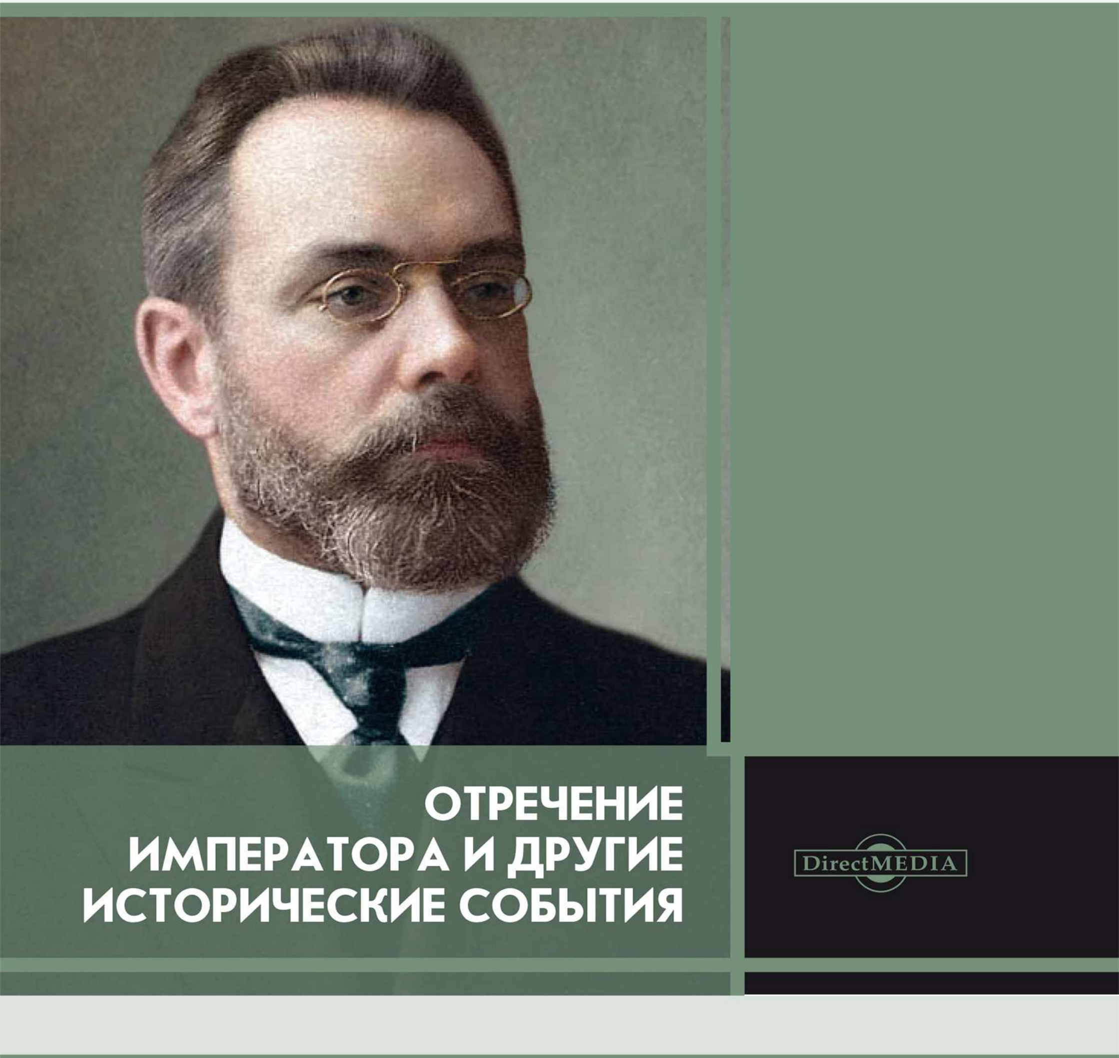
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. И. ГУЧКОВ



ОТРЕЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРА И ДРУГИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

А. И. Гучков

Отречение Императора и другие исторические события

Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства



Москва
Берлин
2020

УДК 94(47).084.2
ББК 63.3(2)611
Г93

Гучков, А. И.

Г93 Отречение Императора и другие исторические события : воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства / А. И. Гучков. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 358 с.

ISBN 978-5-4499-0431-7

В книгу вошли материалы, рассказывающие о деятельности Председателя III Государственной думы, военного министра Временного правительства Александра Ивановича Гучкова (1862–1936 гг.). Открывают издание стенограммы бесед (1932–1933 гг.) А. И. Гучкова с русским дипломатом Николаем Александровичем Базили, участвовавшем наряду с Гучковым в составлении акта об отречении Николая II от престола во время Февральской революции 1917 г. В стенографических записях отражены участие А. И. Гучкова в двух русских революциях, его взгляды на многие события, даны портреты политических деятелей конца XIX в. начала 30-х годов XX в. Кроме стенограмм приведена «Беседа с А. И. Гучковым», датированная 10.02.1936 г. Она была сделана за три дня до его смерти, и интересна тем, что касается обстоятельств смерти генерала Крымова.

В издании также представлены три речи А. И. Гучкова, произнесенные в 1912, 1913 и 1917 гг. В них отражены его взгляды на политические события, происходящие в стране.

В Приложение включены статья Льва Троцкого о Гучкове и повесть-фантазия Власа Дорошевича «Премьер», являющаяся своеобразной политической хроникой, написанной в художественно-публицистической форме, в которой отражена эволюция либерализма в период революции 1905 года.

УДК 94(47).084.2
ББК 63.3(2)611

ISBN 978-5-4499-0431-7

Запись бесед А. И. Гучкова с Н. А. Базили

Суббота, 5 ноября 1932 г.

Базили. I пункт (читает) «Генезис недоверия А. И. к левым». С этим в связи стоит второй пункт. В период, предшествующий революции, вы практически от левых отграничились. Как у вас наметился совершенно определенный курс в другую сторону? Затем у меня тут третий пункт: когда вы окончательно разочаровались в Николае II? Потому что у вас одно время было взаимное понимание.

Гучков. Лучше рассказать о моем отношении к нему с самого начала.

Базили. Тут очень интересная вещь — с Алексеевым. У Львова, у вас были сношения с Алексеевым...

Гучков. Моя связь с Алексеевым заключалась в том, что я его знал, встречался с ним, когда он был начальником штаба Киевского военного округа, потому что я его знал по японской войне и, так как я был в добрых отношениях с Ивановым, то я тогда несколько сошелся и с Алексеевым. Иванов и Алексеев были в числе тех высоких чинов нашей армии, которые понимали очень слабое состояние нашей обороны и предвидели, что приближается момент, когда нам придется мериться с противником первоклассным — Германией. Они отдавали себе отчет, что, если нас Германия застанет в беспомощном состоянии, мы будем разгромлены вконец.

Видя во мне человека, желающего восстановить нашу военную мощь после этого ослабления, созданного японской войной, они, в очень, правда, дискретной форме, помогали мне ориентироваться в военных вопросах, указывая главные потребности. Они не были в числе главных моих осведомителей, они мне язвы военного ведомства не раскрывали, а просто давали те или другие советы. Вот оттуда это

началось. Это было в годы 8, 9, 10, 11, а затем война и, так как мне пришлось одно время обслуживать в смысле помощи Красного Креста фронт, которым командовал Иванов, а начальником штаба был Алексеев, то это еще больше меня с ними свело. С Алексеевым еще ближе мои отношения сложились, когда он сделался главнокомандующим Северо-Западного фронта. Этот фронт как раз обслужен был Красным Крестом моим, и у нас с ним были добрые простые отношения. Я к нему заезжал, докладывал о санитарных вопросах, о вопросах медицинской помощи и затем всегда говорил о своих впечатлениях от фронта. Я его очень высоко ценил. Человек большого ума, большого знания. Недостаточно развитая воля, недостаточно боевой темперамент для преодоления тех препятствий, которые становились по пути. Работник усердный, но разменивающий свой большой ум и талант часто на мелочную канцелярскую работу — этим убивал себя, но широкого государственного ума человек...

Затем он в Ставке, я уже не на фронте, а председателем Центрального [военно-] промышленного комитета и, как председатель этого комитета, член Особого совещания по обороне. Там я и мои ближайшие друзья пытаемся влить какую-то жизнь в это совещание, толкаем на принятие больших решений, на ускорение темпов заготовки, но часто встречаем непонимание, косность, робость, иногда неискренность некоторых представителей военного ведомства, которые не решались обнаружить нужды и язвы, и тогда, в такие минуты я пытаюсь [действовать] через фронт, через Алексеева.

Некоторые свои горькие наблюдения и советы я излагаю письменно и посылаю их Алексееву. Посылаю не по почте, не ожидаю ответов и не получаю их. Одно из таких писем без моего знания и против моей воли попало, однако, в широкую огласку — оно напечатано в каких-то изданиях.

Тогда я был настолько возмущен тем, что военный министр Беляев такую ужасную вещь, как недостаток винтовок, скрывает от нас, обманывает нас, и я тогда написал Алексееву письмо очень резкого характера. Во главе правительства в это время уже Штюрмер...

Базили. Это было поздно летом 1916 года.

Гучков. Я свой обвинительный акт обобщаю обвинительным актом против всего правительства, которое не выполняет свой долг против армии. Московский городской голова Челноков! был в Петербурге, и я ему показал копию этого письма. Он просил меня на один день, кому-то хотел показать, и это было непростительно с его стороны, потому что я знаю, как письма эти опасны для самого дела, которому служишь. Это письмо было Челноковым или теми, кому он передал его, размножено и получило широкое распространение в военных кругах. Этот документ получил распространение на фронте, в то время как я имел в виду только Алексеева. Это было использовано как агитационное средство против строя: армия свой долг выполняет, а вот что делается в тылу! Это мне было очень неприятно, потому что я в то время пытался с этой властью столковаться и считал, что не время расшатывать ее. Этим, собственно, мои сношения с Алексеевым ограничиваются.

Базили. Алексеев знал о том, что могут быть в известных кругах известные замыслы, — это я не только допускаю, я имею далее с некоторых намеков Алексеева определенное убеждение, что он мог подозревать, но я почти уверен, что не было практических разговоров с ним на эту тему.

Гучков. Я тоже склонен думать, что это так. Он был настолько осведомлен, что делался косвенным участником.

Базили. По своему характеру он мог быть только тем, что вы говорите, — пассивным свидетелем. Были какие-то письма Львова к Алексееву.

Гучков. Я их не видел, но я думаю, что они касались просто общего положения о недопустимости, об опасности внутреннего положения. Об этом Алексеев много думал. Я часто с ним на эту тему говорил и имею полное основание думать, что он получал письма. Он, я думаю, Львову ничего не писал, потому что тут его корректность... Он был корректен, он бы себе не позволил. Получить — да... До революции мои отношения этим ограничиваются, а затем, после отречения, когда состоялось назначение великого князя Николая Николаевича, по нашему настоянию, и когда в первые же дни мы встретили в Петербурге сильнейшее сопротивление этому из левых кругов в правительстве Керенского, но надо сказать, я, поддерживая кандидатуру великого князя, не был никем поддержан в составе правительства. Я считал долгом поддерживать, потому что всегда хотел связь, преемственность сохранить. Затем, я считал, что у него хорошая военная репутация создалась. Мне казалось, что с наименьшими потрясениями... Во всяком случае, это не было тем больным местом, которое надо изъять.

Я настаивал, но когда я увидел, что встречаю слабую поддержку в самом правительстве, то согласился предупредить великого князя, чтобы он сам отказался, и тогда я тотчас выдвинул кандидатуру Алексеева. Я был в этом довольно одинок, потому что против этого был Родзянко (у него был свой кандидат в лице Брусилова) и почти весь думский Комитет. Они делегировали целую группу, которая пошла на заседание Совета министров, и гам они резко настаивали, чтобы назначен был Брусилов. Я был очень низкого мнения о Брусилове как о человеке, как о стратеге. У него были большие свои успехи, которые я приписывал не столько ему, сколько обстановке и хорошим сотрудникам. Так что тут уже я проявил большое упорство и решительно отверг кандидатуру

Брусилова, тем более, что к моим впечатлениям присоединились еще за первые дни революции просто определенные справки о том, как он в первые дни повел себя. Раболепно прополз он на брюхе перед солдатской демагогией, в то время как Алексеев вел себя с большим достоинством. Тогда я настоял. Алексеев был назначен, хотя сделал попытку отказаться от этого...

Базили. Первая встреча была ваша поездка в Ставку, вторая — я был у вас 5, 6, 7, и потом, я помню, вы должны были поехать в Ставку...

Гучков. Отдавая себе отчет не только в положительных сторонах Алексеева, но и в его слабых сторонах, я задумал какого-нибудь крупного военного с решительным характером в противоположность Алексееву, близко соприкасающегося с армией, назначить начальником штаба [верховного главнокомандующего]. В этих кругах было такое безлюдие, что какого-нибудь кандидата, который сам напрашивался [бы] на это, не было. Личного знакомства у меня не было с Деникиным, но был хороший надежный отзыв о нем, но ни разу не видал его. Я переговорил об этом с Алексеевым, потому что все делается с его согласия, он возражал, потому что он Деникина мало знал, затем иерархически это был большой скачок, в то время только что командовал дивизией или корпусом, так что у него стажа такого не было.

Я все-таки настоял на назначении Деникина. Деникин был вызван в Петербург, я ему объяснил, что от него ожидается, считал, что очень высоко надо держать знамя. Мы вынуждены будем на какие-то компромиссы идти, но должны опираться на непримиримость и настойчивость военного командования. Надо сказать, что Деникин тоже неохотно принял назначение, предвидя, какая это будет адская работа; его тянуло к фронту, к войскам, но он согласился. Таким образом, с согласия обоих

этих людей состоялось назначение. Каково было мое удивление, когда, приехав в Ставку, я застал, что Деникина и Алексеева еще не видали.

Базили. У меня было впечатление, что он не вошел в эту организацию, а остался чем-то висящим.

Гучков. Я не мог так судить, но я готов поверить. В одном я не ошибся, это что он на своем посту вел себя независимо. Военное мужество — это одно, другое мужество — гражданское. У него и это было — чувство достоинства. Он не поклонился новым силам. Вот так с Алексеевым кончилось.

Базили. Алексеев приезжал несколько раз в Петроград. Алексеев карьеру любил.

Гучков. Меня это удивляет, потому что другой любопытный эпизод был. После апрельского революционного движения в Петербурге я видел, что в правительстве не найду поддержки для того, чтобы начать борьбу, а одному начать было просто легкомысленно. Я думал уже уйти, не отказываясь от дальнейшей работы, потому что мой план был таков: бросить центр и помочь на фронте образоваться какой-нибудь вооруженной силе, которая могла оздоровить самый фронт. Мысль о Корниловском походе тогда возникла. Это мое решение пойти совпало с решением Корнилова. Его попытка оздоровить гарнизон петербургский, образовать известное ядро, надежное [как опора] правительству, увенчалась очень слабым успехом; по-видимому, у него тоже было чувство, что он не находит у правительства той поддержки, которая ему нужна, и он стал отпрашиваться на фронт.

В таких условиях нельзя заставить человека остаться. Надо человека, который охотно бы взялся за эту задачу. Я согласился, но подумал о том, чтобы использовать тот капитал, который накопился вокруг Корнилова; он за эти полтора месяца командования завоевал в революционном гарнизоне

высокое моральное положение. Против него бунтовали, но с ним считались. Человек он большого мужества, [не] считали, что он есть агент реакции, расправы, верили, что он новый строй признал воистину, так что он не вызывал против себя той злобы, тех подозрений, которые мог бы другой генерал вызвать, ему подтягивание гарнизона давалось легче, чем другому. Главное дело, у него был моральный авторитет.

Так как я ждал после апрельских дней повторения этих дней в более общей форме, полагая, что дойдет дело до вооруженных мятежей, то мне казалось, что надо было сохранить Корнилова на таком посту, где он в нужный момент мог бы быть использован в силу этих данных, которые в нем были. Мне пришло в голову, что, если его назначить командующим Северо-Западным фронтом на место ген. Рузского, которого я думал удалить, потому что он проявлял невероятную бездеятельность, апатию и, кроме того, находился в какой-то вечно брюзжащей саботирующей оппозиции Алексееву, то я думал, что если одновременно с назначением Корнилова в Псков еще произвести некоторую реформу в смысле подчинения Петербургского округа командованию [фронта,] тогда все события, которые происходили в Петербурге, были бы под высокой рукой псковского командования. Значит, [предположим, начинается] мятеж в Петербурге; в его компетенцию входит послать войска, произвести какие-то замены, словом, распоряжение петербургским гарнизоном и всякие события ведались бы Корниловым.

Поэтому я написал тогда Алексееву, что предполагаю уступить Корнилову командование Петербургским округом, перевести его на фронт и по таким-то соображениям думал его перевести в Псков. Алексеев ответил мне, что на уход Рузского согласен, но вместе с тем указал, что считает недопустимым назначение Корнилова на этот пост,

и с той обстоятельностью, с которой он всегда излагал свои мысли, этот отказ был мотивирован целым рядом пунктов. Я даже помню, какие пункты были. Во-первых, Корнилов не прошел все стадии, которые необходимы для занятия этой должности. Его служебная карьера была такова — он в боях командовал только дивизией; командование корпусом, откуда я взял его в Петербург, происходило в условиях отсутствия вооруженных столкновений. Поэтому такой скачок от командования корпусом до командования фронтом считался недопустимым. Он не обладает стажем, который нужен. Во-вторых, есть в пределах фронта много генералов, которые старше его по производству и которые имеют весь необходимый стаж, и, предвидя мою настойчивость, Алексеев закончил эту программу последним пунктом, где было сказано, что, если тем не менее вы не найдете возможным со мной согласиться, прошу принять мою отставку.

Я ответил ему, что он не отдает себе отчета в опасности Петербургского фронта, что какие бы вы победы ни одерживали на внешних фронтах, но если Петербург провалится — все провалится. Алексеев мне ответил, что он остается при своих прежних предположениях и настаивает на увольнении его, если я буду настаивать. Я собирался сам уходить, так как знал, что на мое место будет назначен Керенский и что среди некоторых элементов высшего командования развился некоторый демагогический карьеризм и были люди, которые, играя своей революционностью, преданностью новому строю, могли бы через Керенского попасть на такой высокий пост. Так как я предвидел, что в таком случае будут назначения не лучше, а хуже, то я сказал себе, что при таких условиях расставаться с Алексеевым нельзя. Если бы я сам остался, я настаивал бы на назначении Корнилова,

но я не доверял, чтобы преемник мой мог руководствоваться этими соображениями, и поэтому я написал Алексееву, что отказываюсь от кандидатуры Корнилова.

На место Рузского был назначен Др[агомиров], а Корнилову после поисков какого-нибудь высокого поста нашли на Юго-Западном фронте 8-ю армию, куда он был назначен и совершенно отрезан от Петербургского гарнизона. Это была ошибка. Вот это меня настроило горько по отношению к Алексееву, и я увидел, что не ошибался в том, что за все время работы с ним я не видел, чтобы он понял всю грозность положения в том смысле, что в такое грозное время надо к неординарным мерам прибегать. Назначение Корнилова нарушало известную обычную градацию, но польза была ясна, у Алексеева еще была привычка действовать в пределах старых узаконений, немножко рутина была. Он пишет мне так, что есть старше, чем Корнилов и, если Корнилов будет назначен, многие обидятся, и мне особенно горько было... Тут вся Россия гибнет... Все соображения, которые были в нормальных условиях, они все присутствовали, когда нужно было принять решение.

Базили. У меня следующий пункт: генезис Временного правительства. Как само Временное правительство создалось. Откуда Некрасов, Терещенко, Керенский. Как она мало-помалу кристаллизировалось еще до революции. Вначале образована группа людей, которые никогда не думали, что они станут Временным правительством, и как постепенно они сознавали, что подходят к ответственной роли.

Гучков. Тут, я думаю, Милюков мог бы дать более исчерпывающие сведения, чем я, так как я в этих переговорах не участвовал, они меня не видели и даже меня не осведомили об этом. Я никогда не присутствовал ни на каком совещании.

Базили. Вы не были на разговорах у Федорова?..

Гучков. Я был.

Базили. Это же и есть генезис Временного правительства.

Гучков. Юридически генезис таков: это соглашение между солдатскими и рабочими депутатами.

Базили. Интересно, как постепенно образовалась эта группа людей?

Гучков. Некоторые почему-то вошли в состав правительства, причем на совещании у Федорова не были. Кто произвел этот триаж...

Базили. Этот триаж произошел в последнюю минуту. Милюков играл большую роль.

Гучков. Я думаю, что он главный. В сентябре 1916 г. в Особом совещании по обороне Н. В. Сав[ич] сказал мне, что намечается одно совещание по политическим вопросам, что устраивает это совещание Милюков, что его, Савича, тоже звали, но он отказался, и он знает, что имеют в виду позвать меня...

Базили. Почему отказался?

Гучков. Он чувствовал, что пахнет революцией, и все, что могло его поставить в контакт с этими элементами, встречало с его стороны отпор. Он не боролся потому, что считал почти неизбежным, но уклонялся от какого-нибудь участия.

Базили. La peine de responsabilité?[1]

Гучков. Он так с самого начала не верил в успех, что приобщаться к этому не было смысла. Так вот, он меня предупредил. Одно время он был в составе Особого совещания по обороне.

Базили. Милюков не считал эту затею безнадежной, а наоборот.

---

[1] Бремя ответственности? *(Фр.)*

Гучков. Мы собрались. Там были Родзянко, Милюков, Шидловский, Шингарев, Годнев, Влад. Львов, Некрасов. Из не членов Думы был только Терещенко — я сам не отдавал себе отчета, почему, и объяснял это тем, что с ним был очень близок и высоко ценил его Родзянко. Инициатива совещания шла, очевидно, от Милюкова и его кадетской группы, но влияние на это совещание и видную роль в нем играл, несомненно, Родзянко; с ним, как с председателем Думы, очень считались. Там был поставлен вопрос о тревожном положении, очень ясно определившейся линии развития событий в сторону какого-нибудь большого народного движения, уличного бунта. Затем вопрос был поставлен не о том, нужно ли мешать этому либо содействовать. Предполагалось, что эти события пройдут независимо от воли и желания собравшейся группы, они сами собой разовьются. Вопрос был поставлен: что нам делать, когда это все наступит.

С другой стороны, было ясно: правительство, к которому мы все относились очень пренебрежительно (потому что чувствовалось какое-то отсутствие воли, разума, убеждения в своей правоте), не в состоянии будет дать отпор и подавить это движение, и произойдет одно из двух. Либо это движение будет иметь успех, и власть свалится, либо правительство в своей беспомощности обратится к общественным кругам, у которых есть известный авторитет, которые готовы взять на себя [ответственность] и справиться с этим кризисом. Обратится к нам, к людям, которые в составе законодательных учреждений выделялись. И было решено, как нам отнестись к этому моменту. Поскольку мы беспомощны в этой подготовительной стадии, стоим в стороне, все наши предположения не приняты в расчет, остановить это движение мы не можем, а присоединиться не хотим. Но когда это все совершится, мы не можем оставаться в стороне.

И тут была некая ошибка, в которую впадали некоторые участники совещания, предполагая, что после того, как дикая стихийная анархия, улица, падет, после этого люди государственного опыта, государственного разума, вроде нас, будут призваны к власти. Очевидно, в воспоминание того, что здесь был [как бы] 1848 год: рабочие свалили, а потом какие-то разумные люди устроили власть. Так что тут был известный элемент иллюзии. Затем, другая возможность, что правительство, почувствовав свое опасное положение, прибегнет к нашей помощи, осуществятся 1905–1906 годы. Верховная власть имела в виду призвать кадетов к власти.

Базили. Этот факт мало освещен до сих пор.

(Несколько минут разговор, который просят не заносить в стенограмму.)

Гучков. Принятие на себя этой ответственности. Либо мы будем вынесены революционной волной наверх, либо [последует] призыв самой верховной власти. Мы, конечно, уклониться не можем, но мы отдаем себе отчет, что умиротворение стихии возможно лишь при одном условии, что тот, кто являлся главным ответственным лицом, т. е. государь, он должен уйти. С самого начала было ясно, что только ценой отречения государя возможно получить известные шансы успеха, в создании новой власти. Притом тут были люди республикански настроенные, как кадеты, но вопрос о режиме никем не затрагивался, потому что в душе у каждого было решено, что строй должен остаться монархическим. О возможности замены монархии другим строем речи [и] потом не было, но отречение государя давало возможность укрепить строй.

...У Федорова оказался свод Основных законов. Нашли закон, который предусматривает отстранение носителя верховной власти, и нашли статью, говорящую о регентстве,

кто входит в состав регентства. То, что было вскоре осуществлено, оно было тогда ясно, отречение государя в пользу сына, а дальше по закону. У всех было ясно желание возможно меньше трясти основу.

Базили. Это было до произнесения Милюковым его речи.

Гучков. После.

Базили. Милюков шел в то время напролом.

Гучков. Он не учитывал последствий, потому что у него страх или, вернее, боязнь, осознание всей опасности революционной вспышки, оно у него было крепкое. Он был сотрудником революционных актов, как и раньше. За время войны он понял, что это не момент.

Базили. Я одного только не понимаю, ведь речи Милюкова были одним из крупных факторов в революционизировании общественного мнения. Как он сам на это смотрел? Ведь, если он боялся взрыва, то с этим не вяжется характер его речи.

Гучков. Он потряс основы, но не думал свалить их, а думал повлиять. Он думал, что это прежде всего потрясет мораль там, наверху, и там осознают, что необходима смена людей. Борьба шла не за режим, а за исполнительную власть. Я убежден, что какая-нибудь комбинация с Кривошеиным, Игнатьевым, Сазоновым вполне удовлетворила бы. Я мало участвовал в этих прениях, не возражал, а только сказал одну фразу, которая послужила исходной нитью для некоторых дальнейших шагов и событий: мне кажется, мы ошибаемся, господа, когда предполагаем, что какие-то одни силы выполнят революционное действие, а какие-то другие силы будут призваны для создания новой власти. Я боюсь, что те, которые будут делать революцию, те станут во главе этой революции. Вот эта фраза, которая не означала призыва присоединиться к революции, а только указывала, что из этих двух возможностей, о которых мы говорили (возможность,

так сказать, катастрофы власти под влиянием революционного напора [либо] призыва государственных элементов), я видел только вторую. Я был убежден, что, если свалится власть, улица и будет управлять, тогда произойдет провал власти, России, фронта.

Этих совещаний было два. Еще раз мы как-то собрались, а затем я был болен, лежал, и вдруг мне говорят, что приехал Некрасов, который никогда не бывал у меня. Приехал ко мне и говорит: из ваших слов о том, что призванным к делу создания власти может оказаться только тот, кто участвует в революции, мне показалось, что у вас есть особая мысль... Тогда я ему сказал, что действительно обдумал этот вопрос, что допустить до развития анархии, до смены власти революционным порядком нельзя, что нужно ответственным государственным элементам взять эти задачи на себя, потому что иначе это очень плохо будет выполнено улицей и стихией. Я сказал, что обдумаю вопрос о дворцовой революции — это единственное средство.

Среда, 9 ноября 1932 г.

Гучков. Из беседы с Некрасовым выяснилось, что и он пришел к той же точке зрения о полной невозможности нормальными путями добиться коренной перемены правительственного курса, о неизбежности насильственного переворота, [явился] страх, что выполнение этой задачи возьмут на себя слепые стихийные силы улицы, рабочие, солдаты, тыл, и отсюда определенное сознание, что эту задачу должны принять на себя спокойные государственные элементы. Мысль о терроре по отношению к носителю верховной власти даже не обсуждалась — настолько она считалась неприменимой в данном случае. Так как в дальнейшем предполагалось возведение на престол сына государя наследника,

с братом государя в качестве регента на время малолетства, то представлялось недопустимым заставить сына и брата присягнуть через лужу крови. Отсюда и родился замысел о дворцовом перевороте, в результате которого государь был бы вынужден подписать отречение с передачей престола законному наследнику. В этих пределах план очень быстро сложился. К этой группе двух инициаторов в ближайшие дни присоединился по соглашению с Некрасовым Михаил Иванович Терещенко, и таким образом образовалась та группа, которая взяла на себя выполнение этого плана. Это было почти одновременно с совещанием у Федорова.

Базили. Конец сентября, начало октября... Федоров не был в курсе.

Гучков. Он не был в курсе...

Базили. Это было после последнего совещания у Федорова; два, три дня спустя.

Гучков. Наша тройка приступила к детальной разработке этого плана. Представлялись три конкретные возможности. Первая — захват государя в Царском Селе или Петергофе. Этот план вызывал значительные затруднения. Если даже иметь на своей стороне какие-нибудь воинские части, расположенные в резиденции государя, то было несомненно, что им будет оказано вооруженное сопротивление, во всяком случае, предстояло кровопролитие, которого хотелось избежать. Другая возможность была произвести эту операцию в Ставке, но это требовало если не прямого участия, то во всяком случае некоторого попустительства со стороны высших чинов командования. Не хотелось вводить этих лиц в состав заговора по многим причинам. Не только потому, что мы не были совсем уверены, найдем ли там сотрудников, но мы не хотели, чтобы эти лица, которые после переворота будут возглавлять русскую армию, чтобы они участвовали в самом перевороте.

Базили. По соображениям военным, патриотическим. Опасность раскола армии.

Гучков. Требовалось, чтобы лояльные элементы им подчинились... В этой комбинации — в Ставке — мы встречали те же сомнения. Части могли быть на стороне [правительства]. Значит, опять гражданская война в пределах фронта. Если б цареубийство... но мы были против этого. Третья возможность — и на ней мы остановились — это захват царского поезда во время проезда из Петербурга в Ставку и обратно. Были изучены маршруты, выяснено, какие воинские части расположены вблизи этих путей, и остановились на некоторых железнодорожных участках по соседству с расположением соответствующих гвардейских кавалерийских частей в Новгородской губ., так называемых Аракчеевских казармах. Вот эта последняя комбинация нам представлялась технически более простой. Надо было найти единомышленников среди офицерского состава этих полков. Имелось в виду совсем не трогать солдат, а сосредоточиться только на том, чтобы получить единомышленников в самом офицерском составе. Мы крепко верили, что гвардейские офицеры, усвоившие отрицательное, критическое отношение к правительственной политике, к правительственной власти гораздо более болезненное и острое, чем в каких-нибудь армейских частях, мы думали, что среди них мы в состоянии будем найти единомышленников.

Базили. Тут соображения социального характера.

Гучков. В то время примкнул к нашему кружку ценный сотрудник в лице кн. Вяземского (не помню, как это случилось). Я с ним лично сблизился во время войны потому, что он был уполномоченным одного санитарного отряда великого князя Николая Николаевича, отряда, сооруженного на средства Бегового Общества. С великолепным оборудованием, отличным составом. Отряд этот почти все время войны

был мне подчинен, так что я знал этих людей, их работу первоклассную, наиболее трудную и опасную работу. Они сами рвались туда. Там был интересный человек, княгиня Волконская.

Базили. Я с Вяземским был дружен 10 лет.

Гучков. Несмотря на некоторые у него физические признаки вырождения, он сам духовно был чрезвычайно высок, большого душевного благородства, широкого понимания. Так что, очевидно, он через меня проник в этот кружок. Мы не раз говорили на эту тему раньше. Он сам пришел ко мне. У него интересна была регламентация того круга, к которому он принадлежал. Мы привилегированный класс, мы участвуем в правлении, пользуемся большими привилегиями, большими благами, поэтому на нас лежит сугубая обязанность в отношении России и данного строя, поэтому мы должны взять на себя выполнение тяжких задач, очистить сам строй... Этой регламентации для него было совершенно достаточно, но у него была регламентация, вытекающая из этого миросозерцания, специально приноровленная для людей его класса. Им она говорила в случае крушения режима о дикой расправе стихийных масс. Кто прежде всего и больше всего потерпит? Мы. Поэтому если у вас не хватает побуждений патриотических, то [хотя бы] это должно заставить вас предотвратить катастрофу.

Как мне представляется картина. Всякие гомеопатические средства внутренние не принесли ничего. Оставалось одно: хирургическая операция в смысле революционного акта воздействия на государя, в смысле отречения. Надо было это сделать со всей политической антисептикой для того, чтобы это сразу не разрослось в гангрену. Это должны были сделать люди государственного ремесла, они этого не сделали. И пришел мясник, резанул даже не по тому месту, где нужно... Отсюда заражение крови, смертельная болезнь.

К нам присоединился Вяземский. Он был ценен тем, что не находился под наблюдением, как мы все; затем, в силу его общественного положения, семейных и других связей он был близок к гвардейским офицерским кругам. На него была возложена миссия завести те связи, которые могли бы выразить настроение офицерства среди этих запасных частей, затем, может быть, привлечь к нашему заговору каких-нибудь более высоких чинов, чем те офицеры запасных эскадронов, что были там. Мы высоко не шли — нам нужны были командиры полков из частей, которые на фронте, для того, чтобы эти командиры полков могли в порядке отпусков, командировок мало-помалу образовать группу единомышленников в этом деле.

Через некоторое время к нашей группе присоединился один тоже очень ценный сотрудник. Знаю, что он был ротмистром одного из гвардейских кавалерийских полков, не то Кавалергардского, не то Конного полка. Вяземский и этот ротмистр взялись нащупать настроение этих эскадронов и привлечь нужных участников, а затем Вяземский должен был проехать в тот район, где был гвардейский корпус, чтобы уже в самих полках, у которых был эскадрон запасный, выразить настроение.

Базили. В район Аракчеевских казарм, где стояли запасные части гвардейских кавалерийских полков...

Гучков. О некоторых успехах в этом направлении они нам докладывали, но все это были единичные присоединения и присоединения молодых, невысоких чинов. С одним из командиров гвардейских полков была беседа у Вяземского. Я его лучше не назову. Он играл некоторую роль в движении и был близок к монархическим кругам. Это важно только для характеристики настроения некоторых военных верхов по отношению к этому делу. Ему, в силу отношения Вяземского к нему, было раскрыто все, весь план, задача, способ осуществления. Он как порядочный, умный человек оценил

все это правильно. Он был в большом отчаянии относительно всего, что совершалось и в стране и на фронте, он считал почти неизбежным положение развала власти, страны, фронта, со всеми последствиями. Он выразил большое свое сочувствие нашему плану, но одновременно наотрез отказался участвовать в его выполнении: то ли чувство тяжкой ответственности, страх кары, то ли просто известная лояльность (это было нарушение присяги) сказалась. Чувствовалась атмосфера сочувствия и [встречался] отказ от прямого ответственного участия. Тем не менее работа шла, и еще один шаг должен был быть сделан... Терещенко был свободен. Был отряд, сооруженный его матерью, обслуживающий часть гвардейского корпуса, он должен был ехать туда, у него были знакомства среди офицеров. Командир полка мог мало-помалу подобрать людей.

Базили. Часть подготовки была на фронте.

Гучков. Ротмистр был в запасном эскадроне, он там работал. Терещенко и Вяземский — на самом фронте, и быстрее можно было бы достигнуть, если бы кто-либо из командиров частей... Сам план рисовался таким образом. Значит, захват этой воинской частью фронтового поезда; затем, мы крепко верили, что нам удастся вынудить у государя отречение с назначением наследника в качестве преемника. Должны были быть заготовлены соответствующие манифесты, предполагалось все это выполнить в ночное время, наиболее удобное, и предполагалось, что утром вся Россия и армия узнают о двух актах, исходящих от самой верховной власти, — отречении и назначении наследника.

Базили. У вас не было сомнения, что Михаил согласится быть регентом?

Гучков. Это был бы указ государя. Незаконным было бы только моральное насилие, которое мы делали. Дальше вступал в силу закон.

Базили. Был бы Совет Регентства, в который назначались лица?

Гучков. Лица не намечались. Претензий на захват власти не было. Просто крепко верили, что новая власть, в основе которой лежал бы некоторый революционный акт, при образовании правительства была бы вынуждена считаться с иными элементами, чем старая власть. Поэтому у нас не было ни списка министерства, ни лиц совсем не намечалось, по крайней мере, у меня не было. Имели ли в виду другие — не знаю, но мы были убеждены, что если бы даже эта новая власть строилась на старых бюрократических элементах, то среди бюрократии было много людей государственного понимания и вполне чистых в смысле общественном, так что составить хороший государственный и технически подготовленный и приемлемый для широкого общественного мнения кабинет можно было даже не прибегая к элементам общественным. Это были бы Кривошеин, Сазонов... Мы не хотели придать характер захвата какой-то кучкой, а пускай в порядке Основных законов образуется, но мы были убеждены, что [в правительстве] не могли иметь место ни Штюрмеры, ни Голицыны, ни Протопоповы...

Базили. Это был бы возврат к чистой бюрократии.

Гучков. Это была попытка не самим захватить власть, а очистить другим путь к власти. Я всегда относился весьма скептически к возможности создания у нас в России (по крайней мере в то время) общественного или парламентского кабинета, был не очень высокого мнения... не скажу — об уме, талантах, а о характере в смысле принятия на себя ответственности, того гражданского мужества, которое должно быть в такой момент. Я этого не встречал. Я скорее встречал это у бюрократических элементов. Я осторожно относился к проведению на верхи элементов общественности;

так, некоторые элементы ввести — это еще туда-сюда, но избави Бог образовать чисто общественный кабинет — ничего бы не вышло. У всех этих людей такой хвост обещаний, связей личных, что я опасался (особенно у людей, связанных с партиями). Меня очень подбадривала вот какая мысль. Мне казалось, что чувство презрения и гадливости, то чувство злобы, которое все больше нарастало по адресу верховной власти, все это было бы начисто смыто, разрушено тем, что в качестве носителя верховной власти появится мальчик, по отношению к которому ничего нельзя сказать дурного.

Базили. Меня очень интересует то, что вы говорите, потому что тот ход мыслей, который развернулся в Ставке перед отречением, он был параллелен вашему ходу мыслей.

Гучков. Скажем, Михаил человек чистый, хороший, но безвольный, под влиянием каким-то. Выйдет ли из него хороший государь? Вряд ли. Во всяком случае, тот личный элемент, который так важен в монархическом строе, женский элемент, был неблагоприятен. Всякое другое лицо, которое своим удельным весом превышало всех остальных, — такого [лица] не было.

Базили. Николай Николаевич?

Гучков. Отношение к Николаю Николаевичу тоже было в целом ряде [пунктов] критическое, но личность маленького наследника должна была бы обезоружить всех. Отречение я считал актом несколько вынужденным, но все же вместе с тем полудобровольным, известной жертвой, которую государь приносит на благо отечества. В отношении к старой власти тоже [ожидалось] некоторое примирение, а носителем вновь созданной власти является маленький наследник, и я очень рассчитывал, что если не все разбушевавшиеся волны, то некоторые улягутся.

Базили. Симпатии к мальчику были бесспорны.

Гучков. Я до сих пор глубоко убежден: если бы удалось провести технически все это до конца, мы избегли бы всего последующего, но трудность заключалась именно в технике дела и в том, что не только в низших, но и в средних слоях военного командования, если даже встречалось понимание [происходящего], то не встречалось жгучего чувства долга, повелевающего, что нельзя остаться в стороне, надо взяться.

Базили. Энтузиазма...

Гучков. О Крымове я скажу. Терещенко был неправ, что он ставил Крымова в связь с этим делом. Крымов в этом не участвовал. Относительно Крымова (я его знал по японской войне) можно сказать: очень сильный, волевой, с большим талантом, большим политическим умом, с пониманием положения и чувством ответственности за себя, своих людей. Если бы он командовал конногвардейской частью, которая могла бы технически быть использована для нашей задачи, то я не сомневаюсь, что он бы к нашему заговору примкнул. Но он просто технически не мог быть нами использован потому, что он в то время командовал сводной казачьей дивизией на Юго-Западном фронте. Я его хорошо знал. Когда он бывал в Петербурге, мы с ним беседовали, и я видел, что он сам полон жгучей тревоги за исход войны, и за состояние страны, и за исход всего русского дела. Капитаном Генерального штаба Крымов в штабе 3-го армейского корпуса был блестящим помощником у Иванова, играл большую роль в действиях корпуса, в создании славы этого корпуса. После Японской войны он пережил разруху нашей армии. Воспоминанием о демобилизованной армии, идущей оттуда, он был полон до последнего момента. Вот что он говорил: избави Бог нам еще войну. Может быть, [ее] мы как-нибудь выдержим при этом гнилом порядке, но вот когда демобилизация...

Он говорил, что оздоровления надо добиться во время войны, потому что как только мы дойдем до демобилизации, то все падет.

Я лично его в наши планы не посвящал, просто потому, что я не хотел, чтобы в случае раскрытия заговора были скомпрометированы лишние люди, но я думаю, что он был больше в курсе дела, чем я хотел, потому что с ним был близок Терещенко, он обслуживал один отряд. Терещенко был плохой заговорщик. Мое правило было вводить в заговор необходимый минимум, так что я склонен думать, что он знал, но отрицаю, что он участвовал. В сущности, на этом весь заговор кончился, потому что эта поездка Терещенко на фронт — он должен был ехать туда — это обсуждалось, в половине февраля, и все это стряслось...

Базили. Если бы не было революции, это могло разыграться весною, в марте, апреле. События обогнали нас. Конечно, довольно большой период времени нужен для того, чтобы это все скомбинировать.

Гучков. Желая выяснить, готовы ли мы были на какой-нибудь кровопролитный акт, меня кто-то спрашивал: а если бы государь не согласился, если бы он отказался подписать, что бы вы предприняли? Просто мы этого вопроса не обсуждали, просто мы были крепко убеждены. (Предпринимая какой-нибудь акт, надо крепко верить, что цель должна быть выполнена и что средства приведут к цели.) Я отвечал: нас, вероятно, арестовали бы, потому что, если бы он отказался, нас, вероятно, повесили бы. Я был настолько убежден в этом средстве спасения России, династии, что готов был спокойно судьбу поставить на карту и, если я говорил, что был монархистом и остался монархистом и умру монархистом, то должен сказать, что никогда за все время моей политической деятельности у меня не было сознания, что я

совершаю столь необходимый для монархии шаг, как в тот момент, когда я хотел оздоровить монархию.

Вы знаете, как после III Думы, когда были выборы в IV Думу под сильнейшим давлением администрации, тогда была выбрана Дума со значительным уклоном вправо. Я был забаллотирован, потому что там было соединение правых элементов и кадетских и социалистических элементов при участии местной администрации, которой были даны указания из Петербурга. Соединились правые, левые и самая администрация, поскольку она могла влиять против меня, так что я в IV Думу не был избран, а попал потом во время войны в Государственный совет. Тогда у нас, как полагается перед сессией, был партийный съезд в Петербурге за несколько дней до открытия Государственной думы. Там мне пришлось говорить речь, где я пытался подвести итоги той работе, которая была совершена за 4 года, и [оценить] те перспективы и задачи, которые открывались перед IV Думой. Речь была довольно меланхолическая, потому что мы вынуждены были признать, что не сделали того что должны были сделать, и потому что та обстановка, в которой начинала работы IV Дума, обещала меньше результатов по сравнению с III Думой. Я говорил о положении, в котором находится наша октябристская партия.

Я говорил: «Легко нашим радикальным или социалистическим элементам в их борьбе с существующим строем потому что они штурмуют его целиком, и темные стороны, и злоупотребления, и самые основы строя подвергаются критике и нападкам, а трагическое положение таких партий, как наша, которую я назвал либерально-консервативной, консервативной потому, что она стояла на исторических основах, и была либеральной потому, что она пыталась, исходя из этих основ, вести к широким реформам которые должны

были обновить русскую жизнь. И я говорю дальнейшее положение социальное наше, где нам приходится бороться за монархию и против монархии, за армию и против ее военачальников (я имею в виду Сухомлинова) и за церковь и против иерархов (Питирим)...»

Базили. Кто был председателем Совета министров?

Гучков. Коковцов. И вот в данном случае пришлось спасать монархический строй, надо было быть лояльными монархическому строю. Многие вполне патриотические люди не сумели вовремя изменить одной лояльности, чтобы осуществить вторую, высшую лояльность. Тем, собственно, и кончился заговор, разве только маленький эпизод.

Произошел переворот, я объезжал разные фронты; был во Пскове у генерала Рузского. Он задал некоторые вопросы, я отвечал — о тех мерах, которые мы предпринимали для того, чтобы предотвратить стихийную революцию. И он мне тогда сказал: ах, Александр Иванович, что же вы раньше мне этого не сказали, я бы стал на вашу сторону. Я Рузского ценил как умного генерала, одного из более способных, но я не верил в чистоту его характера и его жертвенный патриотизм. Я, может быть, не сказал, но подумал: голубчик, если бы я раскрыл план, то ты нажал бы кнопку, пришел бы адъютант и ты сказал бы — арестовать.

Базили. Ведь Рузский был совсем другого направления до революции. Он карьеру делал на дворцовых связях, не страшился даже таких отношений, как с Распутиным. В этом отношении он шел до крайнего уничижения.

Гучков. Во время самого отречения он вот какую роль играл Он присутствовал при беседе Шульгина и моей с государем.. [я тогда говорил]: вспыхнул бунт уличный, солдаты, тыл, рабочие, тут, казалось бы, надо подавить это движение, а потом выдвинуть те реформы и меры, которые диктует потребность. Я думаю, что нет сил, которыми можно это

движение подавить сейчас. Я убежден, что на фронте есть очень много вполне, казалось бы, надежных и лояльных воинских частей — пока они на фронте, но если вы их двинете по направлению к Петербургу, если попадут в их среду агитаторы, они разложатся. Выйдя отсюда лояльными, они придут туда революционизированными. Я просто как-то чувствовал, что просто так, военными, полицейскими силами нельзя было подавить. Я увидал, что дрогнули и революционизировались самые надежные устои существующего строя, вроде конвоя. Это произвело на меня сильное впечатление. Поэтому, я думал, пришлют с фронта, а в Гатчину пришли — разложились. Доказывать это очень трудно Меня в этом отношении Рузский поддержал, он говорил: «Ваше Императорское Величество, я должен подтвердить то, что сказал А. И.: нет такой части, которая была бы настолько надежна, чтобы я мог послать ее в Петербург».

Базили. Я на эту тему с Ивановым говорил в его вагоне.

Гучков. Другое дело, какая была обстановка в военных кругах. После того, как мы кончили беседу. Я боялся, что будет провозглашено низложение [власти царя] Советом солдатских депутатов, и тогда вопрос [кого] «признавать», будет предоставлен отдельным воинским частям. Мне хотелось поторопиться сохранить нить [преемственности]. Рузский меня и Шульгина позвал в вагон, был ген. Савич, очень толковый человек, бывший командир корпуса жандармов. Я помню, меня тогда возмутило безудержное ликование Савича, что все кончено. У нас было глубокое чувство всего трагизма, а у него: ах, слава Богу, кончено это все.

Базили. Это вопрос, который постоянно мне ставят иностранцы, которые интересуются, как это могло случиться, не нашлось ни одного человека, который сделал бы шаг для спасения старой монархии. Это непонятно для чуждых этой обстановке лиц. В этом отношении интересно дать меру

того полного отвращения, отчуждения, которое создалось в России по отношению не к монархии, не к режиму, а к тем лицам, которые были воплощением этого режима в этот период.

Гучков. Материал, с которым приходится иметь дело, чрезвычайно разнообразен. Прямые выводы невозможны, надо чутьем действовать. Какие-то флюиды действуют в числе тех элементов, которые подействовали на создание этой оценки положения — безнадежности для этого строя отстоять себя, бороться за себя, отсутствие у него таких убежденных крепко, фанатически сторонников. Это у меня сложилось отчасти под влиянием одного эпизода. 1910 год, как будто все благополучно. Столыпин у власти, за несколько месяцев до его убийства. Приезжает в Петербург, как это обычно бывает, депутация от одного из казачьих войск — Кубанского казачьего войска. Они приезжают, представляются государю, привозят какие-нибудь подарки. Очень почтенные всегда люди, атаманы округов, пожилые люди. Они начинали свой обход с того, что представлялись государю, военному министру, высоким чинам, а затем ходили по тем министерствам, в которых их дела делались. Заходили они и ко мне, потому что я был председателем Комиссии государственной обороны, а через эту комиссию все казачьи дела, не только военные, но и гражданские ведались, Главному управлению казачьих войск разные ассигнования шли от нас. На этот раз тоже пришли ко мне. «Ну что, были у государя?» — «Были»... Никакой каверзы не было в моем вопросе.

Я в свои молодые годы московского житья помнил, что казаки считаются оплотом существующего строя, когда надо какую-нибудь толпу или демонстрацию разогнать. А когда я теперь в Государственной думе соприкоснулся с казаками, я увидел, что они революционизировались

до последней степени. Мы были слишком умеренная партия, они все сидели у кадетов, либо у прогрессистов — это меня поражало. А затем, когда я познакомился с казачьими делами, я увидел, что этому есть основания. Отношение к казачьим вольностям, к казачьим интересам в Петербурге было своекорыстное, жесткое. Казачьи области считались местами для кормления, это было местом назначения людей угодных. Плохое управление казачьими областями и казачьими интересами вызывало там недовольство и революционные настроения. У них требования были более высокие, чем у основного населения.

Базили. И даже известное материальное благополучие, независимость...

Гучков. Я спрашиваю: «Как сошло?» Жмутся. Потом один говорит: «Ах, Александр Иванович, лучше было бы и не рассказывать. Знаете, сошло так, что хуже и не может быть. Нас там выстроили. Вышел государь; один из нас произнес слово. Затем государь обошел всех нас, поздоровался и каждого из нас спросил, какой он станицы, а потом поклонился и ушел». Все-таки приехали они за тысячи верст не только представиться, но у них разные нужды, просьбы, надо было показать им человеческое участие. Их особенно возмутил вопрос — «какой станицы» — другими словами — убирайся, ты мне надоел. Потом [спрашиваю:] «Были у военного министра?» — «Были». Смеются. «Это еще вышло хуже. Сухомлинов спросил каждого из нас, какой станицы и сколько в станице жителей». Он даже мозгами не повернул, чтобы казачьи интересы затронуть и пообещать — я генералу такому-то сообщу. Я в это время старался строить мосты от старой России к новой, и, думаю, так нельзя, таких людей нельзя назад отсылать. Это же ведь хуже, чем эсэровские агитаторы, а почтенные люди — атаманы. Спросят [их в станицах]: как наши вопросы? Они скажут. Нельзя допускать. Я сказал:

«Были ли вы у Столыпина?» — «Нет». — «Я вам устрою». Пошел. Как раз П. А. оказался в кабинете. Я говорю: «К вам просьба, приехала одна казачья депутация, собирается скоро назад, она представлялась государю и военному министру. Они в таком настроении, что в таком виде их отпускать домой нельзя. Примите их, ублажайте их как умеете, и тогда пускай они едут...» Он говорит: «Может быть, государь был очень занят?» — «Не знаю». — «Они у меня не очень много времени отнимут? Хорошо, завтра в таком-то часу пускай ко мне придут». Я с ним простился, а они были у Столыпина и сочли долгом ко мне зайти. Я спрашиваю их. «Ну, это совсем другой человек. Он нас посадил, сам спросил, по каким делам приехали, какой был урожай, затем казачьи вопросы. Словом, показал некоторый интерес».

Зная П. А., я убежден, что он им ничего не обещал, он скорее сделает это, но наперед не скажет. Просто показал человеческий интерес — это совсем другое. Вот главное, к чему я веду. В конце этой беседы с казаками один из них мне и говорит: «После приема у государя нас наши станичники [из его охраны] позвали домой. Такой пир устроили, ну и чего я там не наслышался. Эх, Александр Иванович, ежели на них полагаться — ошибиться могут. Это конвойцы — в красном бешмете стоят у дверей гостиных, делают глупые лица, что ничего не видят. Они возвращаются из казарм, служба легкая, языки начинают плести, разговоры начинаются, Распутинщина...» У ближайших слуг виделось брезгливое, пренебрежительное отношение. В этих кругах конвойских больше знали и более болезненно переживали... и когда во второй или первый день революции, еще до отречения государя, я захожу в комнату думского ... [одно слово не расшифровано] Родзянко, Энгельгардт; докладывают, что пришла депутация из Петергофа и хотят видеть нас. Мы видим человек 25 конвоя Е. И. В., затем несколько чинов Сводно-гвардейского полка,

подобранные один к другому, представители петербургской дворцовой полиции и чины 1-го ж.-д. батальона. Они говорят, что уполномочены заявить, что они передаются в распоряжение новой власти. Они выработали такую формулу: «Мы только просим разрешения, чтобы нам предоставили охранять тех лиц, имущество которых нам вверено». Когда они это говорили, я вспомнил сцену 1910 года. Поэтому я быстро поверил в неизбежность крушения — не потому что революция сильна. Если бы хорошие части, они могли бы расчехвостить...

Я пытался связать себя с некоторыми лицами, которые могли бы стать проводниками известных мыслей и сведений на самые верхи, вплоть до государя. Между прочим, я все-таки же очень верил в патриотизм и порядочность великого князя Николая Николаевича и в его мужество, тем более что на нем ответственность лежала. Поэтому я очень дорожил, чтобы он знал, что́ я знаю и чего он мог не знать.

Базили. До 1916 года.

Гучков. Да. Вышло случайно, что один человек, который в добрых отношениях был с одним из Лейхтенбергских, он моим почитателем был, он этого принца убедил, что ему полезно было бы иметь свидание время от времени со мной. Мы часто с ним видались. Это все было сделано под покровом тайны. Произошел такой эпизод за несколько месяцев, какая-то волна забастовочная прошла по петербургским заводам, особенно заводам, работающим на оборону. Разумеется, требования были выставлены экономические. Чувствовалась тут какая-то посторонняя рука — уже политическая агитация. Местные власти и правительство в Петербурге, видимо, правильно учли, что большой надежды на петербургский гарнизон для подавления таких движений нет, и тогда было решено некоторые воинские части привести с фронта, и был дан приказ некоторым гвардейским полкам прислать по роте

или по две в Петербург под предлогом отдыха. Должны были быть приведены люди с фронта. Им было указано, для какой цели это делается.

Вот эти роты, так передавали: офицеры (среди них герцог был очень популярен) приходили к нему взволнованные, со слезами на глазах, говорили: «Мы знаем, из-за чего нас сюда прислали, мы не можем дать приказ стрелять в народ — это не сражение». Это офицеры хороших полков, проделавшие большую войну. Они так были проникнуты отрицательной оценкой строя, считали, что для революционного движения есть основание. «Мы не можем стрелять». И тогда я государю говорил: «Нет тут воинских частей». И я убежден, что был прав, и Рузский меня поддержал.

Базили. Вы только что затронули вопрос, что чувствовалась посторонняя рука в этих забастовках 1915 года. Этот вопрос тесно связан с вопросом о том, как вообще взорвалась улица. Революцию сделали социалистические круги. Буржуазные партии в России, главным образом кадеты, расшатали престиж власти, но они в революции не ответственны, и совершенно правы большевики, когда говорят, что революцию с самого начала сделали они. Для нас, конечно, эта работа была не видна. Но вот, А. И., вы были близки к военной промышленности и вообще к городской промышленности. Когда для вас стало ясно, что это движение проникает и разрастается, все больше идет и вглубь? Первое впечатление у меня в этом смысле было летом 1916 года. Я уехал на короткий отпуск, на юг, где у меня было имущество в разных местах, видел очень много народа и вернулся оттуда совершенно пораженный тем, что мне там рассказывали о распропагандировании масс уже социалистическими партиями. Я тогда об этом рассказал Алексееву. Думаю, что у него были другие сведения из других источников, потому что особого удивления мой рассказ в нем не вызвал. Мы теперь приходим

к пункту об опасности левых, отграничении от них... Когда у вас эта опасность левых партий, угроза, ясно встала перед глазами?

Гучков. Я тоже летом и осенью 1916 г. стал ощущать эту нарастающую опасность в настроениях городского населения и рабочих. Может быть, я был мало осведомлен, но я не столько приписывал это искусной работе социалистов (я не отрицаю ее наличности), сколько общему падению престижа власти. Я считал, что наибольшее влияние на массы имеет не прямая социалистическая агитация, а поведение верховной власти. Мне казалось, что помимо социалистов и их агитации, разрыхляется та почва, на которой они могут посеять свои посевы.

Базили. Говоря об агитации, приходит мысль: на какие средства велась агитация?

Гучков. В этом отношении есть рассказ, он, кажется, проник и в печать, это рассказ Хатисова, бывшего городского головы гор. Тифлиса, один из выдающихся городских деятелей военного времени, затем был главой армянского правительства. Здесь он глава армянской делегации. Это в связи с настроением, господствующим в отношении дворцового заговора, и эпизод о том, что сами социалисты не предполагали, что они так близки к успеху. Хатисов едет из Тифлиса в Москву, а потом в Петербург, потому что в Москве шел съезд деятелей Земского и Гор. Союзов — это декабрь 1916 года. Он едет из Петербурга в Москву. Член Государственной думы, глава социал-демократической партии Чхеидзе, который впоследствии играл большую роль, видит Хатисова и говорит ему: «В Петербурге вы увидите некоторых из наших социал-демократов. (Хатисов человек умеренных взглядов, но, как армянин, он был связан с Дашнакцутюн и был в добрых отношениях со всеми, которые могут быть использованы для политических и общественных дел, он был

близок со всеми наместниками, с Воронцовым-Дашковым, получил большое доверие со стороны великого князя Николая Николаевича, когда тот был на Кавказе, и с дашнаками, и с Чхеидзе.) Вы увидите некоторых из наших эсдеков, скажите им, никаких надежд в ближайшее время на какую-нибудь удачную революционную вспышку нет. Я знаю, что полиция пытается инсценировать такие вспышки, вызвать наших людей на улицу для того, чтобы подавить. Скажите там, чтобы остерегались таких провокаций и не допускали». О положении в России, об общем положении, что нет шансов на успех какого-нибудь движения.

Базили. Другими словами, Чхеидзе говорит через него своим коллегам: «В Петербурге никакой возможности нет делать какое-нибудь революционное выступление». Иными словами, Чхеидзе не верил.

Гучков. Но самое любопытное в рассказе Хатисова заключается в следующем: он в Москве, на этом съезде. Среди заседания съезд (так как он выходит из рамок) закрывается, по распоряжению из Петербурга, московской администрацией. Съезд переходит в подполье. Между прочим [собирается] совещание у князя Львова, и там Хатисову кн. Львов излагает план переворота, тоже дворцового, но у них план использовать широкую популярность и патриотизм великого князя Николая Николаевича и убедить, чтобы во главе этого движения встал сам Николай Николаевич. Хатисову Львов в составе очень маленького кружка об этом говорит и поручает ему осведомить великого князя по возвращении в Тифлис, причем рисуется и дальнейшая картина: великий князь должен сделать этот переворот.

Базили. Он поддержал бы кого-нибудь другого.

Гучков. Больше дефектов в этом плане, чем в военном. Мы хотели правильную преемственность.

Базили. Этот план был бы осуществим, если бы у Николая Николаевича была бы другая психология.

Гучков. Неправильная ставка на человека и неправильная постановка всего. Великий князь, сам садящийся на трон... Мы в стороне, мы делаем революционный акт. Затем, говорится дальше, Львов ему сказал, что предполагается образование правительства при великом князе, что Львов входит в состав, и я вхожу. Без меня меня женили. Они меня считают, как будто я вошел в состав группы. Хатисов возвращается в Тифлис. Он приезжает туда к новогоднему приему у великого князя во дворце наместника. Великий князь говорит ему: «Я хотел вас попросить, чтобы вы зашли ко мне. Расскажите, что делается в Петербурге». Хатисов ему рассказывает, что делается в Петербурге, а затем ему все это излагает. Великий князь внимательно выслушивает. Не делает жеста нажать кнопку, а говорит: «Ну, вот что, я прошу вас прийти завтра, я обдумаю, мы поговорим». Хатисов подходит на другой день, его князь принимает не один, а с великой княгиней и начальником штаба Янушкевичем, просит повторить, что говорил накануне; представляет его великой княгине, которая скорее сочувствует этому, и Янушкевичу, который не высказывает своего сочувствия или несочувствия, а высказывает свой скептицизм (по вопросу, последует ли армия и ее вожди, может быть, это вызовет мятеж на фронте) — только с точки зрения техники успеха.

Так кончился этот эпизод. Ничего не вышло. Затем революция. Великий князь спешно вызывает к себе Хатисова и говорит: «Вот какие сведения получены из Петербурга», и просит его, чтобы он ему помог утихомирить те общественные элементы, которые могут подняться, вызвать беспорядки, и говорит: «Вот теперь я согласен был бы», и поручает Хатисову вместе с кем-то из высоких чинов

тифлисского штаба объехать казармы, там объявить, что произошло в Петербурге и о том, что великий князь на стороне нового порядка. Это все до его назначения Верховным главнокомандующим — уже в разгар событий. Видите, даже он — во главе очень крепкой армии, старший представитель династии — как-никак не почувствовал ни решимости, ни моральной силы противодействовать петербургским событиям. Насколько [ненадежны были] те устои, на которых строилась старая власть...

Базили. Интересно было бы повидать Хатисова. Вы с Ник[олаем Николаевичем] никогда не были в близких отношениях?

Гучков. Я его видел только на Кавказе, когда я там был. Я знал, как ко мне относятся там. Я не хотел ставить его в положение, [вынуждающее] отказать мне, и в то же время не хотел компрометировать и знал, что его подозревали, что он претендент и вдруг он будет снюхиваться с революционными элементами.

Базили. Я очень внимательно прочитываю письма императрицы, и она там высказывает подозрения относительно ваших отношений с ним.

Гучков. Мое первое соприкосновение с ним было в Тифлисе. Я получил лично от него большое впечатление благородства.

Базили. Тут мы подходим к теме, каким образом у императрицы сделалось такое определенное отношение к вам, как к величайшему противнику династии; когда у вас совершенно этого не было. Вы были для нее каким-то пугалом.

Гучков. Я на войне японской был помощником Главноуполномоченного Красного Креста при Маньчжурской армии и вместе с тем я был уполномоченным гор. Москвы, который большие средства отпускал, и Уполномоченным

Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны, который также очень много делал. С великой княгиней у меня была корреспонденция, шифр, я ей писал о нуждах Красного Креста, о нуждах санитарных и время от времени ее осведомлял о положении там. Очевидно, эти письма показывали государыне.

Базили. Это был период хороших отношений...

Гучков. И вот я этим объясняю. Предчувствуя, что на фронте наступает очень продолжительный застой, я решил поехать в Москву, чтобы осведомиться, что там делается. В Москве секретарь Думы Астров мне говорит: «Городская Дума выбрала вас одним из своих делегатов, которых она посылает на съезд городских и земских деятелей». Там я увидел нарастание революционных настроений в земской среде; там произошел окончательный откол таких элементов, как Стахович, Гейден и Шипов: умеренный либеральный центр, мы отмежевались от революционно настроенных элементов. Уже Милюков играл роль, Родичев, Петрункевич, бр. Долгорукие, Челноков. Мы там разошлись и скрестили шпаги. В Петербурге учли, что там какой-то зарождается государственный умеренный элемент, которым стоит заинтересоваться.

Вопрос о польской автономии возник. Я выступил против, указывая, что мы должны сделать уравнение в правах, значит, и городские учреждения. Я был против политической автономии только потому, что это был зародыш для сепаратизма. Я знал, что заинтересованность политическая была у верхов и не отвечала настроению польских масс. Это особенно меня, как какую-то силу, противоборствующую революционным течениям, отметило. Я получаю из Петербурга письмо, что меня вызывают к государю. (Это май 1905 года.) Это был тот съезд, который постановил послать депутацию к государю. Я был на этом съезде. Там был польский вопрос, снятие

всех ограничений. Закончился съезд постановлением о посылке государю депутации. Я в эту депутацию не попал, потому что я был правый, а депутация была левее. Меня тогда вызвали в Петербург. Я это приписываю тому, что великая княгиня обо мне писала.

Я был у государя в Петергофе — государь, государыня и я. Два с половиной часа вечером просидели. Государь спрашивал про Маньчжурию. Я говорил о Красном Кресте и об общем положении. О том, что армия плохо поддержана Петербургом в смысле снабжения, удовлетворения всяких требований Главнокомандующего — это я знал от Куропаткина. Я государю говорил, что ежели так дело пойдет, то там кончится поражением, но из этого не надо делать вывода, что нужно делать мир, потому что заключать мир при таких тяжких условиях — это отразится на общем нашем внутреннем положении. Такого нашего унижения не только революционные, но и патриотические круги не простят. Поэтому, говорю, несмотря на все плохие условия, я считаю, что надо войну продолжать, но при одном условии — изменить всю обстановку внутри страны и этим воздействовать на настроение армии. Я только что с Земского и Городского съезда — очень революционное настроение.

Это настроение расползается по всей стране. Мне кажется, что Вашему Величеству надо сделать шаг. Созовите Земский Собор. Не теряйте времени, не утруждайте себя выработкой какого-нибудь сложного избирательного закона. Возьмите закон, который существует. У всех групп есть известное представительство — у дворянства, городского населения и крестьянства, есть свое самоуправление, возможно скомбинировать. Созовите Земской Собор. Если вы лично явитесь туда, скажете слова, которые должны быть сказаны, что в прошлом были известные ошибки, что это не повторится, но скажете, что сейчас не момент давать реформы, что надо

довести войну до конца, я убежден, В. И. В., что вам ответят взрывом энтузиазма, и что этот энтузиазм передастся в армию и это почувствует и наш противник — японцы. Японцы находятся в тяжких условиях. В то время, когда силы их приходят к истощению, они почувствуют, что у их противника другое, и тогда не мы, а они будут искать мира. В. И. Величество — это последний шаг. Он очень внимательно слушал, говорил: «Вы правы».

Государыня задала несколько вопросов, не политических. Затем, когда он прощался со мной, я говорю: «В. И. Величество, имейте в виду, сейчас наступил последний момент, когда вы можете таким шагом умиротворить страну». Когда я уезжал из Москвы, на этом съезде был выработан вопрос о депутации. И говорю: «Имейте в виду, что это [решение] принято против крайних элементов, потому что те избегают найти общий язык или примирение с исторической верховной властью. Очень ждут, что вы откажетесь принять эту депутацию».

Базили. Крайний левый был кто?

Гучков. Сама депутация была государственного характера. От Петербурга кадеты были: Федоров, Гейден, Шипов, кн. Трубецкой. Несмотря на левизну съезда, они послали туда приличных людей. Помнится, что тогда Трубецкой произнес благородную и красивую речь. Я государю все это сказал. Кроме того, я видел там Трепова Д. Ф., который был московским градоначальником. В это время он был генерал-губернатором петербургским и товарищем министра внутр. дел. Мы с ним были в добрых отношениях по Москве. Я его убеждал, чтобы он убедил государя, чтобы депутация была принята. Это была моя первая встреча с государем. На другой день было некоторое разочарование. Я получаю записку от московского городского головы Рукавишникова, он был очень хороший общественный деятель, очень консервативного образа мыслей. Этот Рукавишников пользовался

большим доверием со стороны великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича, которые ему верили, любили и составили блестящую репутацию в глазах государя и сестры.

Через день или два после свидания с государем получаю записку от Рукавишникова, он пишет: «Зайдите ко мне». Я пошел к нему. Он мне говорит: «Меня вызвали под предлогом разговора об эвакуации больных и раненых, потому что Москва считалась распределительным центром, но я убежден, что государь этим пользуется для того, чтобы со мной беседовать на другие темы. Я знаю, что вы были у государя, расскажите». Я ему рассказал все. Он был совершенно противоположного мнения. Он считал, что положение такое отчаянное и революционное движение в стране столь грозно, что продолжать войну — это значит вести страну к гибели. Он стоял, какой угодно ценой за мир, а против моей мысли о созыве Земского Собора он возражал, исходя из того, что это может стать зерном для развития дальнейшего революционного движения. Я его просил, чтобы он меня тоже осведомил. Он был у государя, говорил против того, что я говорил. Тогда я спросил: «Государь что говорил?» Он улыбнулся, не то горько, не то иронически. Что же государь... Он сказал: «Вы совершенно правы. Так нужно поступить».

11 ноября 1932 г.

Базили. Вы описывали, как начались ваши отношения с Николаем II.

Гучков. Это была моя первая встреча — июнь 1905 года. Затем в Москве продолжаются эти съезды земские и городские, которые становятся все более и более бурными. Затем выработана в Петергофе на совещании под председательством Николая II так называемая Булыгинская конституция, которая предоставляет законодательным учреждениям роль

совещательную на земских съездах. Это не вызывает никакого удовлетворения и успокоения, и революционная волна идет все выше и выше. Я пытаюсь убедить, что все уже достигнуто, но голоса благоразумия не принимаются во внимание, требования растут. Это было в августе — Булыгинская конституция. Декабрьское восстание в Москве — это 1905 год... Мы хронологию потом тоже установим. Затем смена министерства — Витте призван. Под влиянием роста революционного движения по настоянию кн. А. Д. Оболенского, который играл большую роль, Витте убеждает государя сделать какую-то общественную манифестацию, которая свидетельствовала бы о том, что верховная власть решила идти на широкие реформы. Появляется манифест 17 окт[ября], и затем начинается выполнение этого манифеста; составлен проект избирательного закона и проект положения Государственной думы и Государственного совета. В самом конце ноября — начале декабря 1905 г. в Петергофе созывается совещание для обсуждения того проекта избирательного закона, который выработан был министерством. Совещание это под председательством государя состоит из Совета министров, некоторых членов Государственного совета, специально приглашенных, и туда же приглашены четыре со стороны независимых общественных деятелей: Шипов — председатель губ. управы московской, бар. Корф — от Петербургского земства, граф Владимир Алексеевич Бобринский и я.

Базили. Было в Петергофском дворце?

Гучков. Да. В Большом дворце. Это была моя вторая встреча с государем. Она не имела никакого значения. Меня просто представили ему. Он несколько слов ласковых сказал. Мы считались как бы экспертами, приглашенными дать свои показания. Вот эти четыре лица, которые там были, они по одному вопросу, основному — должно ли быть положено в основание закона представительство профессиональное

или национальное — разделились на две группы. Бар. Корф и Бобринский стояли за представительство профессий, исходя из того, что эти выборы дают возможность избирателям более сознательно выбрать своих представителей: они выбирают людей своей группы. Шипов и я, мы стояли за общее представительство. Технически, может, те были правы, но мы считали, что дело касалось известного умиротворения, сословное же представительство могло бы вызвать большие брожения и протест оппозиции. Потом, в этом вопросе большую роль играет не дозирование представительства групп, а какое количество голосов вы тем и другим группам дадите.

Базили. Это решение не удовлетворило бы левых?

Гучков. Мы с Шиповым, не предрешая вопроса о всеобщем избирательном праве, допускали известные преимущества, которые были бы даны тем и другим избирателям. Мы предполагали, что известный ценз должен быть. В требованиях не доходили до всеобщего избирательного права, а допускали известные цензовые ограничения.

Одну любопытную черту надо отметить. Тогда мы были приглашены в Петербург на три совещания. Остановились мы все четверо в одной и той же гостинице «Франция» на Морской, и Шипов и я; мы получили записку от графа Витте, приглашающую нас к нему зайти вечером накануне совещания. Он тогда жил в Зимнем дворце, в одном из флигелей. Очевидно, он знал заранее, как у нас распределены течения. Шипова вместе со мной позвал и спросил, какие у нас основные взгляды? Мы ему изложили. Он сказал, что разделяет наши взгляды, не обещал их поддерживать, но я помню, в виде аргументации он дал такой совет: «В числе аргументов, которые вы будете приводить, вы не указывайте на то, что манифест 17 октября уже предрешает введение конституционного образа правления в России и что этот манифест

уже связывает верховную власть, как что-то уже сделанное». Значит, он уже в то время заметил, что у государя было некоторое колебание.

Когда мы возвращались от Витте поздно вечером домой, по дороге мы встретили бар. Корфа и графа Бобринского, которые тоже получили приглашение к Витте — позднее, чем мы. Мы условились, что поделимся нашими впечатлениями. Они рассказали нам, что Витте то же самое с ними говорил, что и с нами. Он не возражал против их схемы и тоже дал ряд советов, как они должны себя вести. Отсюда я заключаю, что сам Витте не выработал в то время для самого себя определенного взгляда на этот важнейший вопрос.

На другой день было совещание, и меня тронула одна черта, которая очень характеризует Бобринского, человека искреннего. Мы говорили в таком порядке: сперва Шипову было предоставлено слово, потом я говорил, горячо, убежденно. Поэтому когда после меня Бобринскому было предоставлено слово, то он взволнованно сказал, что пришел на это совещание вот с какими мыслями, но моя речь, мои доводы его совершенно поколебали и он думает, что действительно следует стать на эту позицию. Я указывал на то, что неравенство, классовые деления вызывают всеобщее осуждение, и если мы эти остатки прошлого закрепим, предоставим представительство этим классам, то не будет удовлетворения, которого жаждет нация; что акт великой справедливости должен совершиться, и только тем путем, что [избирательное право] предоставляется всем без различия языков и сословий.

Базили. Этот проект и был введен в силу, который вышел из этого Совещания?

Гучков. Он и был введен. При самом обсуждении мы [до конца] не присутствовали. После нас было предоставлено

слово кое-кому из остальных[2] участников. Я помню только речь Дурново Петра Николаевича. Он тогда был членом Государственного совета. Он возражал против самой идеи народного представительства. Очень умно, резко говорил, предостерегал против этого строя, находя, что он — как ни строить сам избирательный закон — будет большой фальсификацией народного и общественного настроения: предполагается, что народ, а на самом деле это разные самозваные вожаки — учительницы, фельдшера. Об этом революционном третьем элементе.

Базили. Возьмет народ в опеку...

Гучков. И угрожал всякими бедами, если власть станет на этот путь. Что будет с народом в руках революционных элементов? Тут его старый опыт бывшего министра внутренних дел сказался, потому что донесения Департамента полиции свидетельствовали о сильном революционизировании этих кругов. Но в прочих выступлениях я чувствовал большое колебание. Когда после одной или двух речей членов Государственного совета государь объявил перерыв и позвал нас завтракать, то подошел ко мне граф Алексей Игнатьев, который был киевским генерал-губернатором, член Государственного совета. Он говорил, что тоже очень колебался, но моя речь его убедила. Ему показалось, что можно на этих началах построить наши новые представительные учреждения по типу старых земских соборов, и так как вся семья Игнатьевых со славянофильскими традициями, ему представилось, что это не будет такой разрыв с прошлым. Насколько в кругах, которые должны были решать, не было плана; они были в поисках.

Затем перерыв был, нас благодарили и отпустили, потому что с нас как с экспертов сняли допрос. Государь ничего

---

[2] Или: основных — не расслышала. *(Прим. стеногр.)*

не сказал во время завтрака, он подошел и все. Это было в декабре. Кто-то меня спросил: «Что, вы еще остаетесь в Петербурге?» Я говорю: «Нет, я тороплюсь в Москву, потому что там назначено вооруженное восстание». Насколько мы знали, гласные думы по городскому управлению, что там подготавливается вооруженное восстание! А брат Николай и я, мы по долгу гласных и общественных деятелей считали необходимым быть там.

Базили. Кто вел это вооруженное восстание?

Гучков. Оно было хаотическое. Я не думаю, чтобы там было правильное руководство. У меня не было впечатления, что был какой-то революционный комитет, объединяющий действия всех. Были отдельные вспышки. Был московский гарнизон и потом туда был приведен Семеновский полк (хотели какие-нибудь чужие войска ввести). Семеновцы выполнили все то, что им было приказано, но в общем без очень больших потерь это движение было подавлено.

Базили. В Петрограде Хрусталев играл очень большую роль, а там не было такого Хрусталева? Из Петрограда руководили?

Гучков. Возможно. Но внутри Москвы не чувствовалось плана.

Базили. Но это была социал-демократическая затея?

Гучков. Да, да, в это время рабочее население было распропагандировано, какое-то влияние было. Следующим эпизодом из этой области был съезд, тоже очень бурный, и вот я получаю из Петербурга приглашение от графа Витте приехать к нему. Одновременно туда приглашены: Шипов, В. А. Стахович, князь Евгений Трубецкой, который был в то время профессором в Киеве, талантливый, но менее значительный, чем брат. Тот был чистый философ, а этот — философ в области юриспруденции. Витте созывает нас и говорит, что по поручению государя он нас пригласил

для того, чтобы нам войти в состав министерства. В Зимнем дворце ряд вечерних заседаний. Мы, сговорившись между собой, даем согласие, но ставим условие. Условие заключается в том, что одновременно с призывом нас к власти должна быть если не обнародована, то выработана для нас самих общая программа тех мер, которые это правительство должно было бы провести.

Мы говорим: имена наши что-то такое дают, потому что всем известно наше прошлое, это имеет что-то за себя, но это слабо; если верховная власть и граф Витте хотят привлечением новых людей вызвать успокоение общественного мнения, которое, так сказать, авансом готово поверить новому правительству, то имен недостаточно, а надо программу. Относительно программы у нас в общих чертах как будто складывалось. Больших разногласий в конце концов не было бы, потому что у высшей власти в лице Витте была как бы безграничная готовность идти на самые большие уступки. Распалась вся эта комбинация на вопросе личном. Какие портфели предполагалось распределить между этими лицами? Граф Гейден — Государственный контроль, значит, пост мало влиятельный; Шипов — земледелие, тоже техническое министерство...

Базили. Об аграрной реформе тогда не говорили еще?

Гучков. Нет, не говорили. Мне — чисто техническое Министерство торговли и промышленности, в силу моего происхождения из этой среды; Стаховича имели в виду на должность обер-прокурора Синода; кн. Трубецкого — на пост министра народного просвещения.

Базили. Но предполагалось создать Совет министров, так что идея была?

Гучков. Основное — борьба с революционными течениями, отношение к городам и земствам, деятельность полиции — это все сводилось к центральной фигуре министра

внутренних дел. Кто же министр внутренних дел? Витте очень неохотно разъяснил нам, что его кандидат — Петр Дурново, который в то время был товарищем министра внутренних дел. У Дурново была репутация определенная, а у некоторых из нас были личные впечатления неблагоприятные. Трудно было придумать человека, менее отвечающего задачам, которые ставили себе верховная власть и ее представитель — Витте, и если нужно было составом министерства успокоить общественное мнение, то это отпадало.

Мы возражали против этой кандидатуры, и я сказал Витте: «Могу вас уверить, что все то впечатление, на которое вы рассчитываете, будет начисто смыто, раз после опубликования списка министров окажется, что мы согласились войти в состав того же министерства, в каком и Дурново. Мы будем в этом отношении бесполезны, потому что тот капитал, на который вы рассчитывали, будет в пять минут растрачен, если противник всякой общественности становится во главе министерства». Витте сказал, что он в своих руках держит весь узел борьбы с революционными течениями. Даже, как сейчас помню: «Если государь в безопасности и жив, если мы с вами спокойно обсуждаем эти вопросы, то только благодаря ему, потому что на нем все держится».

В один вечер мы пришли к Витте, застаем там князя Урусова Сергея Дмитриевича, быв. московского губернатора. Кн. Урусова я знал хорошо. Так, человек средний был, но он считался представителем либеральных течений в нашей бюрократии и был специально приглашен туда, чтобы убеждать нас, что Дурново вполне приемлем, что он совсем не такой страшный реакционер, как его рисуют, и очень горячо его отстаивал. Конечно, в этой защите был один слабый пункт: при этой комбинации Урусов предназначается на должность товарища министра внутренних дел. Эта защита, однако, не подействовала на нас, и мы в конце какого-то

из вечерних заседаний заявили, что если только Витте настаивает на Дурново, то мы отказываемся от участия в этой комбинации. В этот же день предполагалось последнее наше совещание по этому вопросу. Хотя у нас [произошел] как бы разрыв, но Витте сказал: «Обдумайте и затем вечером еще раз сойдемся».

У меня в этот вечер был родственник, брат моей жены — Зилоти, который был старшим адъютантом Морского штаба, но он был гораздо влиятельней, гораздо больше знал, чем полагалось по должности, которую он занимал. Он имел влияние на министров и очень близкую связь с адмиралом Ниловым. Я обедал у Зилоти, и я ему объяснил. Надо сказать, что Зилоти очень сочувствовал этой комбинации. Он был с Витте хорош, так что во всей этой интриге был очень в курсе. Очень огорченный этой неудачей, казалось, уже окончательной, он мне ничего не сказал, но после обеда куда-то уехал. Когда мы поздно вечером в назначенный час пошли к Витте, то встретили какого-то человека, который спускался от него. Кто-то спросил, кто это такой, и нам объяснили, что это Рачковский.

Базили. Он кто был тогда?

Гучков. Начальник сети иностранной агентуры. Когда Витте нас принял, мы его застали взволнованным. Он сказал: «Да, господа, я обдумал, вы, пожалуй, правы. Я решил отказаться от кандидатуры Дурново». Оказывается, Зилоти поехал к Витте и сказал, что ему известен целый рад темных сторон из жизни и деятельности Дурново; история с обыском у испанского посланника (Высочайшая резолюция по этому поводу: убрать и никуда не пускать); незадолго до всех этих событий разоблачение и травля Дурново в левой прессе по поводу каких-то поставок овса. Так вот, Зилоти сказал Витте, что, как ему известно, в левой прессе — тогда была газета «Русь» — уже заготовлены статьи и одновременно

с опубликованием нового министерства все эти разоблачения Дурново будут обнародованы — и насмарку все расчеты на успокоение. Тогда Витте вызвал Рачковского, и тот подтвердил, что это имело место. Отсюда этот вольт-фас.

Когда утром мы пришли, то Витте за ночь передумал и нам заявил, что, по-видимому, наша комбинация не состоится, потому что он вынужден вернуться к кандидатуре Дурново. (Значит, какое-то воздействие было?) Во время этих переговоров я тоже был вызван к государю. Он сказал, что не удастся составить полуобщественный кабинет, [произнес] несколько добрых слов. Я единственный был приглашен из этого совещания, так как был раньше ему представлен. Так вот, вторая встреча осталась без какого-нибудь следа.

Базили. Вы тогда какую должность занимали в Москве?

Гучков. Я был гласным городской думы и Московского губернского земства.

Базили. А партия была уже составлена?

Гучков. Партия уже состоялась. Центральный Комитет Октябристской партии.

Базили. Значит вы и шли туда как лидер октябристов?

Гучков. Я думаю, что едва ли этот пост играл роль.

Базили. Предполагалось опираться на октябристов. Ставка была на октябристов.

Гучков. Казалось, что представителями и защитниками нового строя являемся мы — октябристы. Эта комбинация не состоялась.

Базили. Ведь был момент в 1905 году, когда предполагалось призвать кадетов. Когда это было?

Гучков. Это было до созыва I Думы.

Базили. Значит после этого...

Гучков. После этого — это уже 1906 год. Значит, выборы в I Думу, большая победа кадетов. Мы в очень маленькой группе. Я лично не прошел, прошли другие, как Стахович,

Гейден, предводители дворянства, председатели губернских управ, два десятка, три десятка, а кадетов большинство. Вот тогда обнаружилась некоторая растерянность, и тогда, в попытке приручить некоторые радикальные элементы, и явилась идея составить кадетское министерство.

Базили. У того же Витте.

Гучков. У того же Витте. Большим сторонником такого кадетского министерства был генерал Трепов. Эта мысль встретила личное нежелание, сопротивление самого государя. Обнародован закон о положении Думы. Выборы. Выборы дают победу кадетам. Затем очень быстро [состоялся] роспуск I Думы после того, как один из ее членов, Кузьмин-Караваев и, предложил Государственной думе сделать какое-то обращение к населению. В этом усмотрели известное нарушение положения и прав Государственной думы и убедились, что она неработоспособна в том смысле, что никакого соглашения между этими элементами и исторической властью не может быть. Она была распущена, затем [предпринималась] попытка на основе избирательного закона произвести вторые выборы, которые дали еще более плачевные результаты. Умеренные правые остались на своих позициях, кадеты потеряли в пользу более левых элементов во II Думе.

Базили. Были введены в России общие выборы, они определенно пошли влево. На это, казалось, один ответ, что программы умеренных были совершенно чужды массе, что масса поддавалась демагогическим обещаниям — очень простым, близким, касавшимся материального интереса, а все культурные лозунги, которые выдвигались умеренными, были массам абсолютно непонятны.

Гучков. Еще большую роль играло непримиримое отношение к власти и к правительству. Призыв к сотрудничеству встречал мало сочувствия, а призыв к борьбе привлекал. Что касается крестьянства — расширение земельной площади,

а городское население и интеллигенция увлекались не столько этими отдельными обещаниями, сколько своей боевой ролью по отношению к существующему строю.

Базили. Чем это объяснить?

Гучков. Накопление многих претензий к старому строю и наивная вера, что добиться новых основ жизни можно в порядке насильственном, революционном, а попытка компромисса не приведет ни к чему серьезному. Общее революционное настроение было. Сотрудничество с властью — это значит человек предает себя. Потом перемена пришла со Столыпиным. Сотрудничество можно было наладить с правительством Столыпина... Через некоторое время после роспуска II Думы, ухода Горемыкина, назначения Столыпина я получаю из Петербурга [приглашение] явиться к Столыпину. Вызваны туда были два лица — Львов Н. Н. и брат его Владимир, [будущий обер-]прокурор [Синода]. Николай Николаевич был прогрессистом. Несмотря на левый уклон этой группы, он в первых Думах держал себя очень сдержанно. Видно, что он не был увлечен этим революционным потоком. Лично был известен Столыпину, потому что Львов был предводитель дворянства в одном из уездов Саратовской губернии, где губернаторствовал Столыпин. Значит, Столыпин к нему относился с доверием и симпатией.

Перед этим у меня со Столыпиным была одна только встреча, тоже довольно своеобразная. Придется передвинуться немножко назад. Вскоре после московского вооруженного восстания было введено положение о военно-полевых судах. Подавление восстания [прошло] без особых эксцессов, но иногда эксцессы все же имели место. Отдельные воинские отряды озлоблялись сопротивлением мятежников, которые из-за угла, из окон подстреливали солдат, озлобление охватывало не только офицеров, но и нижних чинов, они чувствовали обиду и вражду. Когда кого-то заподозревали,

на месте расстреливали. Указ о военно-полевых судах встретил у меня полное одобрение, потому что в условиях гражданской войны ждать медленно работающего судебного аппарата — это значит ослабить власть и ослабить то впечатление, которое репрессии должны вызвать. В качестве правильного решения между этими двумя крайностями я видел военно-полевой суд, который давал известную гарантию, потому что все-таки был суд. Такое решение достигало и того и другого.

Но в тех условиях этот приказ о военно-полевых судах был встречен криком негодования. Ко мне зашел один из журналистов от «Нового времени», Ксюнин, с просьбой дать мой отзыв по этому делу, и я совершенно определенно высказался одобрительно, и вообще высказался о необходимости суровыми мерами подавить революционное движение, которое мешает проведению у нас назревших либеральных реформ. Травля в либеральной прессе поднялась невероятная против меня. Очень даже заколебались такие столпы, как Шипов, граф Гейден, Стахович. Шипов после этого заявил об уходе из октябристской партии, Гейден имел очень суровое объяснение со мной, после которого объявил себя удовлетворенным, но они оба остались в рядах октябристского комитета.

Вот любопытный штрих безвольности, дряблости общественных элементов. Ко мне пришел граф Гейден. Он был выше остальных, потому что он был, во-первых, нерусского происхождения, у него не было той сентиментальности, а было положительное отношение к вопросам, как у западноевропейских людей, и он не был чистым продуктом общественности, а был в свое время чиновником. Для него чувство ответственности, долга, понимание необходимости власти, инстинкт власти не были пустые слова. Когда я пришел, мы имели с ним разговор, и я ему говорю: «Как же иначе власти

быть в такие времена, когда нужно подавлять такие движения?» И для того, чтобы усилить мою позицию и отнять у него известное оружие, я ему привел случай борьбы двух групп населения и говорю: «Представьте, что вы как министр внутренних дел получаете телеграмму, что в Баку готовится борьба между армянами и татарами. Как вы будете действовать? В конце концов, вы должны будете ввести исключительное положение либо осадное положение, если все не утихомирится. А что такое осадное положение? Предоставление военным властям права распоряжения. Ну, как же граф, вы поступили бы в данном случае?» Вы знаете, что он мне сказал, когда я его спросил? Он взял себя за голову: «Я вышел бы в отставку». Вот вся эта дряблость, а я еще говорил, что он был одним из лучших.

Поэтому я говорил, что все время был проникнут недоверием к государственным способностям общественности. Я считал, ее надо проучить[3]. Я был против парламентского принципа, против парламентского кабинета и даже Столыпину не рекомендовал отдельных лиц вводить туда. В Петербурге это мне создало репутацию человека энергичного, не боящегося ответственности перед общественным мнением. И вот моя первая встреча с П. А. Столыпиным. Она произошла при таких условиях. Я был в Петербурге в день созыва I Думы.

Базили. Вероятно, это заявление и вызвало ваши невыборы в I Думу?

Гучков. Конечно. Я был у Столыпина А. А. — одного из основателей октябризма. Мы все видели из окна, как членов Государственной думы везли куда-то на прием в Зимний дворец. Из Зимнего дворца приехал к своему брату П. А. Столыпин, там мы и познакомились. Он говорит,

---

[3] Приручить? *(Прим. стеногр.)*

что аплодировал мне по поводу того гражданского мужества которое я проявил, взяв под свою защиту такую непопулярную вещь.

Во время одного из земских съездов я опять получаю приглашение Столыпина приехать, и мы приняты Столыпиным на Аптекарском острове в том самом здании, которое через несколько недель после нашей беседы было взорвано. Так что вот II и III Думы до взрыва на Аптекарском острове и до обнародования нового избирательного закона от 3 июня с ограничениями, куриальная система.

Базили. Ценз был выше и только для известных категорий.

Гучков. Он нас убеждает войти в министерство, он всю свою государственную работу строит на аграрной реформе, на умиротворении крестьянского моря, на целом ряде начинаний, которые должны крестьянство культурно и материально поднять: аграрная реформа, экономическая реформа, введение волостного земства, общественных школ для крестьян — все его внимание на крестьянах. Он говорит: «Если мы и на этой реформе провалимся, то гнать нас надо всех». Он считал, что будущее России надо строить на этом он убеждает Н. Н. Львова стать во главе Министерства земледелия. «Нет предела тем улучшениям, облегчениям которые я готов дать крестьянству, — говорит он, — для того, чтобы его вывести, я даже не так уже расхожусь с кадетской программой, я только отрицаю массовое отчуждение, я считаю, что нужно другими мерами этого достигнуть, в смысле увеличения крестьянского землевладения. Я только не могу теми путями идти, которые указаны в кадетской программе».

Я опять-таки предназначаюсь на должность министра торговли и промышленности. Он очень желал, чувствовал необходимость ввести в бюрократическую среду новые элементы и не только дорожил личностью Львова и моей, но самым принципом чего-то нового. Он чувствовал, что это

произведет впечатление. Мы, однако, сказали ему то, что говорили Витте: мы готовы идти, но только при двух условиях — программа, которая должна была бы связать правительство и характеризовать новый его состав в глазах общественного мнения, и затем, мы настаивали на значительном расширении состава людей со стороны, которые должны были быть введены, т. е. ввести и других общественных деятелей в министерство, потому что [если] нас двое, что же мы смогли [бы]. «Вы это сделайте, — говорил я Столыпину, — потому что, если бы мы вошли вдвоем, мы встретили бы оппозицию. Если мы через некоторое время будем вынуждены уйти, это вам худший урон будет — лучше не начинать».

Он стал поддаваться. У меня было впечатление, что он готов идти на расширенный состав, но сверху не получил согласия. Мы не шли очень далеко, о министре внутренних дел не было речи, но [требовалось] введение туда еще кого-нибудь. Я назвал такие имена, как Кони, человек, который с восторгом был бы принят и общественным мнением и судебным персоналом. Водворение у нас не только правосудия, но и человека, который являлся бы гарантией бескорыстного укрепления правосудия — это произвело бы сильнейшее впечатление. Он только говорил «я подумаю» — значит должен был просить согласия. Потом выяснилось, что он получил согласие на Кони, но было нелегко, потому что придворные круги припомнили ему председательствование в окружном суде по делу Засулич.

Затем взбудораженное море профессуры и студенчества, надо кого-нибудь министра, который импонировал бы, и я тогда рекомендовал бывшего московского профессора П. Г. Виноградова, который был в Англии. У Виноградова были следующие достоинства: он был выдающимся ученым, знал хорошо среднюю школу, потому что принадлежал

к педагогической семье и до профессуры давал уроки в классической гимназии; как председатель училищной комиссии в Московской городской думе знал начальную школу городскую. Хотя он был человек либеральных взглядов, но очень решительный, трезвый, а главное не связан никакими партийными связями, свободен от обязательств. В качестве проректора Московского университета он потерпел за правду, потому что, когда посте каких-то студенческих беспорядков Ванновский издал приказ (указ) о взятии на военную службу исключенных студентов, тогда он резко против этого выступил и за это потерпел. Не помню, добровольно ли он ушел или его удалили, но после этого ему пришлось уйти. В то же время я близко знал его, знал, что он приблизительно таких же взглядов, как и я. Он был приглашен в Лондон сейчас же по окончании этого конфликта, потому что его специальность была общественные учреждения и хозяйственная история Англии в средние века.

Затем я очень настаивал на графе Гейдене. Виноградов прошел свободно он телеграммой мне ответил, что согласен, но ставит некоторые условия, и между прочим одно условие — снятие ограничений для еврейской молодежи, процентного отношения. Я думаю, что это тоже было правильно, потому что ничем не угрожало, а как первый признак равноправия произвело бы впечатление на революционные элементы.

Вот, значит, состав приблизительный определился, а что касается выработки программы, то тут мы не встретили со стороны Петра Аркадьевича большой готовности идти в этом направлении сколько-нибудь далеко. Аграрную программу он нам изложил, мы с ней соглашались, но он не был сторонником сколько-нибудь разработанной общей программы, которая, может быть, связала бы это правительство более практически. Он был прав, но для воздействия

на общественное мнение — мы на этом настаивали. На этом мы разошлись, и комбинация почти готова была рухнуть, когда он нам в одну из бесед сказал, что государь хочет лично переговорить с Львовым и со мной и назначил такой-то день. Это было в первые дни после роспуска II Думы. Было опасение, как бы на роспуск II Думы не ответили бунтами. В Кронштадте было несколько матросских вспышек. В Петергофе полный комфорт и благоухание, а рядом с этим во что... Мы были приглашены туда. Государь принял Львова; помню, час с четвертью продолжалась беседа, потом меня — тоже час с четвертью.

Я был поражен полным спокойствием и благодушием государя и, как мне показалось, не вполне сознательным отношением к тому, что творится, — не отдавал себе отчета во всей серьезности положения. Он был, как всегда, обворожительно любезен, сказал, что хотел бы, чтобы я вошел в состав правительства. Я сказал, что я согласен, но говорил то же, что Столыпину, что для того, чтобы вступление Львова и мое было бы эффективным, нужно, чтобы новые люди вошли и [была] программа. Я сказал, что мы полагали ввести в декларацию. Там был один любопытный пункт — это вопрос еврейский. Я государю сказал: «Я не охотник до евреев, лучше, если бы их у нас не было, но они у нас даны историей. Надо известный модус вивенди установить. Надо создать нормальные условия, как бы к ним ни относиться, но надо сказать, что все мероприятия с еврейским засильем никуда не годятся. Есть цензовые ограничения в школах — это, казалось бы, должно было нас оградить от еврейского засилья в духовной области, а на самом деле посмотрите: в области печати — евреи там всесильны; художественная, театральная критика — в руках евреев. Это все ничего не дает, между тем озлобления без конца. Надо снять черту оседлости».

Я сказал, как это развращает администрацию, говорю: «Это все надо уничтожить, это произведет сильное впечатление на общественное мнение в России, во всем мире. Только в одном отношении я согласен сохранить ограничения в отношении к еврейству — не допускать евреев в состав офицерства (но они и не хотят) и ограничить их права в приобретении земель вне городов (их не тянет и на роль помещиков)». Я считал долгом эти ограничения сохранить, потому что я понимал, что морально мы при этом теряли, но этим путем избегали противодействия в тех кругах, которые были антисемитски настроены; а сохраняя их, мы могли бы эти еврейские реформы провести без потрясений. Государь ответил мне на эту часть моей программы следующим образом: «А не думаете ли вы, что такие меры расширения прав евреев могут вызвать сильное противодействие, могут повести к громадному всероссийскому погрому. Ведь была такая аргументация, якобы правительство ослабело...»

Базили. А остальные пункты программы?

Гучков. Он не возражал, но несмотря на милый, ласковый тон, несмотря на то, что у него было желание образовать правительство, но в это время какое-то ощущение спокойствия, безопасности там начинало крепнуть, революционная волна не так грозна и можно без новшеств обойтись. Насколько Столыпин хотел введения новых элементов, настолько государь перестал этим дорожить. Затем мы вышли с Николаем Николаевичем, был поздний вечер, наступила ночь. Столыпин ждал результатов нашей беседы и просил, чтобы мы заехали к нему. Мы поехали туда. Он принял нас. Мы передали ему нашу беседу, сказали, что мы чувствуем, что наши предложения не будут приняты, и я помню, между прочим, что я так сказал Столыпину: «Вот иногда, когда мы предлагаем то или другое лицо, вы ссылаетесь, что государь не хотел; как будто считаетесь

не только с серьезной волей, но и с капризом...» Помню, я тогда получил какую-то чрезвычайно глубоко пессимистическую оценку и государя и его окружения. Я сказал Столыпину: «Если спасать Россию, самого государя, ее надо спасать помимо его, надо не считаться с этими отдельными проявлениями его желания, надо настоять». Самое тяжелое впечатление [оставило то], что у него было полное спокойствие.

Вторник, 15 ноября 1932 г.

Гучков. У Николая Львова и у меня было страшно тяжелое чувство, потому что мы видели, что государь не отдает себе отчета, в каком положении страна. Поэтому он не решается принять какой-нибудь решительной меры в смысле нового политического курса. И когда мы, Львов и я, вышли из дворца, сели в коляску, стали обмениваться впечатлениями, и наши впечатления совершенно совпадали — один ужас, полное непонимание. Мы ночью попали к Столыпину и сказали: «Нет, мы при таких условиях совершенно бесполезны». И не то что был страх за себя и боязнь ответственности — у меня было чувство: я среди них ничего не сделаю, а в стране, что касается организации общественных групп, надо было собрать умеренно-либеральную группу. Я чувствовал, что в стране такие элементы есть, но в то время как левые хорошо организовались — социал-демократы, эсеры, кадеты, — остальные казались рассыпаны. Я думал: лучше буду в этой области работать, по организации общественного мнения. Столыпин был ужасно удручен, рассчитывал на наше сотрудничество и на тот эффект, который нужно было вызвать в известных общественных кругах. Я ему сказал: «Вы ссылаетесь на государя. Если спасать Россию, и династию, и самого государя — это надо силой делать, вопреки его желаниям капризам и симпатиям». Он сам видел, как трудно этого достигнуть. Это было летом после роспуска II Думы.

Затем произошло изменение избирательного закона, и тогда выборы дают большое преобладание умеренных элементов, самой сильной партией оказывается партия октябристов — 170 человек. Это приблизительно немножко больше трети, но все же таки нет большинства, а остальные секторы — те скорее направо от нас. Некоторая бесформенная масса правых, среди которых чувствуются различные течения, причем чувствовалось, что там были вполне хорошие элементы, а верхи в лице Маркова 2-го, Пуришкевича, Замысловского — и не государственные и не почтенные элементы. Бобринский — фигура чистая, но, по-видимому, не он имел там влияние. А затем налево от нас — сектор левый, там Ефремов, Львов, кадеты, потерявшие на выборах благодаря введению нового ценза, социал-демократы, поляки, магометане, мелкие группы.

Как при таких условиях вести парламентскую борьбу — нет большинства. И тогда у Столыпина и у меня явилась мысль найти это большинство в расколе правого сектора: нельзя ли нам подобрать более пригодный для этой работы элемент, а крайних отбросить совсем. П. Н. Балашов, очень чистый, благородный человек и тоже консервативно-либерального направления, но человек мало подготовленный для этой роли. Надо сказать, что эти группы националистов и октябристов [шли] вместе. Во всяком случае это группа, с которой можно было. Главное дело, в то время как у нас была своя самостоятельность, эта группа всецело приняла Столыпина. Целиком за ним шла — это была самая верная ему группа. Мы иногда расходились с ним, но в основных линиях столыпинской политики можно было строить...

Я еще хочу подойти к государю. Я был выбран в III Думу. Брат Николай в то время был уже московским городским головой. Часто приходилось бывать в Петербурге и ему

приходилось представляться государю. И как раз брат представлялся государю и государыне, и он сказал: «Я узнал, что брат ваш выбран, как мы счастливы». Размолвка началась в 1907 г. с моей речи по военному бюджету в III Думе. Первый бюджет регулярный, который проходил через Государственную думу, бюджет военной и морской прошел через комиссию государственной обороны, где я был председателем. Когда собралась III Дума, надо было организовать работы, и в нашей среде было чувство большой боли за то поражение и тот позор, который мы понесли на Дальнем Востоке. Было немало офицеров запасных, предводителей дворянства, председателей земских управ, и они в эту Думу принесли жгучее чувство боли за то, что они перенесли. В нашей фракции обсуждалось, какие комиссии образовать, и очень дружно прошло предложение образовать комиссию государственной обороны. Государю это не понравилось, он говорил Родзянко: «Надо, чтобы это переименовалось». Ему не нравилась эта комиссия, потому что во время войны было образовано особое совещание, где председательствовал великий князь Николай Николаевич, под предлогом, что могли слышать [лишнее]. Для нас это была мысль отдаленная — мы даже не знали о существовании этой комиссии.

Была выбрана такая комиссия — первым делом была военно-морская смета. Я докладчик по военной смете. При первом соприкосновении с военными делами мы подвели итоги всему прошлому и наметили себе план, причем надо сказать, что мы с самого начала в самые дружеские отношения встали с Военным министерством, во главе которого стоял Редигер — очень умный, знающий и благородный человек и я не сказал бы — безвольный, но все-таки не отличавшийся особой энергией по устранению препятствий. Он нам раскрыл всю картину, ожидал нашей помощи в смысле кредитов. Все прошло, как предлагало Военное министерство,

но за этот краткий период, который протек со времени созыва Думы и обсуждения сметы в Государственной думе., наша группа в одном убедилась, что есть совершенно непреодолимое препятствие для возрождения нашей военной мощи и для поднятия ее на ту высоту, чтобы представлять Россию, — это участие великих князей в военном управлении, на хозяйственно-административных должностях, и у нас у самих было такое чувство, что в этой области неблагополучно. А когда мы несколько углубились, когда удалось по душам поговорить со всеми крупными представителями военного ведомства, то мы увидали, что это такая болячка, которая давно там засела и для самого военного ведомства — болезнь непреодолимая, они сами не могут справиться. Очень ярко сказалось хозяйничанье великих князей в морском ведомстве, но также и в военном ведомстве в смысле глубокого застоя, невозможности провести новую мысль и новых людей.

Базили. Вы имели в виду злоупотребления и застой вокруг них?

Гучков. Я не обвиняю их самих. Даже когда великие князья были сами по себе неплохие знатоки данной отрасли таким был Сергей Михайлович), то все равно был окружен неподходящими людьми, потому что были особенные приемы сделаться угодным великому князю, и чистые люди гнушались этих приемов, и значит как-то фатально, органически вокруг великого князя, который сам по себе был бы не плох, создавалось окружение совершенно невозможное.

Базили. Кто были великие князья?

Гучков. Вот какие места они занимали. Во главе всей обороны (потому что там были не только сухопутные, но и морские дела) стоял великий князь Николай Николаевич. Правда, это были вопросы общего характера. Там не было хозяйственных, финансовых, административных дел, а только общие вопросы, но тоже чувствовалось, что там застой. Военный

министр, который хотел бы ввести там новые порядки должен [был] преодолеть средостение, где сидели люди прежних взглядов; у него не было такой возможности, и сам Николай Николаевич — потом его война многому научила, а в то время он тоже скорее представлял из себя рутину — не было у него настоящего понимания нужд армии, что нужно очень круто переменить подбор людей и порядки, чтобы поставить нашу военную мощь на должную высоту. Главным препятствием для военного министра был Совет государственной обороны. Во главе отдельных главных управлений стояли: во главе учебного ведомства — великий князь Константин Константинович; во главе Главного артиллерийского управления — великий князь Сергей Михайлович; Военно-инженерного управления — Петр Николаевич. Эти люди, во-первых, мешали, а затем, они снимали с военного министра ответственность, и не было известно, кто начальник. С Редигером я не раз говорил на эту тему. Первое время с Сухомлиновым тоже. Они [говорили] очень лояльно, не выдавая секретов ведомства. Я убедился, что они тяжко страдали от этой организации.

У меня создалось твердое убеждение: если только не реорганизовать верхи военного ведомства, если не будет предоставлена военному министру полнота управления, свобода действия, зато и полная ответственность, то ничего не выйдет и мы будем барахтаться в мелких реформах. Я знал, что трудно найти мне в этом отношении союзников, и даже не искал их себе, чтобы не заставить других делить ответственность за тот шаг, который я надумал, ни с кем не советуясь. Вообще говорили в нашем кружке, что великие князья являются препятствием.

Убедившись, что другими способами нельзя удалить это влияние, как публичным очень ярким выступлением

в Государственной думе, я задумал в качестве такого шага свою речь в защиту сметы Военного министерства. Я ее закончил указанием на эти слабые пункты. Для того чтобы не делать ответственными других, я своему близкому товарищу Хомякову ничего не сказал. Он должен был председательствовать, и я не хотел, чтобы он был моим соучастником. Свою речь — деловую, обоснованную, где я предлагал целый ряд мер, предлагал принять все ассигнования, — я закончил призывом к великим князьям.

Я задумал это поставить таким образом. Основная проблема — восстановление нашей военной мощи; еще предстоят нам впереди очень тяжелые испытания, и Россия не вправе позволить себе роскошь нового поражения, новое поражение — окончательный развал России. Дальше я говорил, что народное представительство готово решительно на все жертвы, но жертвовать должны все, и указал, что поперек дороги целого ряда реформ стоит то обстоятельство, что во главе главных отраслей военного дела стоят безответственные люди, которые окружены безответственными помощниками, и вот я сказал, что обращаюсь к этим людям, чтобы они маленькими своими интересами, самолюбием и славолюбием пренебрегли и принесли себя в жертву насущной потребности возрождения нашей военной мощи. Для того, чтобы сделать призыв к ним еще более убедительным, я всех назвал. Вот во главе Совета государственной обороны стоит великий князь Николай Николаевич... Всем сказал. И кончил призывом к ним, чтобы они сами ушли.

Это произвело потрясающее впечатление, все взволновались. Я говорил быстро, чтобы не дать возможности председателю Государственной думы меня остановить. И он не остановил, потому что сам растерялся. Он просто закрыл заседание, когда я кончил. Сделал перерыв, потому что в голову такие вопросы не приходили. Я вышел из зала заседаний.

Тоже характерно: вижу, бежит за мной Милюков и говорит: «Александр Иванович, что вы сделали — ведь распустят Государственную думу». Я тогда засмеялся и говорю: «Нет. Из-за чего другого распустят Думу, но по этим вопросам не распустят. Я убежден, что вся армия и народ с нами. Не решатся». Потом заседание возобновилось и продолжалось. Все кончилось благополучно. Это происходило глубокой осенью 1908 года. (Проверить даты). В это время было Ревельское свидание, государь был там и Столыпин был там. И когда Столыпин вернулся оттуда, то он мне говорит: «Что вы наделали. Государь очень негодует на вас, и к чему было приводить этот синодик. Он говорит, если Гучков имеет что-либо против участия великих князей в военном управлении, он мог это мне сказать, а не выносить все это на публику, да приводить синодик. Я с вами согласен, что участие великих князей вредно, но мне кажется, что вашим выступлением вы только укрепили их положение. И у государя бывала мысль их устранить, а сейчас для того, чтобы не делать впечатление, что действует по вашему настоянию, все останется по-прежнему». Я ответил, что думал об этой стороне дела, но не согласен: на первых порах вы будете правы с вашими предсказаниями, в ближайшее время меры не будут приняты. Но все-таки вокруг этих слов, которые впервые так открыто высказаны, образуется целый ком общественного мнения, и в конце концов эта мысль победит. Я не ошибся.

Через несколько месяцев была проведена очень серьезная реформа военного ведомства, где был выполнен следующий план. Рядом с начальниками главных управлений были созданы должности генерал-инспекторов и вот те великие князья, которые занимали должности начальников главных управлений, делались генерал-инспекторами. Это была очень высокая и почетная должность, они могли инспектировать это управление сверху донизу, но не имели никаких

прав по распоряжению. Все смотры они должны были докладывать военному министру.

Базили. Они были контролерами, подчиненными военному министру.

Гучков. А право распоряжения было отнято. Так что цель был достигнута. В то время произошла перемена: вместо Редигера был назначен Сухомлинов, и во время одной из первых своих речей за время его министерства я указал, что военный министр в настоящее время находится в более благоприятных условиях, чем все его предшественники, ему раскрыта широта власти, но зато на него возлагается великая ответственность. Вот я считал, что это был первый клин, который был вбит.

Я очень горячо отдавался делу государственной обороны и не стеснялся критики тех непорядков, которые там были. Это тоже, конечно, вызвало неудовольствие. По-видимому, народное представительство — III Дума — и, в частности, комиссия государственной обороны начали пускать корни в этой среде. Мы не занимались военной демагогией, но просто все речи нашего кружка были проникнуты чувством симпатии к армии, пониманием нужд. Потом — рядом с критикой — широкое понимание: мы никогда ничего не урезывали, шли очень широко. По нашей инициативе была принята такая мера. Когда мы на первых порах ознакомились с положением армии, выяснилось, что тяжелая сторона — большой и все растущий некомплект офицерского состава, и отчасти потому, что каждое поражение несет умаление притягательности звания, а в российской интеллигентской среде относились к военному ремеслу отрицательно, и прилив в юнкерские училища сократился. К этому присоединились тяжелые материальные условия. Оклады были низкие, зажиточный класс, который раньше был поставщиком [офицерских кадров] в армию, обеднел. Надо было поставить иначе.

Редигер как раз установил хороший обычай, приглашая к себе на квартиру на чашку чая 5–6 человек, которые несли на себе всю работу и были полными хозяевами в этой комиссии. Он нас приглашал, и мы в такой беседе обменивались взглядами. И когда первый раз указал на это, то мы ему сказали, что моральная сторона дела — раны залечиваются, а материальная часть — мы вас просим внести законопроект об улучшении материального положения офицерства. Если вы на первых порах встретите препятствия со стороны Министерства финансов, то скажите, что у вас обеспечено в Думе большинство. Вы скажите им заранее, что мы вам даем обязательство, что мы это проведем, а затем если бы вам провести не удалось, то мы в порядке инициативы внесем такой закон и получится, что Дума заботится об офицерстве, а правительство — нет. Это было проведено очень быстро. Так что те корни, которые таким образом не только комиссия, но и народное представительство пускало, — это вызвало недовольство.

Базили. Государь считал армию своей привилегированной территорией, а тут вмешиваются.

Гучков. Эти первые шаги привели к тому, что у меня установились добрые связи с очень большими людьми из военного мира. Они часто давали мне добрые советы, словом, получилось очень тесное сотрудничество, не только мое лично, но нашей маленькой группы с представителями военно-морского ведомства. На морские дела имел очень большое влияние адмирал Эссен.

Тогда же для того, чтобы были не случайные соприкосновения, а постоянное [сотрудничество], я подумал о том, что было бы хорошо создать постоянный орган, который мог бы служить лабораторией для разработки всяких вопросов. Я сношусь с генералом Василием Иосифовичем Гурко — тогда он еще молодым был, во время бурской войны он был

военным агентом. С одной стороны Стахович, а с другой Гурко. В то время в Военном министерстве была создана комиссия для составления «Истории русско-японской войны», во главе этой комиссии был поставлен Гурко. Он подобрал отличный состав сотрудников — это были офицеры Генерального штаба, горящие интересом к делу, люди, проделавшие японскую войну. Мне показалось, что это готовый орган, с которым мы могли бы сойтись на началах сотрудничества. Так как они были люди корректные, то Гурко доложил им о наших предположениях и просьбе. Тут негласно и началась совместная работа, то у меня, то у Балашова, то у Гурко. Собиралось человек 5–6 с нашей стороны и с той стороны, а если по тому или другому вопросу в их среде не было специалиста, то они сами приглашали того или другого. Например, по вопросу об образовании железнодорожных частей — у них не было, они его пригласили.

Базили. Это все в порядке дружеской беседы...

Гучков. Работа была такая. Когда к нам поступал законопроект от военного ведомства, мы его процеживали через это совещание в порядке обсуждения. Поэтому, когда этот вопрос потом официально шел в комиссии государственной обороны, наша группа была великолепно ознакомлена с делом. Так как они были люди свободные и независимые, они могли указывать на те или другие дефекты. Они занимали свою должность, писали историю, но помогали разбираться в этих вопросах. Кроме того мы в порядке таких бесед выяснили вообще нужды армии и целый ряд вопросов, которые были [впоследствии] подняты в порядке инициативы, в виде пожеланий, [так как] были две возможности: либо Дума вносила свой закон, либо это делалось в форме пожелания; правительство и министерство брали на себя выполнение. Мы предпочитали второе. Воля исходила от нас,

а выполнение шло по ведомству. Так что очень многие работы были в этой области сделаны. Все шло благополучно. Никогда не урезывали кредит. Мы указывали на необходимость увеличения кредитов по тем или другим статьям. Это называлось у них вмешательством в военные дела. Боялись, что общественное мнение военное будет считаться с Думой больше, чем с другими.

Базили. Высказывались опасения, что вы постепенно симпатии армии переведете на народное представительство.

Гучков. Я их понимаю, я должен сказать только, что нам эта самая мысль была совершенно чужда, ни малейшей ноты, которая бы в наших настроениях отвечала этому. Причем при Редигере все шло благополучно, сам Редигер ушел из-за меня. Я это знал и из переписки государя убедился. Было мое выступление такое: великие князья являются помехой реформам, а затем больное место был высший командный состав. После японской войны армия, в общем, очень подтянулась, проснулся интерес к военному делу, в самой офицерской среде прежняя ленивая работа сменилась более деловой, так что чувствовалось, что жизнь забилась, но что оставалось безнадежным — это высший командный состав. Он не только был сам по себе плох, но плох безнадежно, потому что его рекрутирование шло ненормальными путями. Это не самые выдающиеся в военном деле люди, а люди, связанные товарищескими отношениями, высоким положением; связи с двором — это влияло, подбор шел отвратительный; случайно попадали туда какие-нибудь крупные лица.

Не было создано школы для высшего командного состава, никто не занимался подготовкой людей для высоких постов. Той организации, которая создавалась в Германии, где для продвижения с одной ступени надо пройти известные маневры, выполнение известных задач, — этого не было. В нашем же кружке, под влиянием знакомства с тем,

что делалось на Западе, также родилась мысль, что надо такое военное ведомство. Не то чтобы тоже таким образом создать высшую школу командного состава, но надо было указать всенародно на эту слабую сторону.

После того как я увидел, что в нормальных условиях не удастся провести какую-нибудь из таких новых мер, потому что уже очень много личных интересов связано с этим, я тоже решил поступить по тому же шаблону, как с великими князьями, и, тоже воспользовавшись речью своей, я указал на тот прогресс, который можно отметить в смысле улучшения постановки военного дела, но указал и на то, что прошлая война была фатальной как раз благодаря неудовлетворительному составу, и что я не вижу никаких мер для того, чтобы люди почувствовали свою личную ответственность. Я сказал: «Давайте ознакомимся с теми, которые стоят во главе военных округов, потому что эти лица являются кандидатами в командующие фронтами армий», и как нарочно оказалось, что за маленькими исключениями только Иванов в Киеве удовлетворял, а остальные были люди, которые никаких серьезных военных заслуг, никакого имени в военном деле не имели. Я их всех перечислил по имени: в Москве Гершельман, в Варшаве Скалой и т. д.

Произносил эту речь в присутствии военного министра Редигера. Редигер, которого я тоже не предупредил, был очень взволнован, выступил после меня и, в общем, признал неудовлетворительным состав, и тут были, может быть, некоторые неудачи в смысле выражения своих мыслей. Он сказал: «Что же поделать, приходится пользоваться тем материалом, который мы находим». Тогда, мне говорили, негодование наверху не имело пределов. В то время, когда надо было меня опротестовать, военный министр согласился со мной! Он из-за этого вынужден был уйти.

Опять вмешательство в военные дела: великие князья, забота об армии, а теперь высший командный состав.

После того был назначен Сухомлинов. На первых порах я пытался продолжать с ним ту работу, которую вел с Редигером. Он нуждался в некоторой помощи Государственной думы. Первые шаги обещали успех, но затем он убедился, что Дума не в фаворе, комиссия государственной обороны под подозрением и ее председатель тем более. И тогда, будучи человеком равнодушным к интересам армии, он очень круто повернул против нас в том смысле, что старался подчеркнуть свое пренебрежительное отношение к народным представителям, не ходил в комиссию, предоставляя это своему помощнику, хотел, по-видимому, подчеркнуть свое пренебрежительное отношение к этим новым условиям нашего государственного строя.

Я убедился очень скоро, что с программой, планом реформ, который он вначале изложил очень широко, он не сладит. И тогда я перешел из благожелательного отношения в резкую оппозицию. Все недочеты были резко подчеркнуты и в докладах и в речах. Между прочим, когда мы убедились, что в артиллерийском ведомстве мы не можем добиться того улучшения, какое нужно, то я предложил формулу, которая была принята в комиссии государственной обороны единогласно и в Думе, и формула эта говорила о том, что Государственная дума признает, что Главное артиллерийское управление и его деятельность представляют из себя государственную опасность. Это было в III Думе. Все это было доказано цифрами и фактами.

Я помню такой эпизод, характерный для той горячки, которой мы были исполнены, и того покойного и равнодушного величия, которое показывали с той стороны. Как сейчас помню, смета Главного артиллерийского управления

рассматривается в маленькой подкомиссии. С нашей стороны Савич, я и еще кое-кто. С той стороны — ряд артиллерийских генералов. При рассмотрении сметы выясняется, что один вопрос очень жгучий, вопрос перевооружения пехоты, чрезвычайно задерживается, что медленно использованы отпущенные ранее кредиты, кредиты, которые раньше отпущены, не отвечают потребности. Когда мы пытаемся выяснить, на какой срок рассчитано выполнение плана, то получается такой длинный срок, что к концу срока винтовка будет устаревшей, и Савич, который немного нервен был, он в форменную истерику вошел, стал резко говорить генералам и вдруг заплакал, и этот генерал говорит: что вы волнуетесь, посмотрите, как мы спокойны. Это меня взорвало, и я сказал: «Если бы вы так нервничали, как нервничает Савич, тогда мы могли бы быть спокойны».

Я помню один такой случай, они спрашивали случайного кредита для выполнения какой-то работы. Мы требовали плана. Дайте нам общий план. Затем в зависимости от остроты этой потребности, в зависимости от возможности кредитов установите срок, и вы будете знать, на что вы можете рассчитывать. Я помню, какая-то была второстепенная задача, касалась она картографии, снятия карт в районах, которые могут сделаться театром военных действий. Когда стали высчитывать быстроту (такие кредиты были не в фаворе), то оказалось, что в двести лет работу выполнят.

Так все росло недовольство там, с Сухомлиновым я во вражеские отношения становлюсь. Очень обеспокоен Сухомлинов большой моей осведомленностью: «Откуда вы это знаете...» Просто я тщательно изучал, а затем, создались эти каналы. Это совершенно не маленькие люди даже были. Например, начальник штаба военного округа приезжает в Петербург, заходит ко мне: «Не могу добиться... Крепости строятся с такой медленностью... Артиллерийское снабжение запаздывает...»

Базили. Были ли какие-нибудь санкции против тех людей, которые были с вами?

Гучков. Нет, искали их. Этот кружок, Гурко и офицеры Генерального штаба, был взят под подозрение. Каких-нибудь суровых мер — этого не было. Во-первых, это были люди, которые имели свой собственный вес. Может быть, их там немножко и обходили.

Базили. Отчего не проводилось до конца?

Гучков. Возьмут на подозрение, обойдут его очередной наградой, а дальше не шли. Даже с теми, которых режим находил противниками, начать борьбу не было сил. Еще во время Столыпина в этих своих неудачах и огорчениях с военным и морским ведомствами я находил поддержку у П. А. Пойдешь к нему, расскажешь о том, о другом. Он собирал нас у себя, военного министра, морского министра, о чем-нибудь договариваемся. Когда Столыпин исчез, исчезла возможность этими путями влиять. Коковцов относился к Сухомлинову в высшей степени отрицательно. Он его раньше знал, чем я, и, когда у меня была некоторая надежда, иллюзия относительно Сухомлинова (потому что он умный человек, знающий, с практическим опытом), то меня Коковцов с самого начала разочаровал и сказал: «Ведь это гусарский корнет, а в смысле военном легкомысленный человек».

Базили. Разве главная слабость в его жуирстве?

Гучков. Ему на все наплевать. Жизнь и успехи наверху. Все благополучие построил на том, чтобы завоевать душу государя, привлечь к себе, подлаживался к этим вкусам. Новые воинские части, перемена формы, забавлял государя, старался освободить государя от скуки выслушивать серьезный доклад, а какие-нибудь недочеты — не доводил до сведения государя. Мы чувствовали, что, если так дальше будет идти... У нас была суеверная вера: 1915 год, 1916 год... Сведения, которые были из Германии (у меня были добрые

отношения с военным агентом в Берлине генералом Михельсоном и Занкевичем. Когда я за границей бывал, то их видел, либо когда они в Петербург приезжали, то бывали у меня), как росла там военная мощь, какие сроки были там установлены, когда нам приходилось это сравнивать с медленностью темпа у нас, то мы приходили в отчаяние.

Отчаяние нас так охватило, что в комиссии государственной обороны возникла такая мысль — не помню, от кого она исходила, я отстаивал это — чтобы сделать демонстрацию следующего характера: заявить в один прекрасный день в заседании Государственной думы, что мы слагаем с себя звание членов комиссии государственной обороны. Мы решили ударить по нервам, выступить с обвинительным актом, сказав, что народное представительство пришло с горячим сердцем на помощь делу государственной обороны, и что нас постиг целый ряд неудач. Мы видим, что вся наша работа дает очень мало, что мы дальше нести ответственности не можем, и уходим. Требовался какой-то шок, скандал на весь мир. Мы потом отказались от этой мысли потому что, по-видимому, не получили бы единодушия, а если бы это все к тому свелось, что ушли бы люди неприятные на верхах, то сказали бы: вот и прекрасно...

Я считал главным препятствием Сухомлинова. Но как его было устранить? Просто критикой его деятельности? Чем резче критика в Государственной думе, тем проще, при ловкости Сухомлинова, можно было представить это дело так: его травят как человека, преданного делу государя. Во главе правительства был Коковцов. Я раз с ним говорил. Он был в отчаянии от деятельности военного министра.

Среда, 16 ноября 1932 г.

Гучков. Какие шансы были на благополучный исход [для] Временного правительства? Во-первых, один основной шанс.

Он отпал одновременно с появлением Временного правительства — тогда, когда Временное правительство осталось без какой бы то ни было санкции сверху в смысле отсутствия монархического престижа и преемственности власти и в смысле отсутствия опоры снизу, когда не было ни законодательных учреждений, ни опоры в организованном общественном мнении и настроении масс. Мы буквально повисли в воздухе: не было почвы и наверху не было исторического знамени. В тот момент, когда я убеждал государя отречься, я считал, что с маленьким Алексеем в качестве государя (и вообще с каким-то все-таки законным государем во главе) этой власти можно было спасти положение. Был не только символ, а была какая-то живая сила, которая имела в себе большое притяжение, для борьбы за которую можно было найти очень много людей, которые умерли бы за царя, даже маленького. [Иное дело —] за Временное правительство. Надо было обладать высоким разумом для того, чтобы через эту группу людей обычного склада прозревать Государство, Отечество, страну, довести себя до такого напряжения, чтобы в них видеть и залог...

Базили. Я помню, мы с вами обсуждали этот вопрос. Присягать Временному правительству — ведь это же как раз то, что вы говорите.

Гучков. Я не радовался сам этим событиям, потому что я знал, как трудно среди этих бурь что-то новое создавать. У меня была надежда, что мы выполним нашу задачу, но при условии наличия монарха. И в тот момент, когда в Маленькой гостиной Михаил Александрович... Он вышел к нам... Он обдумал этот вопрос. Значит — нет. Значит гибель... Я сказал: «Я ухожу». Милюков настаивал чтобы [великий князь] принял... (Во мне не было [для этого сил], потому что я был монархистом раньше.) Я ему ставлю в заслугу, что в этот момент он сумел отмести свои симпатии в сторону и остаться на защиту [исторической власти].

Базили. Вы и Милюков были единственными лицами, которые могли спасти положение. Судьба повернулась против вас. Тут моя просьба к вам, хотелось бы иметь все материалы, все объяснения, благодаря которым можно уяснить, почему унаследовав то наследство, которого вы не хотели, которое вы получили, потому что события изменили курс, события, которых вы не желали, и даже Милюков не желал, и вот вы все мужественно взялись за спасение этого корабля. Вы оставались верными той программе, которую поставили с самого начала вашей государственной деятельности, Милюков же изменил, уклонившись вправо с той минуты, когда ответственность на него пала... Приказ № 1, в котором вы не ответственны, — вот та вещь которую мне хочется оттенить, тем более что я сидел у вас в кабинете после того как это произошло, и вы объяснили мне, как это произошло. Одна из несправедливостей судьбы заключалась в том, что ваша вынужденная жертва — это в недостаточной степени известный пункт, и тут мне хочется в самой энергичной форме факты связать так, как они были, и я обращаюсь к первоисточникам. Какая ужасная была обстановка. Вы и Милюков с самого начала, я помню, мрачно смотрели на будущее.

Гучков. Хотя у него было меньше надежд, я всегда находил в нем гораздо более оптимизма, чем во мне. Это объясняется теми впечатлениями, в которых я жил и он жил. В этом ведомстве спокойном — иностранцы; мне [приходилось иметь дело] с бунтующими солдатами, а ему — с полными радужных надежд дипломатами. До меня все это доходило в виде словесных докладов, телеграмм, а он видел социалистов, у него были иллюзии, что этому «Ахерону» можно противопоставить средний класс интеллигенции. Когда предвиделось Учредительное собрание, он был исполнен надежды, что можно собрать государственно мыслящее собрание. Он говорил: никогда наши собрания не имели того успеха,

как сейчас, — они переполнены. Кадеты были последним прибежищем. Ему казалось, что это есть показатель такого трезвого отношения окружающей интеллигенции, а на нее нельзя было положиться.

Базили. В нем должна была быть такая иллюзия. Вы пошли энергично на борьбу, несмотря на то, что у вас надежды было мало, но вы этот бой приняли...

Гучков. В ночь, когда я возвращался в Петербург из Пскова после отречения государя, в эту ночь, по-видимому, и обсуждался Приказ № 1 в особой комиссии при Солдатском и Рабочем Совете в составе Нахамкиса-Стеклова (он был секретарем этой комиссии). Так как в этот момент телеграфные сообщения, и в частности беспроволочный телеграф, находились в руках Советов солдатских депутатов, то приказ сейчас же был разослан по всем фронтам. Узнал я о его существовании только на другой день. Первый день я был очень занят. На второй день после возвращения в Петербург я узнал, что там приказ состоялся, я тогда же видел. Я тотчас же протелеграфировал в Ставку об этом самовольном акте Совета, прося принять меры.

Какие меры мы в центре должны были принять? В то время мы строили нашу дальнейшую работу на попытках соглашения между Временным правительством и Советом Р. и С. депутатов. В серьезных случаях их делегации приходили даже в заседания Совета министров. В частности Совет Р. и С. депутатов образовал ряд контактных комиссий, которые имели контроль за отдельными ведомствами. Такая комиссия была образована и в отношении военно-морского министерства. Поэтому мне хотелось найти какой-нибудь способ убедить Совет Р. и С. депутатов этот шаг отменить. Отмена с моей стороны ничего не прибавляла, важно было, чтобы они сами от него отреклись.

Базили. Кто был членом контактной комиссии?

Гучков. Стеклов-Нахамкис, был какой-то прапорщик, был от флота какой-то инженер-механик... Человек пять, шесть. Тогда я их призвал к себе и сказал, что этот приказ принесет чрезвычайный вред, он окончательно разрушит армию, она перестанет быть опасной для врага внешнего и сделается опасной для внутреннего положения. Не думайте, что вы этим путем создадите послушную армию, вы создадите хаос, который отразится на всей стране. Я сказал, что если они думают этим приказом связать армию в пользу нового строя, то это повлечет за собой только вот эти последствия, а я ручаюсь, зная настроения, что армия орудием для реакционного переворота быть не может; задача ваша, чтобы этого не было. Этого и не будет, зато, если вы ее окончательно разложите, то она перестанет быть опасной для врага внешнего и станет опасной для населения. Они очень внимательно слушали меня. Я говорил очень убежденно, поэтому, вероятно, убедительно.

Для того чтобы иметь немножко больше представления, какие у них были настроения и какими мотивами они руководствовались, я пригласил на это собеседование одного молодого генерала, Потапова (раньше он был военным агентом в Корее), во время первых дней революции нашедшего какие-то связи с революционными кругами, и человека, который считался ими за человека с ними согласного, а я его знал еще раньше по бурской или по японской войне. Я его позвал и попросил, поскольку он был вхож в Совет Р. и С. депутатов, чтобы он разведал и объяснил, на кого там надавить. Беседа продолжалась довольно долго, затем я сказал им, что это вопрос довольно спешный. Я настаиваю, чтобы они новым приказом от их имени отменили свой первый приказ. Я тогда исчерпал все свои доводы и сказал, что предоставляю им некоторое время на обсуждение. Они остались у меня в кабинете, остался и Потапов там среди них. Затем они пригласили

меня опять и сказали, что обсуждали этот вопрос и что они на мои условия о полной отмене согласиться не могут. Я думаю, что тут вопрос об их престиже играл роль. Говорят, вот что мы можем сделать: мы можем издать приказ № 2, где будет указано, что те основы, которые преподаны в приказе № 1, имеют отношение только к тылу.

Потом Потапов мне рассказывал условия, в которых это обсуждалось в мое отсутствие. Оказывается, они со мной согласились и готовы были пойти на полную уступку. Кто очень горячо возражал — это Нахамкис. Вероятно, он уже и в то время был большевиком. Так что те доводы, которые я приводил, ему как раз и нужны были. [Требовался] хаос, чтобы боеспособность армии рухнула, потому что связь с немцами была. Как представитель крайних течений, он берет верх, и тогда у них была выработана эта формула «отменить по отношению к фронту, сохранить по отношению к тылу». Разумеется, меня это не удовлетворяло, потому что тыл тоже мог быть разложен, и резкой линии между фронтом и тылом не было. Так что меня эта формула не удовлетворяла, но, с другой стороны, я думал, если я это не приму, тогда остается то, что было в силе.

Базили. Удар страшный по престижу Временного правительства.

Гучков. Первый приказ подписан был ими — военного министра не было. Я оповестил Ставку о том, что мы этот приказ не признаем. Мы могли, конечно, всенародно сказать, выступить возмущенно, но в то время мы не хотели рвать с Советом Р. и С. депутатов. Я все-таки колебался, идти ли на такой компромисс или нет. Идти на такой компромисс — это значит косвенно признать право Совета Р. и С. депутатов на какое-то вмешательство в военные дела, поэтому я сделал следующее. У меня была мысль, она сейчас же осуществилась.

Я решил образовать при Военном министерстве особую комиссию, куда я предполагал давать на обсуждение все вопросы, которые бы шли снизу, хотел создать между военным министром и этой средой известное средостение. Во-первых, я выигрывал время, можно было воздействовать на эту среду успокоительно. Я вызвал генерала Поливанова и просил его взять на себя председательствование. Комиссия была образована по истечении часа-двух в небольшом составе; ряд офицеров, генералов, молодых полковников Генерального штаба по указанию Поливанова были приглашены, и первый вопрос, который был задан, — вопрос о примирительном предложении, выдвинутом контактной комиссией. Они единогласно решили, что надо выбирать меньшее зло и что нужно на это согласиться. Это произошло в следующих условиях. Был (тоже от имени раб. и солдатских депутатов) издан Приказ № 2, где было указано, что Приказ № 1 относится к тылу, и там была фраза, что это толкование принято по соглашению с военным министром. Подписи моей там не было, но это отвечало действительности.

Теперь я до сих пор не знаю, если бы можно было рвать окончательно с Советами, то, я думаю, если бы я даже пошел этим путем, меня бы мои коллеги [едва ли] поддержали. Надо было рвать с ними во время Временного правительства. Это было через два дня после объявления Временного правительства, еще положение бурное, взбудораженный гарнизон. Без той попытки, которую я делал, привести гарнизон в порядок, разрыв с Советами кончился бы анархией, хаосом и гражданской войной. Поэтому я до сих пор не знаю, правильно ли это было или нет — идти на такой компромисс.

Базили. Я помню, вы говорили, что с этим вопросом была связана судьба Временного правительства. Вы говорили: надо на эту уступку идти, а затем стараться починить все зло,

сделанное этим мерами, а против этих мер я выступить не мог, потому что сам бы не удержался.

Гучков. Приказы эти вредны не сами по себе, а как симптом и первые предвестники целой работы по разложению армии, которая пошла потом.

Базили. Вы его не вписывали? Было индоссирование или нет?

Гучков. Нет.

Базили. Вы формально руки не приложили к этому?

Гучков. Нет.

Базили. Вы только терпели ссылку на соглашение. Как он сам возник? Тут существует версия, что он был привезен в Россию.

Гучков. Потом я узнал, что он был привезен. Он происхождения кинтальского.

Базили. Циммервальд.

Гучков. Были два съезда, которые устанавливали общую стратегию выступления крайних партий, Циммервальдский и Кинтальский. Мне Милюков указывал на то, что будто бы меры к разложению армии обсуждались и приняты были там, и при таких условиях можно думать, что это произошло при германском участии.

Базили. Тут указывают на какого-то немца, который тогда приехал и сотрудничал.

Гучков. Имейте в виду — это первый же день. Так что, если кто-нибудь приехал — значит, раньше. Скорее всего, я получил убеждение, что это был готовый документ, составленный в условиях иностранных, заграничных и при участии таких, которые знали.

Базили. В Циммервальде подробно обсуждалось, как социалистические партии разных стран должны уничтожить возможность национальным армиям защищать буржуазный

строй как вообще овладеть армиями. И вот этот Приказ пошел по всей армии. Не было ли еще одного факта, что этот Приказ № 1 фактически уже прошел в армию, когда вы с этим делом столкнулись. Он был разослан, я думаю, раньше, чем вы знали о его существовании.

Гучков. Он прошел потому, что аппарат сношений с фронтом был в их руках. Вы знаете, что до конца существования первой стадии Временного правительства оно так и не могло добиться свободного права распоряжения этим телеграфом Люди сидели там от Совета Р. и С. Депутатов. Мы могли сноситься по этому телеграфу только под их контролем.

Базили. Этим приказом вводилось изменение дисциплины и образование комитетов — вот два главных тезиса.

Гучков. Началось выработкой положения о Комитете. Ставка выработала свой проект. Нам приходилось решать вопрос: вводить ли комитеты или нет, а где не было авторитета командного состава, там эти комитеты уже возникли. Вопрос шел о том, в состоянии ли мы закрыть существующие комитеты. Тогда мысль была легализировать их, но ввести в рамки солдатских экономических вопросов, резко ограничить их претензии на вмешательство в пределах быта.

Базили. Это удалось.

Гучков. Положение удалось провести, и затем там, где командный состав сумел их приручить, комитеты не всегда играли плохую роль. Лучше бы их не было, но была мысль о том, что это совершившийся факт. Оставалось только одно: прибрать их к рукам, чтобы они не были чисто революционными, по возможности обезвредить. Некоторые из командного состава пошли очень далеко. Колчак, который очень умел к себе привязать, он как раз комитетами воспользовался для этого. Путем известного давления он ввел в состав комитета своих людей, так что они были

представителями интересов матросских масс, но скорее его скрытыми агентами по внедрению успокоения и известных правил дисциплины.

Базили. Удивительное явление, что Черноморский флот был в порядке, а Балтийский в полном беспорядке.

Тучков. Это объясняется тем, что в Балтийский флот взрыв сейчас же передался, командный состав растерялся, и быстро возникли революционные эксцессы. С самого начала они вырыли известную яму. Кронштадт окопался и был самостоятельной республикой. Там были арестованы морские офицеры, мы не могли их освободить. Там было революционное гнездо, которое распространяло свою заразу повсюду. Черноморский флот был географически отдален, это дало командному составу возможность подготовиться. А затем совершенно исключительная личность адмирала Колчака: он с самого начала понял фатальность этой войны, как-то личным соприкосновением с матросскими массами внушил им доверие к себе в том смысле, что он не представитель реакционных течений, желающих повернуть назад. Он быстро признал новое положение вещей, очень охотно пошел на бытовые изменения в матросской среде и чрезвычайно быстро получил доверие матросских масс. Этим он так долго держался. Он сделал ряд других уступок второстепенного характера, не выпуская из рук основ, этим сразу вселив доверие к себе. А в Балтийском флоте был невероятный хаос. Не было никого, кто в своих руках объединил бы все: ряд убийств вывел из строя выдающихся людей, остальное было второстепенно. Были случаи большой демагогии со стороны командного состава, особенно адмиралов Максимова и Кедрова, который имел особое наблюдение за Балтийским флотом... *(Разговоры просят не заносить в стенограмму.)*

Розыски морского министра. Я лично остановился бы на Колчаке. Я Колчака высоко ценил как моряка, как администратора. С самого начала я подумал, что без гражданской

войны и контрреволюции мы не обойдемся, и в числе лиц, которые могли бы возглавить движение, мог быть Колчак. Я думал и о Гурко, об Алексееве, но меньше, а Колчак представился мне подходящей фигурой, но я боялся его взять с Черного моря потому, что первые дни он там овладел положением. Поэтому если вызвать его в Петербург, то мы потеряли бы [достигнутое там]. Тогда я посоветовался с Савичем, и мы решили с ним пойти посоветоваться с адмиралом Григоровичем, который был одним из немногих министров, еще не арестованных. Он меня не жаловал, потому что я не был сторонником его назначения. Когда ушел Воеводский, была борьба за это, мой кандидат был князь Ливен.

Так вот, мы отправились к Григоровичу, он сидел в Морском министерстве, его не трогали. Я ему объяснил положение и говорю: «Помогите мне найти самого подходящего моряка, какой только у нас есть». Помню как сейчас, он взял маленькую толстую книжку чинов морского ведомства, и мы втроем просто пошли по списку, он все браковал, особенно старших, и, в конце концов, получилось три у нас: Колчак, Кедров, молодой адмирал из капитанов I ранга, третий был адмирал Бахирев, которого я мало знал. Когда мы этот список составили, надо было выбрать одного, было колебание между Кедровым и Колчаком, и только вот это соображение, что он совладал на юге и как бы его уход оттуда не повел к развалу здесь, заставило остановиться на Кедрове. Он согласился, был вызван. Вот [что получилось], по оценке Григоровича, который знал [командный] состав, причем, надо сказать, Григорович ни Колчака, ни Кедрова не жаловал и старался быть объективным.

Вот, значит, лучший, какой только был, адмирал. Он и стал во главе Морского министерства. Я расходился только с Кедровым: он стоял за уступки, я за большой отпор. У нас было раз резкое столкновение по вопросу о погонах.

Что касается моряков, там резче была оппозиция против погон, и были случаи, когда команды целых судов сами сняли погоны. Кедров говорил, что нужно это узаконить, чтобы не было борьбы. Было решено упразднить погоны во флоте, причем Кедров ссылался на то, что в заграничных флотах допускается отсутствие погон во флоте только в особых случаях. Разошлись мы с ним в том, что он настаивал, чтобы это была общая мера, которая распространялась бы не только во флоте, но и на армию. Это была ошибка, потому что если мы на флоте не брались сохранить (если бы пытались сохранить, вызвали бы целую систему столкновений), то в армии этот вопрос не был такой острый, во всяком случае, такие требования были в тылу. Мы могли сохранить, и мы сохранили.

Базили. Есть другой вопрос чрезвычайно важный. Каким образом произошла замена Алексея Михаилом? Отдельный эпизод.

Гучков. Пока могу только сказать, у государя было принято решение, поэтому, когда я ему излагал доводы, он сказал: «Я об этом думал, я решил...» И тут же добавил: «Но я не могу расстаться с сыном и не могу отречься в пользу него, я решил отречься в пользу брата Михаила». Шульгин и я пробовали возразить, но впечатление у нас сложилось, что наши доводы не производят никакого впечатления и что, согласимся мы или нет, государь все это сделает, потому что у него решение это было окончательное.

Базили. После разговора с Боткиным...

Гучков. Это решение мне не очень понравилось, но я не учел, я не мог себе представить, чтобы Михаил мог отречься — это не входило во все комбинации, какие у меня проносились через голову. Я этого не допускал, я просто учитывал, что лучше было бы Алексея, Михаил (это было ясно) не есть настоящая царственная фигура. Ему могли

поставить в виду подчинение известным влияниям, отсутствие представительности, блеска царского. Я считал, что эта комбинация слабее, чем та, которую мы предложили, но не представлял себе, что эта комбинация могла кончиться отказом его принять корону. Мы ему дали текст, а у него был готов свой.

Вторник, 22 ноября 1932 г.

Гучков. Потапов участвовал в этой комиссии. Я очень долго и, казалось, убедительно говорил этим господам: не думайте, что армия в таком виде, как она сейчас, может сделаться орудием для переворота в смысле восстановления старого строя. Ока лояльно будет выполнять свой долг в отношении России, а ваша работа по разложению сделает армию каким-то сбродом, очень опасным. Пугал солдатской анархией, просто диким разгулом вооруженных людей, которые одинаково будут опасны и для людей старого режима и для них. По тем замечаниям, которые они делали, я увидел, что есть надежда убедить их принять мою точку зрения. Я им сказал, что я им даю подумать, посовещаться, но что мне нужен ответ. Я пошел в другую комнату, оставив их в кабинете с тем, чтобы меня пригласили. Они имели несколько сконфуженный вид, я не заметил какой-либо особой аррогантности. Они говорят, что не могут взять [назад] целиком Приказ, но соглашаются издать второй Приказ, где они соглашаются, что Приказ № 1 имеет отношение к тылу.

От Потапова я узнал, что в их среде прения были горячие; большинство убедилось моими доводами и готово было идти на отмену, но соблюдая лицо, чтобы не конфузить себя перед массами, но Стеклов очень резко возражал и, в конце концов, он своим упорством взял верх, и тогда, чтобы получить единогласие, они остановились на этом компромиссе, который

мне предложили. Компромисс этот казался мне сомнительным. С одной стороны, были как будто положительные черты — то, что они идут на уступки и отменяют только что ими сделанное. Тогда определенно можно было на фронте отстаивать еще дисциплину и не допускать Приказ № 1 как средство агитации в солдатских массах. Все это так, но, с другой стороны, то, что Приказ № 2 был по соглашению с Временным правительством, это, конечно, как будто санкционировало положение Совета Р. и С. депутатов — это я сразу учел. Я был в нерешительности, — какая сторона превалирует. С другой стороны, если не идти на соглашение, то Приказ остается, как был.

Базили. Если бы вы сказали: мы не признаем... Мог бы быть разрыв с солдатскими депутатами?

Гучков. Моим распоряжением по фронтам было указано, что это самовольный шаг. Я послал такую вещь в Ставку, и это было распространено, и Алексеев мне сообщил, что меры были приняты. Тогда я подумал передать этот вопрос на обсуждение комиссии. Я образовал комиссию реформ при Военном министерстве. Во главе стоял генерал Поливанов, входило несколько офицеров Генштаба от разных управлений, потом она пополнилась представителями с фронтов. От фронтов были посланы представители главнокомандующих. На этом совещании я не участвовал потому, что был занят другими делами, но знаю, что единогласно они пришли к заключению, что, хотя у этого компромисса есть отрицательные стороны, но лучше дать на него согласие. Тогда появился Приказ № 2, но с фразой, что это делается по соглашению с военным министром, что Приказ № 1 относится только к тылу, что он не относится к Действующей армии.

Базили. Были посланы какие-либо делегаты от Совета?

Гучков. Они несколько раз пытались послать с моего разрешения. Тут я был непреклонен. Вероятно, самовольные

поездки были. Помню, у меня было одно столкновение с кронштадтской депутацией, которая приехала по вопросу о комитетах. Приехала ко мне матросская депутация, очень настойчиво требовали разрешения, а я отказал, и поездка не состоялась. Я не слыхал, чтобы были официальные поездки делегатов от Совета Рабочих и Солдатских депутатов, не помню ни одного случая, но, вероятно, агитация шла. Как ни вреден был Приказ № 1, но, если бы мы были в силах принять ряд мер к прекращению той агитации, которая велась, можно было бы последствия довольно быстро ликвидировать. Но, к сожалению, этого нельзя было сделать: вопрос об аресте таких людей не мог быть поднят потому, что это знаменовало бы собой разрыв с Советом. Я думал, что без этого разрыва мы не обойдемся, но я хотел дать им бой тогда, когда у нас будут к этому силы. Так просто ликвидировать, арестовать их в то время, когда мы в порядке расхождения, — неизвестно, кто физически взял бы верх. Весь гарнизон был в их руках, и они могли ликвидировать все Временное правительство. Они создали бы анархию.

Базили. Мы тогда говорили, что это нежелательное явление, что нужно стараться выиграть время для укрепления власти, авось удастся ликвидировать Совет Рабочих и Солдатских депутатов.

Гучков. Был вызван после Корнилов, мне казалось, что он наиболее подходящий. Я думал о Крымове, но Крымов наотрез отказался — не хотел расставаться со своей казачьей дивизией, а потом, Крымов с некоторой иерархией считался, он был молодым генералом, так что назначение командующим войсками было бы встречено очень недружелюбно военными кругами, а так как он был очень резкий человек, у Крымова в первые же дни создалась репутация врага революции и представителя контрреволюции. Все это мешало его назначению. Когда Корнилов был приглашен, я объяснил

ему, в чем его задача, объяснил, что главная задача — создать военную опору для Временного правительства. Временное правительство было совершенно беззащитно, на воинские части расчета не было; они были настроены революционно, а те, которые настроены более спокойно, на них нельзя было рассчитывать для отпора. Так что если бы была попытка свергнуть правительство, то охотников нашлось бы много.

Корнилову была поставлена задача привести в порядок петербургский гарнизон, даны неограниченные полномочия в смысле личных назначений, и так как офицерский и высший командный состав были чрезвычайно слабы, то разрешено с фронта приглашать тех лиц, которых он найдет нужным; были отпущены неограниченные денежные кредиты, чтобы организовать пропаганду своей стороны в этом гарнизоне. Ознакомившись с состоянием гарнизона, особенно с офицерским командным составом, он говорил: если бы моей задачей было создать революционный гарнизон, я поступил бы так, как делали мои предшественники. Гарнизон почти 100 тысяч человек, а затем [еще те,] кто пришел из окрестностей, — [всего] 125 тысяч более или менее живших в праздности, потому что интенсивных задач, которые представляют из себя здоровую атмосферу, [войскам] не было [поставлено]. Невероятная скученность, нары в два-три этажа, очень слабый унтер-офицерский состав слабый надзор — поэтому пропаганда.

В офицерском составе имелись очень доблестные лица — офицеры, после фронта, ранений, болезни командированные в Петербург в свои части, они входили в состав соответственных батальонов, полков. Эти офицеры, либо больные, либо раненые, сравнительно недавно попавшие [в гарнизон], не знали людей, люди их не знали. Сам по себе это был доблестный элемент, но не имевший знаний. Имелся и совсем слабый элемент из офицеров, которые не рвались на фронт, а ограничивались должностями в тылу. При таких условиях

Корнилов говорил, что чрезвычайно слабый состав. Он мне тоже не раз говорил, что в тех частях, где происходили эксцессы, они всегда почти неизменно натыкались на то, что это происходило либо по прямой вине офицеров, либо по известному попустительству с их стороны. На фронте появилась так называемая офицерская демагогия: на подыгрывании солдатским настроениям самим попасть куда-то наверх.

Базили. Помните Верховского? Верховский играл большую роль — типичный авантюрист был.

Гучков. Он не был сторонником революции, а был профитером революции. Ему казалось, что можно не мелкий свой карьеризм [удовлетворить, а] сыграть большую роль. Ему казалось, что если он к этой революционной стихии подойдет, то сумеет ее вовремя захватить и на этой волне продвинуться.

Базили. Очень отрицательное впечатление произвел.

Гучков. Мне казалось, у него были некоторые черты вырождения, какие-то симптомы отсутствия равновесия он был способен s'emballer.

Базили. Какую он играл роль? Он был постоянным посетителем Совета Раб. и Солд. депутатов, и им там дорожили. Там они почувствовали: свой человек, и он как будто брался на них действовать. Он был в роли посредника Совета в армии; кажется, с Керенским близок.

Гучков. Я его с самого начала учел. Приходилось его терпеть. Но я не имел в виду им пользоваться для каких-либо больших работ. Точно так же там кроме него появилась группа «младотурок» — Половцев, Туманов, Туган-Барановский. Они умнее и более приличны, с более чистыми задачами, потому что я не видел, чтобы у них была личная цель. Но это роль посредников, старавшихся перебросить мост, [чтобы связать] высшее командование, правительство и требования, которые шли от традиции

страны с одной стороны, с новыми требованиями, революционными идеями, стихией — с другой стороны.

Базили. Половцев ведь был помощником?

Гучков. Должность, которую он занимал, — начальник «дикой дивизии». Должен сказать, что я ни одному из «младотурок» никакой должности и повышения им не дал.

Базили. Вы держались за старый состав, удалив только несколько лиц, которые являлись препятствием для успокоения умов.

Гучков. Я удалял тех, которые были технически непригодны. Я чувствовал, что при Военном и морском министерстве с этой необходимостью постоянных приемов очень много времени уходило на такие приходящие извне задачи и что для того, чтобы техническая сторона не страдала от этого, нужно несколько децентрализовать работу министерства. И я провел реформу в том смысле, что было назначено три помощника военного министра. Между этими тремя помощниками были распределены все главные управления, так что все текущие дела заканчивались докладами у моих помощников. Таким образом, трудность найти меня не отражалась на нормальной работе всего аппарата. Если вопрос, по мнению помощника министра, выходил из рамок его компетенции, он шел ко мне.

Маниковскому были поручены технические главные управления (артиллерийское, инженерное, интендантское). Вторым помощником был генерал Новицкий. Это назначение я сделал неудачно. Он хороший военный писатель, талантливый военный, оказавшийся вполне хорошим и на фронте в боевых действиях, но человек слабой воли, большого честолюбия и в общем немножко покладистый в убеждениях и в отношениях к людям, человек очень применявшийся к обстановке и поэтому не очень надежный. Слишком гибкий, у него были наклонности к военной демагогии:

потворством революционным течениям закрепить себя и подняться. Оставался ряд главных управлений — военно-учебная часть, военно-судная. Новицкому было подчинено все, что касается стратегии и личного состава, Главное управление Генерального штаба и Главный штаб, а третьему оставалось подчинить военно-учебные заведения и военно-судную часть. Я взял человека, которого я и нашел, — это был генерал Филатьев. Он остался начальником канцелярии. Это были три докладчика, с которыми мне приходилось иметь дело.

Базили. Заседание Временного правительства, на котором Корнилов предложил ликвидировать большевиков. Что вы по этому поводу помните? Как постепенно подходили к тому, чтобы принимать энергичные репрессивные меры против большевистской пропаганды? В результате было сделано предложение, которое провалилось.

Гучков. Корнилов попытался если не оздоровить гарнизон, то создать в нем какие-то надежные части, надежные элементы, на которые, если потребуется, можно было бы опираться даже при вооруженном столкновении. Он и я, мы были связаны обязательством Временного правительства, заключенным до образования правительства, — пактом о невыводе частей петербургского гарнизона из Петербурга. Было это сделано без меня в ту ночь, когда я был в Пскове. Когда я вернулся и Милюков мне показал, я тогда сказал, что это лишает нас всякой возможности бороться. Оно понятно: петербургский гарнизон, который считал, что он своими революционными выступлениями завоевал новый порядок, будет очень дорожить этой возможностью, будет сидеть в Петербурге, пользоваться всеми благами и держать нас в плену, а мы лишаемся права делать какие-нибудь перемены. Введение в Петербург новых частей не допускалось, вывод частей Петербургского гарнизона куда-нибудь на фронт тоже был бы

нарушением, и задача была в том, чтобы незаметно инфильтрировать здоровый элемент командного состава. Этим усиленно занялся Корнилов и кое-какого успеха достиг. Более слабые люди были устранены, крепкие назначены в более здоровые части, казачьи части, части артиллерии, училищ, потому что из-за них тоже приходилось вести борьбу.

Так вот, его задача была образовать такие отдельные части, на которые в случае чего можно было бы опереться. Все это шло очень медленно и малоуспешно. Помню те цифры, которые Корнилов называл, когда приближался на очередь вопрос о вооруженном столкновении, в момент демонстрации конца апреля, 23–24-го, когда толпы рабочих и солдат ходили по Петербургу и кричали: «Долой буржуазное правительство», «Долой Милюкова и Гучкова». Это принимало довольно грозный характер, и тогда мы с Корниловым обсуждали, какими располагаем силами, чтобы дать отпор в случае вооруженного столкновения, и пришли к заключению, что в нашем распоряжении имеется всего 3½ тысячи человек против 100 000 человек. Правда — это в одних руках, а то толпа, и, конечно, офицерство было в тех частях. Но многие из них не участвовали, а остальные были бы убиты. Так что разгромить этот революционный гарнизон такими силами мы не могли бы, но отстоять против него существование правительства или какое-нибудь здание могли.

Когда эта манифестация апрельская принимала все более грозный вид, у меня состоялось заседание Временного правительства, где я доложил положение дел и очень спокойно заявил, что за существование самого правительства можно поручиться, потому что в нашем распоряжении имеется 3½ тысячи человек вполне надежных, что мы не предполагаем самим перейти в наступление потому, что, может быть, это движение уляжется, а пролитая кровь может

вызвать волнения, но что, если будет вооруженное вторжение — мы даем вооруженный отпор. Общее молчание — только встал Коновалов. Коновалов подошел ко мне и громко говорит: «Александр Иванович, я вас предупреждаю, что первая пролитая кровь — и я ухожу в отставку». Подошел Терещенко и сказал то же самое. А я все говорил — мы не нападаем, а на нас нападают. Тут несколько десятков юнкеров, если бы я им приказал стрелять...

Я потом вспоминал, мне приходилось быть при последних вспышках спартакизма в Германии, был в одном ресторане, завтракал, недалеко от рейхстага, и услыхал трескотню ружейную и пулемет. Я и другие вышли, потом выяснилось, что толпа невооруженная шла с манифестацией к рейхстагу. Там в силу закона известный район вокруг рейхстага считается запретным, и там не допускаются никакие манифестации, и их полиция остановила, а они приказанию полиции не подчинились и пошли дальше. Но невооруженная толпа. И когда они приблизились к рейхстагу, то по распоряжению военного министра вышла довольно значительная охрана с пулеметом и открыла по этой толпе огонь. Около ста человек было убито. Толпа разбежалась. Прервалось заседание рейхстага, члены стояли у окон и смотрели на стрельбу, и, когда возобновилось заседание, Носке с кафедры заявил очень энергично, что он распорядился открыть огонь, что манифестация прекращена, и ему сделали чрезвычайно восторженную овацию немецкие социалисты.

...Я посмотрел на остальных и получил впечатление, что один человек не пошел бы в отставку — Милюков, а другие пошли бы в отставку.

Базили. Как вы объясняете психологию этих людей?

Гучков. По-разному. У меня от соприкосновения с кн. Львовым получилось впечатление, что он неисправимый непротивленец, он крепко верил, что все это стихийное само собой

уляжется, что известные добрые качества, здравый смысл заложен в русской народной массе, что он, в конце концов, возьмет верх, эксцессы связаны с бурным весенним потоком, а потом спокойно потечет. Что касается других, я не знаю, было ли у них такое миросозерцание. [И то и] другое — просто физическая трусость. Вот если бы кто другой подавил движение... но сами участвовать в этом, принимать на себя ответственность! Нет, себя они покрыли бы тем, что отреклись от Корнилова, от меня от Милюкова, от всех тех, кто либо дали бы распоряжение подавить движение, либо одобряли, санкционировали.

Я помню эту сцену, она подготовлялась, но это окончательно сломило меня: я увидал, что те задачи, которые перед нами выросли, — необходимость войны, контрреволюции, гражданской войны, — что они в сообществе с этим составом правительства невозможны. Данный состав Временного правительства не только не помог бы, но лишил бы эту власть доверия. Сейчас же это было бы понято как контрреволюция. Буржуазные элементы отреклись бы, значит, это пахнет контрреволюцией. Я не был уверен, не будет ли это опасным провокационным актом, сигналом к общему развалу.

Базили. Предположим, был бы дан отпор, и кончилось анархией. Мы могли одержать верх, если бы дали решительный бой. Это вообще был бы заговор, не скажу против существующего официально строя, но против того политического уклада, который сложился.

Гучков. Весь план мой заключался в том, чтобы ликвидировать Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Я думал, что, если бы нам удалось образовать единую, свободную, ответственную перед самой собой, а не перед другими, твердую правительственную власть, то даже при всей разрухе, которая охватывала и страну и фронт, шансы навести порядок были. Надо было какое-то очень кровавое действие, расправа

должна была быть. Вот как-то позднее мы с Милюковым вспоминали. Он говорит: «Александр Иванович, я вас в одном обвиняю, почему вы не арестовали Временное правительство?» Я мог бы арестовать их, но я не знал, как к этому отнесется страна.

Этими демонстрациями в конце апреля выяснилось: в Совете Раб. и Солдат, депутатов поняли, что захват власти для них не будет так легок, как они полагали. Поэтому через два-три дня после этого Совет обратился в правительство с требованием, чтобы права командующего войсками Петербургского округа по вызову войск были бы связаны разрешением и согласием какой-нибудь делегации от Совета. Их мысль была, чтобы некоторое количество, 2–3 человека, было бы ими делегировано в состав штаба Петербургского военного округа, чтобы всякое распоряжение главнокомандующего о вызове и употреблении войск принималось бы при контрассигнировании приказа. Я отвечал, что я на это не согласен, настаивал, чтобы от этого отказаться.

Мы отказались. Но поразительна одна черта: это то, что Корнилов, при всех своих качествах, меня уговаривал согласиться на это. Видите, такие умные люди не разбирались в этом деле, искали выходов в сторону какого-то соглашения, примирения, пытались отсрочивать момент столкновения. Это очень характерно. Он очень настаивал на том, чтобы согласиться, считая, что сумеет сговориться с лицами, которые командированы. Я был против этого, считая, что это была бы лишь капитуляция, а затем это просто материально и физически связало бы нас. Эта военная демонстрация против Временного правительства, она тогда же и произошла. Велась очень зажигательная пропаганда — это был период, когда Ленин произносил речи в доме Кшесинской, и это производило такое разлагающее влияние на армию, на войска

в Петрограде, что было тогда предположение произвести нападение. Я подробностей не помню...

Базили. Я помню, как мы поехали втроем...

Гучков. Это когда было?

Базили. За день-два до вашей отставки. Вы считали, что это последний шанс.

Гучков. У меня крепко сидела еще мысль, что до тех пор, пока мы не добьемся единого правительства, пока будет продолжаться эта двойственность (Совет Р. и С. депутатов, который посылает распоряжения по своему усмотрению), — до тех пор мы не сладим с нашими задачами, не приведем в порядок ни страну, ни армию. Мне этот вопрос о перевороте представлялся совершенно ясно.

Базили. Мысль арестовать большевиков — прежде всего, нужно было взяться за вожаков крайнего крыла. Так что это было кульминационным пунктом в вашем старании спасти Временное правительство.

Гучков. Это была последняя попытка. И когда я убедился, что как ни велики затруднения, но они преодолимы, а непреодолимо одно препятствие — в виде определенного отказа большинства Временного правительства от резких мер борьбы — тогда моя миссия кончилась. Я не отказывался вообще от работы, но мне казалось, что надо из центра перенести работу на фронт. Может быть, там несколько подготовить какие-нибудь здоровые части, с которыми можно было бы предпринять поход на Петербург для его оздоровления. Я с самого начала пришел к этой идее, которую потом неудачно развил Корнилов.

Базили. Что вы сделали после своего ухода?

Гучков. После ухода я вернулся на прежнюю должность. В соприкосновении с военным ведомством имелась возможность общаться с фронтом, ездить туда. Затем не по моей инициативе, а по инициативе Путилова образовался

негласно комитет из представителей банков и страховых обществ. Чтобы оправдать официально свое существование, он назвал себя Обществом экономического возрождения России. На самом деле задача была собрать крупные средства для того, чтобы в случае выборов в Учредительное собрание помогать выбору умеренно-буржуазных элементов, и, главным образом, работа на фронт. Вся эта финансовая работа заключалась в том, что, собрав крупные средства, мы их передали в распоряжение Корнилова. Это давало возможность мне с ним общаться. Он делал большую работу, разная пропаганда, литература, объезды офицерами и нижними чинами фронта и просто разные подарки, которые делались частям, солдатам от имени командующего армией для того, чтобы поднять его личный престиж. Это делалось за счет тех средств, которые мы ему отпускали.

За несколько дней до переворота я поехал на фронт, переворот меня застал около Риги. Оставался за меня Путилов. Приехал какой-то полковник от Корнилова, ему были вручены некоторые средства, и он их повез туда. Характерна неудача Корнилова. Я тоже убежден, что военное командование в согласии и союзе с правительством еще имело шансы захватить власть, а как только между ними образовался антагонизм, так [все] и рухнуло. Ведь Корнилов имел поддержку, а как только увидал, что поддержка изменила, он смалодушничал.

Базили. Если бы Корнилов тогда не смалодушничал, если бы он пошел и дошел, что произошло бы?

Гучков. Трудно сказать, я не уверен. Они просто остановились, один по малодушию низкого калибра, другой по некоторой нерешительности — выполню ли я эту задачу... Вдруг провал, гражданская война — и в то время, как фронт у нас. Не воспользовались бы немцы... У Корнилова были не личные соображения.

Базили. Вы помните что-либо по вопросу о выезде за границу Николая II?

Гучков. Это было совершенно без меня. Я мало был в Петербурге. Когда я возвращался, меня осведомляли.

Базили. Милюков и Керенский...

Гучков. Я помню одно — мысль о том, что надо принять очень тщательные меры для того, чтобы обеспечить безопасность царской семьи, — это нас очень занимало. Я считал, что [если предпринять] сколько-нибудь открытый их вывоз, то могут узнать какие-то воинские части, может быть попытка захвата их, это было столь грозно, что заставляло нас очень задуматься, потому что окружить царскую семью такой воинской частью, которая дала бы отпор таким попыткам, — мы не были уверены, в состоянии ли мы будем найти таких, и выезд мог быть только при условии тайны. Надо было симулировать как бы бегство царской семьи. Можно было бы организовать технически...

Базили. Следующий раз вернемся к коренному вопросу.

Понедельник, 26 декабря 1932 г.

Базили. Вы говорили, как у вас с властью наладились отношения. Ваши отношения со Столыпиным, ваша деятельность в военной комиссии Государственной думы, как в этой комиссии вы выступили против неправильного использования великих князей в рамках армии, как вы добились известных реформ в военном управлении... Государь, очевидно, ощущал в связи с этим неприятные чувства, потому что армия — его личная территория; Гучков в этом главный виновник.

Гучков. С тех пор создалась легенда насчет младотуречества. Мы остановились на периоде III Думы, и мы еще не перешагнули в IV. Один маленький эпизод: как следили, старались изловить. Канцелярию комиссии государственной

обороны мне приходилось формироваться. Я подумал, что тот состав канцелярского персонала, который мы имели в Думе, — это были молодые люди из Государственной канцелярии. Они очень хорошие, надежные, с литературными и канцелярскими качествами, но у них не было специальных технических знаний по военной части, и состав комиссии был тоже цивильный. Были среди нас военные элементы, которые давно отстали от военных дел, капитан II ранга князь Шаховской и т. д. Это все были военные, но давно ушедшие со службы. Так как нам приходилось изучать много технических вопросов, я боялся, что к наивности членов комиссии присоединится незнание дела самой канцелярией. И нам придется много «гафф»[4] наделать.

Поэтому я думал, что полезно привлечь военных канцеляристов; обратившись к начальнику Главного штаба, я просил его рекомендовать кого-нибудь. Через некоторое время я получил записку, что он рекомендует капитана Михайлова, который кончил Академию и был все время в канцелярии Куропаткина и т. д. И обременен семейством. Я его вызвал. Рекомендация была хорошая. Так вот когда уже начали обостряться отношения между комиссией и Военным министерством (со стороны государя было явно недоброжелательное отношение к комиссии, к ее работе), то я узнал, что Михайлов приставлен к комиссии, ко мне в качестве соглядатая. Он знал о существовании кружка ген. Гурко. Когда поступал к нам какой-либо законопроект, то я писал: «Пошлите столько-то экземпляров генералу Гурко», и он несколько раз говорил мне очень настойчиво: «Ведь я мог бы быть полезен и там, может быть, вы пригласите меня». Но я это отклонил. Через некоторое время я узнал, что им составлен обстоятельный донос, потом повторившийся, где говорилось

[4] Дать поводы для пересудов.

о создании в армии такого кружка, который должен подготовлять антимонархические течения, а может быть и действия, в самой армии.

Затем я узнал, что этого Михайлова приглашают к себе крайние правые, что он вошел в переговоры с Марковым 2-м и Пуришкевичем, а затем произошел следующий эпизод. Я не хотел из этого, что называется, делать историю, но вышло так, что Михайлов оказался как канцелярист никуда не годным, плохо писал доклады, был ленив и хамски груб со своими подчиненными. Помню эпизоды его хамского отношения. Я его вызвал (в то время я был председателем Гос. думы) и говорю: «Имейте в виду, что вы у нас больше не будете. Вы ленивы, неаккуратны, ваши доклады очень неудовлетворительны. Я не желаю портить вашу карьеру, поэтому я вас не удаляю своей властью, а только предупреждаю, что даю такой срок. Найдите себе какие-нибудь занятия, но вы не должны остаться». Из этого разыгралась целая история, потому что он побежал к Маркову и к Пуришкевичу. Но я был непреклонен.

Вдруг приезжает ко мне один из высших чинов Главного управления Генерального штаба из разведывательного отделения и говорит мне: «У вас служит капитан Михайлов?» Как выясняется, он под подозрением, что он разные секретные сведения, которые получает у нас, продает одной иностранной державе. «Есть у вас какие доказательства?» — «Доказательств нет, но он у нас сильно под подозрением». Это усилило мою решимость, и я его еще раз вызвал и сказал: «С завтрашнего дня я вас увольняю в отпуск». Одна подробность меня успокаивала, что когда он поступил на службу к нам, то произошло некоторое междуцарствие, он из Главного штаба еще не был отчислен и у нас не был зачислен — так не получал жалованья. Он пришел как-то ко мне

и просил, чтобы я ему помог. Я ему дал несколько сот рублей. Меня успокаивала мысль, что он мне не отдавал. Будь он шпион — он бы отдал.

Затем началась война, и я обслуживал в Красном Кресте 2-ю армию Самсонова. Приезжаю в штаб, мне командующий армией Смирнов говорит: «К нам назначен новый офицер, некто капитан Михайлов. Ссылается на то, что он был в Государственной думе и что вы его знаете» — «Знаю, но вот с какой стороны». Смирнов говорит: «Я ему предложил туда, а он отказывается и говорит: "Нет, я бы не хотел в оперативную часть"». Это характерно: какая шла работа по созданию атмосферы недоверия. К Сухомлинову он тоже бегал. Когда приходится объяснять, как у государя отношение менялось, я должен сказать, что шла упорная работа. И пользовались такими лицами как Михайлов.

Базили. В распутинщине какую вы заняли роль?

Гучков. В числе лиц, которые сменяли друг друга в звании придворных мистиков, были другие, затем появился Распутин. Конечно, это было неприятно, потому что это компрометировало верховную власть, но я не отдавал себе отчета, насколько это явление из области мистики, из области личной жизни перескакивало в области общественную, политическую и т. д. Более опасной фигурой являлся тогда в этой области Илиодор, у которого шла борьба с самим правительством Столыпина. Столыпин старался его отстранить подальше от престола. Это была все спекуляция на больных сторонах царской души. В мои последние встречи со Столыпиным за несколько дней до его убийства на Елагином острове, он мне говорил с глубокой грустью о том, как такие явления расшатывают и дискредитируют, во-первых, местную правительственную власть, а затем эта тень падет и на верховную власть. Говорил, что все это очень гнило, но что он одного только ждет, что это, может быть, на корню сгниет.

Что такое Распутин, какую он роль играл, об этом теперь можно говорить потому, что это относится к покойнику. Мне раскрыл глаза Кривошеин. Когда после убийства Столыпина я с ним говорил на тему о роли Столыпина и о возможной для него будущности, если бы он не был убит, он мне сказал, что Столыпин был политически конченый человек, искали только формы, как его ликвидировать. Думали о наместничестве на Кавказе, в Восточной Сибири, искали формы для почетного устранения; еще не дошли до мысли уволить в Государственный совет, но решение в душе состоялось — расстаться с ним. Кривошеин рассказывал: «Я Столыпину не раз говорил: “Вы сильный, талантливый человек вы многое можете сделать, но только, я вас предостерегаю, не боритесь с Распутиным и с его приятелями на этом вы сломитесь”», а он это делал — и вот результат. Я думал, Столыпин — громадная сила, а тут сильнее.

Строй новый был слабеньким строем, корни не глубоко пущены я готов был этому новому строю очень много грехов простить, лишь бы мало-помалу его выправить. Поэтому нарушения закона надо было пресекать, но я относился снисходительно, считая, что это входит в процесс воспитания. Когда мне картина представилась, что мы стараемся оградить конституционный строй, а что рядом с ним оказывается, вот какие... Тогда я немножко внимательнее отнесся к этому явлению. Выяснилось, между прочим, что вмешательство Распутина в дела церковные имело скандальные формы, и В. Львов, который был председателем комиссии по церковным делам, горячо принимал это к сердцу.

Иерархи относились к нему очень хорошо. Он мне сказал, что высшие иерархи в отчаянии, они заламывают руки, когда рассказывают о наглом вмешательстве Распутина в церковные дела. Я один эпизод расскажу. Это было позднее, в самые последние месяцы 1916 года. Я встречался с Белецким,

бывшим директором Департамента полиции. Он еще был на должности, но в немилости. Он говорил мне: это верование в церковных делах, в смысле личного состава, в Распутина, было беспредельно. Все делалось с его одобрения, согласия, по его требованию. Только нужно сказать, что не все назначения, которые были проведены через Распутина, были плохи. Затем Макаров. С ним я виделся, и он говорил мне: «Да, Распутин, верно. Но это чисто личные, семейные вопросы мистики царской семьи. Я вмешательства Распутина в государственную жизнь не чувствую». Ирония этой беседы заключалась в том, что Макаров должен был уйти по интригам Распутина.

Я не раз беседовал на эту тему с Коковцовым. Я так говорил. Может быть, мы не выросли в народ с конституционным правосознанием, особенно народные массы, они царя почитают как самодержца, помазанника Божия, все это так. Но вот в чем ужас, что если в один прекрасный день массы узнают, что помазанника нет, а что за его спиной находится их же человек из народных масс, но недостойный, какой-то хлыст, конокрад, развратник, то это удар по ореолу народного престижа. Будь это граф, князь, народ не обиделся бы, а когда свой человек... Словом, я пытался, во-первых, узнать, а во-вторых, действовать, не прибегая к огласке, как думский трибун, потому что я отлично понимал, что разоблачения все эти наносят такие раны, что не знаешь, что лучше — болезнь или лечение...

Базили. То, что не видел Милюков...

Гучков. Что такое за явление сам по себе Распутин. Одна дама, баронесса Икскюль Варвара Ивановна, она всем интересовалась. Это явление должно было пройти через ее салон. Она мне говорила: «Хотите встретиться?» Я говорил: «Нет, не хочу». — «Почему?» Потому что знал, какое Распутин

из этой встречи сделает употребление. Он любит распространять, что тот или другой у него заискивает. Но в то же время я хотел иметь объективную оценку, что это за явление. Очевидно, он не просто штукарь, в нем что-то есть, есть, очевидно, какое-то родство с каким-нибудь нашим сектантским течением. Меня интересовало, можно ли его зачислить в класс сектантских течений или он одиночка, сам по себе. Как быть? Я подумал, хорошо было бы свести с Распутиным какого-нибудь большого знатока нашей сектантской жизни, чтобы тот дал свою объективную оценку.

У нас было очень мало исследователей сектантской жизни, но в литературе целый ряд томов был очень интересен. Это было собрание их обычаев, молитв, песнопений, составленное Бонч-Бруевичем. Тогда я его вызвал и говорю ему: вот такое явление в нашей жизни — Распутин. Очень интересно было бы, если вы с научной стороны обследуете. Если вы заинтересуетесь этим, я могу дать вам возможность с ним встречаться, а так как по вашей литературе я нахожу, что вы сумеете с этими людьми говорить, то вы можете его обследовать, а затем поделитесь вашими впечатлениями со мной. Я просил баронессу Икскюль, чтобы она пригласила их вместе. Сперва они встречались у баронессы, затем более интимно.

Через несколько недель Бонч-Бруевич мне пишет, что для него ясно. Конечно, его просто зачислить в какую-нибудь определенную секту нельзя, он одиночка, но у него есть родство с хлыстовщиной, духоборством. Ему просто была дана задача: [изучить] не влияния Распутина, а его психологию, так что не скажу, чтобы это его обследование пролило яркий свет на все явление. Он пришел к заключению, что это не только проходимец, который надел на себя маску сектанта, а сектант, в котором было известное проходимство. Потом,

когда я ознакомился с личностью Бонч-Бруевича и с его ролью во время [правления] большевиков, я стал задумываться, был ли он искренен в своей беседе со мной, не пришел ли он к тому убеждению, что это явление полезно для них, спекулировавших на разложении старой власти.

Базили. Я никогда не видел Распутина, но в своем исследовании наткнулся на три характеристики его. Одни видят в нем авантюриста, использованного кучкой людей. Другие считают, что это проходимец, но что этот проходимец был искренним носителем какой-то народной мистики. Третьи находят несомненные признаки гипнотического влияния. Это объяснение мирится с обоими предшествующими. Давыдов говорит, что раз встретил Распутина, и ему лично пришлось самые большие усилия над собой произвести, чтобы не подчиниться его влиянию. Распутин особенно желал на него воздействовать, обворожить, и он говорит, что пришлось до самого конца завтрака усиленно бороться, чтобы сохранить свою нервную силу.

Гучков. Несомненно, что в нем были какие-то флюиды. Я потом заподозрил, не было ли тут политических видов; в той борьбе, которую я предпринял с этим новым влиянием, я нескольких думских левых не имел на моей стороне. Они смотрели так, как будто я с ветряными мельницами борюсь, и даже был один думский эпизод, который мне напомнил один человек — Гегечкори. Я имел еще беседу с Коковцовым, он мне говорил, между прочим, что государь интересовался его, Коковцова, мнением о Распутине. Идя навстречу и подчиняясь желанию государя, Коковцов виделся с Распутиным и, когда государь спросил его мнение, Коковцов сказал: «Я вначале моей карьеры служил по Главному тюремному управлению. Так вот таких людей я по каторгам и по тюрьмам видал». Это не отразилось на его карьере, но и не повлияло на государя.

Я видел, что нормальными путями — чтобы близкие употребили усилия — этого [воздействия на Николая II] не было. Оставалось одно. Мы не имели тех прав, которые имели западноевропейские парламенты; там по любому делу могут поставить правительству вопрос. Мы могли предъявить запрос в том случае, если было нарушение закона. И вдруг происходит такая вещь. В Москве был кружок светских богословов, как в свое время у Хомякова Преемником их с славянофильским течением был кружок возглавляемый Новоселовым. Это были сыны православной церкви, сторонники церковного собора. Они, конечно ближе меня стояли к церковным делам, интимно были связаны с высшим духовенством, и то, что до меня доходило, они освещали. Наконец терпение лопнуло, они приняли какую-то резолюцию, и затем эта резолюция была изложена в виде статьи, подписанной Новоселовым, в газете «Голос Москвы» которую я основал. Я самой статьи раньше не видел; она была скорбного характера. Имя не было названо, но прямо констатировалось наличие каких-то темных влияний.

Московский генерал-губернатор Гершельман эту газету приостановил в виде кары на 7 дней. В тот же день, когда я получил известие из Москвы о закрытии газеты, собрал фракцию и осведомил ее о положении дела и получил согласие и подпись. Прежде чем предъявить это, я имел беседу с одним из членов нашей фракции — М. В. Родзянко. Я ему рассказал все это. Родзянко был очень взволнован и говорил: «Я вам не советую делать» — и произнес одно слово, которое я чувствовал: «c'est l'affaire du colliet la reine»[5].

Затем у меня вышла дуэль с Уваровым, и так как я не хотел создавать прецедента, то, когда кончилась сессия у нас, я подал в отставку и уведомил прокурора, чтобы он приводил

[5] «Это дело об ожерелье королевы» *(фр.).*

в исполнение. Тогда меня заключили в Петропавловскую крепость, а осенью, когда второй раз собралась Дума, то меня второй раз выбрали. (Второй раз я ушел вследствие столкновения со Столыпиным из-за западного земства.)

Я произнес очень сдержанную речь, только говорил о том, что власть не свободна, что есть какие-то влияния, а в самом запросе было указано на распоряжение Гершельмана, имя Распутина упомянуто не было, но ясно было...

Базили. Ни в статье, ни в запросе?

Гучков. Нет. Я только говорил о темных влияниях. Тут произошел эпизод. Я был очень взволнован, потому что я придавал этим темным влияниям большое значение в смысле роковой роли, которую это сыграет в истории династии и всей России, и я помню, что раздался выкрик Гегечкори: «Вот вы нас пугаете, а мы не боимся». Он потом мне здесь сказал, что они, левые, не сочувствовали этой кампании потому, что она могла привести к преждевременной ликвидации этой болезни, а болезнь была нужна. И тогда он припомнил, что я ему ответил, я сказал: «Да, я понимаю, что вас это не пугает, потому что то, что вызывает в нас страх, вызывает в вас радость». Вот тут, на этом, я считаю, произошел окончательный разрыв, окончательно потеряли ко мне всякое доброе чувство, а мне даже передавали, что государыня сказала: «Гучкова мало повесить». Это было в 1910 г., начало царствования Коковцова. Я помню что, когда Кривошеин мне сказал, я ответил, что, если бы мне кто-либо по поручению государыни сказал, что моя жизнь принадлежит государю, а совесть мне принадлежит... но это и осталось несказанным. Этот запрос я пытался в дальнейшем использовать.

По положению о Государственной думе и по нашему Наказу, прохождение запросов было следующее. Представлялся запрос, причем первому подписавшему его предоставлялся очень короткий промежуток времени для того,

чтобы осуществить этот запрос. Затем Дума голосовала относительно передачи запроса в комиссию по запросам. Либо, если интерпеллянт настаивал, признавалась за запросом спешность; тогда дело должно было быть назначено в одно из ближайших заседаний. Я вопроса о спешности не поставил, поэтому прений никаких не было. Затем я отправился опять к Коковцову. Говорю вот что: «Я понимаю, ваше положение было затруднительным раньше, но теперь, когда инициатива Думы, вы можете [настаивать перед государем]. Имейте в виду, что если вам удастся ликвидировать это до того, как это будет поставлено на повестку, или я получу надежду, что дело имеет направление в сторону ликвидации, то я откажусь от запроса. Пользуясь этим, попробуйте что-нибудь сделать». Ничего не вышло. Запрос не был поставлен.

Базили. Вы говорили с Коковцовым на эту тему?

Гучков. Да. Не хочет рисковать и надежды не имеет. Вот как это было. Можно еще маленький эпизод рассказать. Через два дня после моего выступления я получил записку от Распутина — две-три строчки, очень ругательные. Я это передал одной из моих племянниц. А [самого] Распутина я никогда в глаза не видел. Два эпизода заслуживают некоторого внимания. Война уже [шла]. В правительстве Хвостов — министр внутренних дел, бывший когда-то лидером крайних правых. Как вы знаете, продержался он недолго и тогда, во время войны, ушел. Были сведения, что он попал через Распутина. Он был человек, может быть, не брезгливый в своих приемах, но у него была Россия на первом плане и служение России. Когда он достиг власти, когда, будучи у власти, убедился, до какой степени Распутин опасен для всего нашего строя, он пытался его ликвидировать хотел убить его. Белецкий его предал, раскрыв тот заговор, который пытался организовать Хвостов против Распутина.

Так вот, с Хвостовым мы по Государственной думе были знакомы, но так как мы были противники личные, у нас были холодные отношения. Затем война. На Кавказе в Кисловодске мы встретились, и он мне рассказал два эпизода. Он губернатор в Нижнем. Еще Столыпин — министр внутренних дел. Получает он телеграмму, подписанную Сазоновым. Не министром, а однофамильцем, писателем по экономическим вопросам. Так вот, получает телеграмму от этого Сазонова: «Будете ли вы в ближайшее время в Нижнем, одному человеку очень нужно вас повидать». Тот ответил, что «да». Тогда через несколько дней является к нему Распутин и говорит: «Приехал посмотреть на тебя, какой ты есть... Вот часто о тебе идут разговоры у нас там с папашей и мамашей». Потом говорит ему: «Хочешь быть министром внутренних дел?» Хвостову очень хотелось быть министром. Он говорит: «Как же министром внутренних дел, ведь у нас же есть министр?» Тот говорит: «Сегодня есть Столыпин, а завтра его нет». Тогда Хвостов продолжает отказываться: «Да нет, я человек горячий, я не гожусь. Ведь если что не по мне, я в мешок и в воду». Эта фраза была неосторожна потому, что Распутин задумался. Предчувствие у него было. Он задумался, говорит: «Вот ты каков. Ну-ка дай мне телеграфный бланк». Хвостов пошел в соседнюю комнату. Распутин сел и каракулями написал в адрес государыни: «Видел. Молод. Горяч, подождать надо. Григорий». Не делая из этого секрета, он передает этот бланк Хвостову. Хвостов говорит: «Я снял копию, а подлинник сберег».

Затем дальше, у источника, Хвостов тут же мне рассказывает. Он окружил Распутина слежкой и через Департамент полиции получил несомненные доказательства, что Распутин является орудием в руках немецкого шпионажа.

Базили. Это было во время войны?

Гучков. Во время войны. Я просил очень тщательно в этом разобраться, и у меня создалось целое досье. Воспользовавшись одним из своих докладов у государя, я изложил все. Государь был очень взволнован, затем встал из-за стола, подошел к окну, смотрел в сад, барабанил нервно по стеклу. Тогда я пошел за ним и говорю: «Ваше императорское величество. Это последний момент, прикажите это сделать, это необходимо теперь же сделать». (Потому что, если дать государю время обдумать, да еще посоветоваться, то кончено. Поэтому вырвать согласие сейчас.) Тогда государь страдальческим тоном говорит: «Ах, оставьте это, сейчас великий пост, дайте этому кончиться, и тогда мы вернемся. Отсрочку какую-то». Тогда я понял, что все погибло. Кончено не только дело борьбы, но и я конченый человек, и через некоторое время я получил отставку.

Эпизод, рассказанный мне жандармским офицером. Я его помню еще по Нижегородской губернии маленьким мальчиком. Потом оказалось, что он офицер, потом жандарм, и затем он был в Министерстве внутренних дел для слежки за Распутиным (это был Штевен). Эпизод, который он мне рассказал. Приезжает к Распутину Манус и говорит: «Узнай одну вещь, очень важную, потому что я могу либо много потерять, либо много нажить. Мне предлагают в одной пограничной полосе купить большие лесные площади. Теперь, если мы будем наступать, тогда это стоит, а если мы отойдем, ничего не стоит. Вот узнай как-нибудь это». Через некоторое время Распутин Манусу докладывает, что он имел беседу на эту тему с государыней. Государь говорит: разве может быть какая-нибудь речь о наступлении, наша армия так утомлена. Речь шла о наступлении.

Базили. Я думаю, что Манус самый подозрительный. Кто могли быть посредники между немцами и Распутиным?

Гучков. Об этом много знает Палеолог.

Базили. Палеолог мне это, вероятно, даст. Есть человек, который должен об этом много знать, — Спиридович.

Гучков. Он умный человек. У нас с ним была история из-за убийства Столыпина. Он просил разрешения вызвать меня на дуэль. Это войдет в следующий рассказ: смерть Столыпина. Собственно, о Распутине все.

Базили. Вы Пуришкевича хорошо знали?

Гучков. Один эпизод... Председатель Думы — я. Идет финляндский закон. Милюков произносит речь. Я сочувствовал этому закону, он очень близко подходит к такой грани, где председателю надо быть очень внимательным, потому, что одним из аргументов той стороны было нарушение слова, данного российским самодержцем. Тут был этот элемент, об этом нельзя было запретить говорить, но надо, чтобы форма не была резкая. Пуришкевич сидит на правой стороне. Чувствуется, что тот волнуется. Тогда Пуришкевич, чувствуя, что я его единомышленник в этом случае, говорит мне: «А. И., я хочу обложить Милюкова. На сколько заседаний вы меня исключите?» Он обложит так, что не исключить нельзя, но так как в прениях он желает участвовать, то надо было, чтобы на короткий срок. Я ему говорю: «На максимальный срок — на 10 заседаний». Он спустился вниз, сел на свое место и терпеливо выслушал речь Милюкова. А если бы были надежды, он запустил бы грубую брань. Знаете, есть люди, которые торгуют на своем темпераменте! Он был большим моим врагом. Личный элемент у него был очень силен. Все внешнее его очень радовало, но я все-таки скажу, что у него Россия была [на первом месте].

Базили. Он был патриот. Он был человеком, которого деньгами нельзя было купить, но лестью сколько угодно.

Гучков. У него были искренние порывы. Я не скажу, чтобы у него, как у меня, было чувство, что государство в совокупности

всех сословий, всех классов всего населения на первом плане было. В этом отношении он отдалялся от Маркова 2-го, у которого была [на уме] число классовая дворянская Россия и этому дворянству должен был быть подчинен и офицер. Затхлая, старая, отжившая Россия. Есть еще эпизод сухомлиновский. Сюда же относится дело Мясоедова. Сухомлинов из Киева был переведен в Петербург начальником Главного управления Генерального штаба, и ясно было, что он готовился в заместители военного министра Редигера. О нем я имел мало представления. Хвалили его как человека умного, знающего военное дело, но Коковцов, который был беспощаден в своих отзывах о людях, раскрыл мне иного Сухомлинова.

Он мне говорил: легкомысленный человек — ничего у него не выйдет! У нас [с Редигером] были все время близкие отношения как руководителей военного ведомства, потому что мы действовали все время сообща с ним. Но я и с Сухомлиновым стал видаться в его кабинете в Генеральном штабе, и он как-то изложил мне весь план тех реформ, которые он предполагает провести, план очень широкий. Уничтожение крепостных частей, резервных батальонов, унификация состава армии и еще целый ряд реформ, вопросы улучшения технических условий, увеличения запасов.

Изложение своей программы он закончил тем, что сказал, что когда все меры будут проведены, тогда он подойдет к вопросу о личном составе, потому что он [не] удовлетворен личным составом и системой, которая практиковалась, но он тогда сказал, что это вопрос очень трудный, щекотливый и опасный, и у меня получилось впечатление — значит, у тебя ничего не выйдет.

У нас самая слабая сторона была плохой подбор наверху то, что не было выработано системы, школы, такой, как у немцев, когда заставляют проходить через целый ряд

экзаменов. У нас если человек добросовестный, талантливый то ему никто не мешал, но [и если] человек средний — его не воспитывали. Я понял, что ничего не выйдет, потому что с этого следовало начать. Имелся опыт японской войны. Японцы не подавляли нас совершенством своей техники: у нас была тяжелая артиллерия, пулеметов было больше, чем у них. На этот раз было не так, как в Севастополе, более или менее техническая часть была одинакова. Но личный состав...

Я получил впечатление — ничего у него не выйдет, потому что он боится. Мужества не хватит, он перед серьезными вопросами остановится. Тем не менее попытка с ним работать была самая добросовестная, и только тогда я и мои ближайшие друзья по комиссии обороны (Звегинцев Савич) убедились, что не только эти щекотливые и опасные вопросы отсрочены до греческих календ, но и остальные вопросы, технические, идут вялым темпом без твердо выработанного и проведенного плана; что не обращается внимания на развитие отечественной военной промышленности, а идут старыми путями заказов за границей, которые имеют ту хорошую сторону, что могут быстро дать нужный предмет, но зато не обеспечат в дальнейшем. Я помню, как Марков и крайние правые подозревали меня как человека, принадлежащего к торгово-промышленному классу. Они не понимали государственного значения [ее развития]. Я думал, что это средство борьбы со мной, такая нотка была. Шло все это рутинными путями. Кружок Гурко это понимал, и вопросы мобилизации военной промышленности — это там тоже имелось, были предметом наших обсуждений. Может быть, не всю энергию, как надо было, мы проявили тут, потому что нас пугали: если вы пойдете этим путем, то все надолго отсрочится. Словом, увидали, что дело не идет.

Все наши обращения к военному министру ни к чему не приводили. Нас возмущало Главное артиллерийское

управление. Я пришел в полное отчаяние настолько, что мы сделали одну маленькую демонстрацию после двух-трех лет опыта. Когда мы увидали, что ничего не выходит, то я взял на себя в комиссии обороны доклад по артиллерийской части. Я составил сильный доклад и предложил комиссии обороны принять такое заключение: в числе резолюций общего характера по артиллерийской смете была резолюция признать, что деятельность Главного артиллерийского управления представляет опасность для государственной обороны. Представьте — что может быть сильнее этого? Они должны быть на страже, а они представляют опасность. Моя аргументация была такова, что в комиссии обороны это было принято единогласно, так же это прошло в комиссии бюджетной и в Государственной думе. Артиллеристы были этим очень обижены, но из этого ничего не вышло.

Мы пришли в отчаяние от безрезультатности нашей работы. Тогда у нас в том маленьком кружке, который нес на себе работу по обороне (Звегинцев, Савич, я, князь Барятинский, Крупенский Павел Николаевич), созрела вот какая мысль: устроить демонстрацию публичного сложения своих полномочий в качестве членов комиссии. И мотивировать это: мы шли навстречу, но мы больше не можем нести ответственности и уходим из состава комиссии государственной обороны. Я очень жалею, что мы этого не сделали, нас удержало такое соображение, что, может быть, те, против кого мы хотели манифестировать, будут очень рады, что мы ушли. Мы были по этим вопросам наиболее подходящими лицами, знали более, чем те, которые пришли бы нам на смену. В Государственной думе нельзя было требовать специальных знаний по целому ряду вопросов. Мы только учились, смены для нас не было. Словом, если было плохо, то без нас, может быть, еще хуже будет.

Относительно подготовки войны все министры с нами были согласны, все приходили в отчаяние. Не раз я говорил

с Сазоновым; ему надо было знать степень нашей обороноспособности, и его держали в курсе этого дела, Тимашева также.

Когда я был председателем, то не раз приходилось говорить на военную тему с государем. Он терпеливо выслушивал, думал, что я счеты свожу с Сухомлиновым, а Сухомлинов говорил: «Гучков, должно быть, под меня подкапывается, потому что я лояльный, преданный вам». Я просто приходил в отчаяние. А между тем в нашем маленьком кружке думали, что 1915 г. будет годом, когда «к расчету стройся». У меня было к этому больше данных, потому, что я ездил за границу, бывал в Вене, Берлине. В Берлине я был в очень хороших отношениях с Михельсоном и Занкевичем; в Вене они давали мне сведения, с каким упорством австрийское и германское военные ведомства подготовлялись к сроку 1914/15 г., и я знал об их техническом превосходстве в смысле подготовки путей сообщения, железнодорожных линий, станций разгрузки платформ, я видел, как идет там работа, и рядом с этим...

Еще один эпизод. В конце сессии я объезжал министров, от которых мы ждали крупных вопросов на ближайшей сессии. Я тогда наказывал членам Думы, чтобы они к тому или другому вопросу подготовлялись. Большинство докладчиков было от нас. В конце какой-то сессии я подъехал к Рухлову — мы ему содействовали, он мог на нас опираться, потому что, если кредит испрашивался, ему гарантировали; он был хороший министр, он был хозяином. Говорю: «Теперь благодаря Государственной думе, благодаря вам железнодорожное хозяйство приведено в порядок. Потому что мы застали железнодорожное хозяйство дефицитным и теперь — усилиями законодательных учреждений и правительства — оно дает излишек доходов. По-моему, наступило время, чтобы вы этот излишек употребили на подготовку нашего железнодорожного транспорта для военных целей. Нужно

исполнить все те требования, которые к вам предъявляет военное ведомство». Он сделал пустые глаза: «Какие требования? Они нам никаких требований не предъявляют». А в это время вырабатывается программа! Все, что имело отношение к игре в солдатики, [проводилось], а серьезные вещи, как расширение сети подъездных путей увеличение станций, подвижного состава, — это все рассматривалось как второстепенное. Меня такое отчаяние взяло!

Самые благоприятные условия были. Казначейский вопрос хорошо решался, со стороны законодательных учреждений было не только согласие авансам, мы шли на все, комбинация была исключительно выгодная. Имелась возможность при талантливом человеке нашу оборону поставить на такую высоту, на какой она никогда не была. Я не знал, как быть с этим, и вдруг происходит следующий эпизод. Военное ведомство вносит в Думу в очень спешном порядке, с просьбой ускорить [представление] об ассигновании нескольких миллионов рублей на секретные нужды. Сам законопроект был очень общий, глухой, как это и полагается. А порядок рассмотрения подобных докладов был таков, что председатель комиссии по обороне и докладчик комиссии по этим вопросам имели отдельный разговор с ведомствами. Ведомство указывало, давало расчеты, как оправдать ту или иную сумму, а докладчик заявлял, что он находит ассигнование необходимым. Так как комиссия обороны была очень авторитетной, потому что туда входили видные представители центра и правых партий, то бюджетная комиссия, опираясь на авторитет комиссии обороны, принимала ее заключения на веру: хотя там бывали и левые и им отвечали на вопросы, было ясно, что три четверти голосов было «за». При пленарном рассмотрении была та же комбинация. Там и этот доклад прошел чрезвычайно легко и быстро.

Я уже не был председателем Думы, но просто ведомство меня ознакомило. Это были кредиты на увеличение шпионажа и контршпионажа, что у нас было поставлено скверно раньше. Это все прошло.

В один прекрасный день приезжает ко мне полковник Боткин В. С. (брат лейб-медика) Он забулдыга, офицер драгунского полка, неплохой человек, но пьяница душа нараспашку, несуразный человек, неудачник. Сухомлинов желая иметь около царя человека, расположенного к нему взял его к себе для поручений Очевидно, для того, чтобы через [его брата] Евгения действовать. Этот Боткин приезжает ко мне и говорит: «Ты знаешь, что ты наделал? Это ассигнование — ты знаешь, куда оно идет? На организацию политического сыска в армии» Наблюдение за политическими течениями в армии всегда производилось, но только оно не было организованным, оно шло через штабы корпусов, военных округов, поступало в Военное министерство тоже по Главному штабу. Все это было недостаточно оформлено. Пришли к заключению, что нужно создать специальный орган, иметь штаб-офицеров в штабах округов, которые концентрировали бы сведения, и создать и при военном министре такой центр. Это государственная необходимость, это меня нисколько не шокировало.

А Боткин мне говорит, что предполагается для этой цели пригласить жандармских офицеров: они будут сидеть по округам и возглавлять политический сыск. Это уже хуже, жандармы — офицеры второго сорта. Знаешь, [сказал Боткин,] кого прочат во главе всего этого дела? Полковника Мясоедова.

Мясоедов — пограничный офицер в Вержболове с хорошими связями в Петербурге. Услужливый, ловкий человек, пользующийся тем, что вся наша знать проезжает через эту

станцию, всегда оказывал ей услуги, завел связи, его положение было отличное. Он часто наезжал в Германию и подпал под подозрение, что продает какие-то сведения немцам. Такие подозрения не были ничем подкреплены, поэтому прибегать к каким-нибудь воздействиям не считали возможным.

Но тут помогло одно обстоятельство. Его накрыли на одном серьезном проступке. Оказалось, что в автомобиле, на котором он проезжал границу, было двойное дно. И при одном его возвращении из Германии была очень ценная контрабанда. Значит, пограничный офицер, попавшийся на контрабанде. Его удалили из жандармов. Он был в отставке, затем на каких-то водах он встречается с Сухомлиновым и его женой, жены познакомились. Он ловкий человек, умеет втираться [в доверие]. Знакомство продолжалось в Петербурге. Сухомлинову показалось, что эго талантливый человек, и, когда явилась мысль о создании такого органа, было решено назначить Мясоедова. Не так легко было вернуть его на службу, и когда Сухомлинов предложил, чтобы вернули Мясоедова на службу, то Макаров, который был порядочный человек, заинтересовался, честный ли Мясоедов человек, и, получив такую справку, наотрез отказался вернуть. Тогда Сухомлинов государю об этом деле доложил, скрыв эту часть. Государь требует, чтобы это было сделано. У Макарова не хватило мужества, и он подчинился. И таким путем против воли министра внутренних дел вернувшись на службу, [Мясоедов] командируется, чтобы возглавить орган, который будет держать в своих руках судьбы русского офицерства.

Это все Боткин говорит. Я подумал, что, если критики деятельности военного министра мы не добьемся, можно на скандале свернуть ему шею. Тем временем еду я в Киев. Там было открытие памятника Столыпину. Это III Дума 1911 года. Я был в добрых отношениях с Ивановым,

все по японской войне. Мой брат покойный у него в корпусе был. Я по Красному Кресту знал его. Я зашел к нему в Киеве. Он мне говорит: «Вы знаете, наша киевская контрразведка напала на ужасающие вещи. Нам удается иногда перехватывать донесения, которые идут из Петербурга в Вену, мы их фотографируем и посылаем дальше. Вот из этих донесений выясняется, что все, что происходит в ближайшем окружении военного министра, вплоть до его разговоров с государем, все известно австрийскому Генеральному штабу». А в это время Мясоедов уже сидит [на своем месте]. Вот тогда Иванов мне говорит: «Является ли передатчиком таких сведений Мясоедов — я не знаю. У меня доказательств нет».

Я думаю опять: надо это использовать. Везу эти сведения к Коковцову. Я ему только не назвал Иванова. Просто говорю, «из достоверных источников». Тогда Коковцов мне говорит: «А. И., это все равно, но вы не знаете худшего». Я спрашиваю: «Что же худшее?» — «Глава австрийского шпионажа здесь, в Петербурге, Альтшиллер — интимный друг военного министра, бывает у него запросто». Меня удивил глава правительства, который не по сплетням, а по донесениям полиции все знает — и так спокоен. Альтшиллер — представитель одной немецкой фирмы сельскохозяйственных машин, его резиденция раньше была в Киеве. Эта специальность для шпионского дела имеет ту выгодную сторону, что имеется многочисленный штат агентов, которые в силу своей профессии должны разъезжать по стране. Целая агентурная сеть. Он близок был с Сухомлиновым еще в Киеве, а когда Сухомлинов приезжал в Петербург, и тот приезжал за ним. Мне даже говорили, где-то была его контора.

Были такие лица, которые брали на себя проведение того или другого дела через министерство, и я напал на характерный случай, который раскрыл всю механику. Какой-то русский человек имел в Порт-Артуре дом до войны, затем

дом был реквизирован, разрушен; создался повод для претензии к Военкому министерству, чтобы получить вознаграждение. Он долго обивал пороги. Тогда ему указали на Альтшиллера, проводят в кабинет; в нем портрет Сухомлинова; обстановка свидетельствует об их близости. Он излагает Альтшиллеру дело на словах, секретарь записывает. А затем Альтшиллер говорит: «Вот мои условия. Я берусь выхлопотать вам». Три профессии: представитель фирмы сельскохозяйственных машин, присяжный ходатай при Военном министерстве и представитель австрийского шпионажа! В смысле сельскохозяйственного прогресса мы шагнули вперед. Интерес к сельскохозяйственным машинам уже был, в то же время наша промышленность страшно отстала, поэтому этот аппетит надо было удовлетворять.

Я был в добрых отношениях с некоторыми военными, причем с большими. Они указывали на непорядки. Я хорошо знал положение Варшавского военного округа. Так вот, получаю я по почте пакет при письме анонимном, и там документ — копия с секретного распоряжения канцелярии Главного штаба штабам округов — такого содержания: «Предполагается создать особую организацию наблюдения за политическими явлениями. Будут вам присылаться сведения о благонадежности подведомственных вам офицеров. Вы Должны при аттестациях принимать во внимание, но вы не должны ни проверять их, ни показывать заинтересованным лицам». Картина такая мне представилась. Начальство данного офицера получает из Петербурга справку о своем офицере. Начальство знает его давно, справка же составлена неизвестно кем, но если она неблагоприятна, я не смею проверить; эта справка имеется и в высших инстанциях. Подлинный ли был приказ? Я не был уверен. По внешнему виду как будто да. Что мне было делать?

Я тогда думаю, как бы устроить, чтобы довести до обсуждения в Думе. Запрос тут возможен, но дело в том, откуда сведения у меня. Я боялся, что могут набрести на след Иванова. Мне пришла мысль такая, если можно было бы просто факел, головешку горящую в прессу [ткнуть], а затем в порядке прений можно было бы раскрыть [существо дела]. Я вызываю к себе Бориса Суворина, который был редактором «Вечернего времени», но не все ему говорю. Он патриот был. Я говорю: «Вот что мне надо. Неблагополучно у нас в разведке. Мне хочется по этому поводу поставить вопрос на обсуждение в Государственной думе. Вы должны мне дать повод. Вот в каких пределах вы можете пустить разоблачение». А редакцию чтобы он составил сам. Было сказано так: «Неблагополучно в нашей разведке и контрразведке, какие-то военные тайны просачиваются...», а затем, не называя Мясоедова, было указано, что это совпало [с тем, что появился некий] человек, который [ранее служил] в органах близких и был устранен [оттуда] в свое время. Это мне давало [право] сказать: «Газета пишет... Объяснитесь...»

Приняло это, однако, немного другое направление. Эта бомба разорвалась, неожиданно произвела скандал, и вдруг я узнаю, что Мясоедов встретил Бориса Суворина на скачках, имел там с ним объяснение и потребовал, чтобы тот извинился, а когда Суворин отказался, тот его ударил. Мне было неприятно, что я подвел Суворина. Я тогда вызываю к себе корреспондента «Нового времени» Ксюнина и диктую ему интервью со мной, как будто он пришел ко мне и спрашивает, насколько верны те сведения. Я вполне подтверждаю, что все это правильно, и жду событий. Тогда уже не к нему, а ко мне должны предъявляться претензии. А затем я пишу письмо председателю комиссии государственной обороны князю Шаховскому, чтобы он в закрытом заседании комиссии дал мне возможность объясниться.

Шаховской был очень расположен ко мне и тоже разделял мнение о полной гнилости верхов военного ведомства. Он уведомил военного министра, что получил письмо от меня. Вот состоялось такое закрытое заседание. Пришел Сухомлинов, пришел начальник канцелярии Военного министерства — Янушкевич и затем третий — Ю. Н. Данилов, потому что у него как раз разведка была. Вот там, в заседании, я выкладываю весь свой обвинительный материал в тех пределах, в каких я могу это делать, не компрометируя и не скрывая своих источников, но обвинение против Мясоедова я ставлю уже определенно. В строю было, таким образом, известно, что многие военные тайны, вплоть до того, что совершается в окружении военного министра, [становятся] известны нашему противнику. Это совпадает с появлением около центра военного ведомства такой фигуры. Далее справка, что он из жандармов был удален, что министр отказывался его вернуть; говорю об Альтшиллере. На это военный министр отвечает, что нет ни слова правды, что все это фантастика. Он не отрицает, что Мясоедов состоит при нем, но не для той миссии, которую я ему приписываю, а одним из офицеров для поручений. Вероятно, так и было, вероятно, он и числился офицером для поручений. Сухомлинов не отрицал этого, но не подтвердил, а выходило, что определенной миссии [у Мясоедова] нет, а ему даются поручения: отвезти какой-нибудь пакет — совсем его на второстепенную роль сводит.

Я продолжаю настаивать на разоблаченных мною фактах. Затем я говорю следующее: говорят, вот вы организовали в русской армии политический сыск. Это в тот момент, когда в другой, дружеской нам армии этот политический сыск был уничтожен. Это совпало со скандалом здесь. Там отменили, здесь вводится. Было одно государство, одна армия, где политический сыск был доведен до виртуозности, — армия

Абдул-Гамида. Вы знаете, что из этого вышло. И дальше я говорю о русском офицерстве. Я считаю, что в 1905 г. в Маньчжурии после наших неудач оно спасло Россию от общего погрома, потому что деморализованная, демобилизованная армия, возвращаясь оттуда, была больна насквозь. Если бы в то время русское офицерство сколько-нибудь дрогнуло — Бог знает, что бы из этого произошло.

Это самое русское офицерство с его заслугами, [говорю я,] вы подчиняете человеку, который был признан неподходящим даже для службы в корпусе жандармов. Какую же власть вы даете этому человеку над офицерами? Цитирую приказ. Бесконтрольное распоряжение. Он дает справку, и тогда все насмарку; эта справка — она сильнее всего остального. Я кончил словами: «Если вы, ваше высокопревосходительство, думаете, что этим путем пресекают революционные течения в офицерстве, — получится наоборот, потому что когда офицер почувствует, в чьих руках находится его судьба, то вы поймете, какие создадутся настроения». Когда я указал на этот циркуляр, он сказал, что такого циркуляра не существует. Я тогда кучу циркуляров передаю ему. Он посмотрел, увидал, что лгать дальше нельзя, и говорит: «Да, но этот циркуляр не применяется». — «Я слишком высокого мнения о дисциплине в вашем ведомстве и думаю, что, если циркуляр исходит от Главного штаба, он не может не применяться». — «Тогда я обещаю, что он не будет применен с такой быстротой». Его растерянности не было предела.

На этом кончилось. Никто не участвовал. Все сидели и с тревогой следили за этим [диалогом]. Я помню, у меня к крайним правым было некоторое нерасположение, но на этот раз, казалось, навстречу трагедиям идем. Когда кончилось заседание, я подошел к Маркову, говорю ему: «Имейте в виду, что то, что я говорил, — правда, но я не вправе указать

источников. Это все поведет к большим несчастьям. Я хочу верить, что наше политическое с вами расхождение не поведет к тому, что вы разойдетесь со мной». Моя ставка была тогда [на то, что], может быть, правые, если бы они поняли эту опасную игру, они бы возвысили голос, может быть, это произвело бы впечатление на верховную власть. Сухомлинова они не любили, но считали, что очередная опасность не он, а я. Киевские сведения, что он не чистый человек, Бог знает с кем знается, у них были. Под защиту не брали, но участвовать вместе со мной не хотелось.

5 января 1933 г.

Гучков. В первые же дни после революции я почувствовал, как быстро стал разлагаться аппарат управления и самого центрального военного ведомства и командования на фронте. Воля руководящих людей уже стала преломляться, не доходила до конца, потому что надламывалась. Вот эпизод. Через несколько дней после вступления моего в правительство начальником одного из главных управлений, а именно военно-инженерного и военно-технического, стал генерал Шварц, комендант Ивангорода, потом Трапезунда. Я его с японской войны знал, очень высоко ценил, поэтому, так как у нас военно-техническое управление хромало, я его вызвал и назначил начальником Главного инженерного управления. Он всю войну пробыл вблизи фронта, знал и ощущал все потребности фронта. Он всегда считался несколько либеральным генералом, склонен был критиковать государственные порядки. Он не был на очень высоком счету у прежнего военного начальства, но, так как он человек с большими заслугами, он делал свою военную карьеру.

Через несколько дней после того, как министерство создалось, он приходит ко мне и говорит: «А. И., я считаю

долгом вас поставить в известность. Вчера вечером состоялось заседание ваших помощников и начальников главных управлений». (Я вместо одного назначил трех помощников. Мне хотелось создать такой аппарат, который действовал бы без перебоев даже в мое отсутствие. Поэтому я создал трех помощников — генералов Маниковского, Новицкого и Филатьева. Маниковский взял все ведомства снабжения; Новицкий, который был назначен начальником Генерального штаба, взял вопросы стратегические и личный состав, Главное управление Генерального штаба и Главный штаб, а все остальное — военно-судебное, военно-учебное, военно-санитарное — было подчинено генералу Филатьеву; он же остался во главе канцелярии Военного министерства. При таких условиях начальники главных управлений докладывали не мне, только самые важные дела докладывались мне.) Шварц мне говорит: «Ваши помощники, обсуждая положение, пришли к заключению, что судьба таких промежуточных образований, как Временное правительство, не прочна; нужно смотреть вперед: социалисты будут больше накладывать руку. Поэтому было сделано предложение записаться официально в партию с.-р., т. е., другими словами, заранее капитулировать». Это было встречено сочувственно, так как у них была мысль этим купить доверие Совета рабочих и солдатских депутатов, будущих хозяев положения — солдатских масс. Но это означало бы отказ от сопротивления всем тем требованиям, которые предъявлялись. Против этого усиленно возражал Шварц.

Базили. Кто выдвинул такое предложение?

Гучков. Один из помощников. Только Шварц возражал. Главное его возражение — кто же вам поверит? Это люди, которые делали карьеру при царском правительстве. Меня это потрясло, подумал, на что же опираться? Еще солдаты

не разложились, а генералы разложились. Вот другой эпизод с тем же Шварцем. У нас была мысль установить известный обмен персонала. Военные инженеры, сидевшие всю войну в главных управлениях, — пожалуйте на фронт, а люди с фронта переводились в центральное управление. Вот такой порядок мы с ним установили, и он должен был заявить в своем ведомстве, что этот порядок вводится. Тем временем успели самовольно создаться в этих главноуправлениях комитеты служащих. Комитеты эти были не только из рассыльных, туда входили высшие чины данного главноуправления. В частности, во главе персонала военно-инженерного были, как сейчас помню, генералы, генерал-лейтенанты, был тайный советник, какой-то высокий чин инженерный. Они выбраны были. В то время еще лица больших положений, больших чинов не были подорваны. Еще не решались выбрать кого-нибудь, а выбирали свое собственное начальство. Я даже думал, что если бы это начальство сохранило самообладание, то могли бы этими демократическими благами выборные комитеты очень помочь.

Так вот Шварц мне рассказал, что когда он поставил [персонал] в известность, что вводится порядок обмена, они взбунтовались и заявили, что они против этого возражают и угрожают приостановкой деятельности Главного управления — не хотели на фронт. И кто же? Не писаря бунтуют — тайные советники вот эти выборные. Шварц говорит — помогите мне. Я тогда еще старался действовать мягким способом, боялся: им ничего не стоило поднять все ведомство. Я их вызвал к себе в кабинет, очень благожелательно с ними говорил, указал на важность этой реформы и поставил твердое условие: жду, чтобы они оказали содействие и сделали бы эти меры приемлемыми для чинов их ведомства. В противном случае мне придется поступить очень круто. В то время

эти круги не так обнаглели, как теперь. Они не так сразу подчинились моему требованию, но не очень резко возражали, и кончилось все en queue de poisson[6]. Тут не важно, добился ли я введения этого порядка или нет, но важно, что эти люди не понимали серьезности положения.

Вот еще один эпизод, он мельче, но доказывает лучше разложение. Я сейчас боюсь сказать, кто был вместо Новицкого, временно замещал должность начальника Главного управления Генерального штаба. Какой-то всплыл очень важный вопрос по этому ведомству, и мы с ним решили, что нужно сейчас же издать циркулярный приказ, очень спешный. Сцена происходила у меня в кабинете. Мы с ним набросали текст приказа, и я говорю ему: «Распорядитесь, чтобы это сейчас было напечатано и разослано». Он сконфузился и говорит: «Нельзя. Да ведь пять часов». — «Ну так что же?» — «Да ведь мы ввели 6-часовой рабочий день. Еще писаря в штабе есть, но офицеров уже никого нет». Главное управление Генерального штаба — война идет! Демократические требования [эти офицеры] применяли прежде всего к себе, вместо того чтобы писарям показать пример характера, выдержки. Это был крайний трагизм. Я чувствовал, что все слякотно, все расползалось.

Базили. И расползался ответственный класс, вот что ужасно.

Гучков. Если бы этого не было, Россия дала бы отпор большевикам, вот что ужасно. Есть два эпизода. Первые же дни настроили на очень минорный тон. Приезжают два офицера с Западного фронта, где был Эверт. Я их знал, потому они зашли ко мне очень смущенные. Они мне рассказали такой эпизод. (Это в Минске происходит.) Первые же дни революции, но уже государь отрекся; идет митинг

---

[6] Ничем *(фр.)*.

в каком-то большом правительственном здании. В этом зале герб Российской империи. Солдатами заполнен весь зал. Эверт на эстраде произносит речь, уверяет, что был всегда другом народа, сторонником революции. Затем осуждали царский режим, и когда эта опьяненная толпа полезла за гербом, сорвала его и стала топтать ногами и рубить шашками, то Эверт на виду у всех аплодировал этому.

Другой эпизод — с Брусиловым в Бердичеве, где его застала смена власти. Он умел говорить с солдатами и внушать к себе доверие. Там тоже проходила большая уличная демонстрация, и так как он очень быстро проявил себя сторонником нового строя, то он в этой демонстрации участвует: его на кресле в этой революционной толпе несут по улицам, окруженного красными флагами и даже под красным балдахином. Тоже он распростирается на брюхе перед этой толпой. Толпа еще меньшинство, остальные еще не разложились, а на верху... Это самое, конечно, трагическое.

Эверт и Брусилов подчинялись нам — центру, а адмирал Максимов стал на сторону матросни. Сразу большое влияние среди матросов приобрел. Мы с Кедровым боялись с ним расправиться, потому что он известные меры соблюдал; в то время если бы мы его уволили, тогда мы опасались, что он поведет Балтийский флот на борьбу с Временным правительством, а так как мы на петербургский гарнизон рассчитывать не могли, то появление эскадры могло кончиться тем, чем кончилось при большевиках.

Припоминаю общий вывод, к которому пришел Корнилов после долгой возни с петербургским гарнизоном. Перед уходом он мне говорил: «Во всех воинских частях, где быстро и глубоко пошло разложение, надо искать причины в командном составе, и это в большинстве случаев не слабость, а революционный карьеризм».

Базили. Это люди типа Верховского.

Гучков. Гниение везде с головы пошло.

Базили. Декларация прав солдата, которую А. И. отказался подписать, а Керенский подписал.

Гучков. Я почувствовал, что из Совета солдатских депутатов будет приходить требование о демократизации. Я решил тогда создать некоторый буфер, который бы смягчил удар этих требований, направленный в центральное управление. Во-первых, я хотел время выиграть, во-вторых, мне казалось, что требовался не простой отказ, а некоторое рассмотрение, и тогда я пришел к заключению, что нужно создать комиссию, которую я поручил генералу Поливанову. Сперва комиссия образовалась в маленьком составе — Поливанов и пять-шесть человек полковников. Она называлась комиссией генерала Поливанова. Все эти требования я хотел передать, чтобы они в очищенном виде доходили до меня. Затем, не помню, Поливанов ли или я, пришли к выводу, что нужно эту комиссию несколько расширить, и тогда было издано особое положение, в силу которого все главные управления военного ведомства посылали в нее своих делегатов. Это были не выборные люди, а лица, назначенные начальниками главных управлений и командующими армиями, собрание человек в сорок-пятьдесят, все генералы, полковники. Вот через них все эти вопросы должны были проходить.

Главный вопрос — взаимоотношения солдат и офицеров — и все вопросы, касающиеся реформ. Я ни одного вопроса не брал на себя, не проведя через них. Это сослужило мне известную службу в качестве некоторого предварительного похоронного бюро. В половине апреля проводится съезд в гор. Минске. Там командующим армией был Гурко Василий Иосифович. Съезд фронтовой: военного министра не запрашивали, а с разрешения командующего Западным фронтом. Гурко просил и меня приехать туда. Я там пробыл очень

недолго — для того, чтобы обратиться к участникам съезда и разные здоровые идеи поддержать. Я очень дорожил тем, чтобы поддержать личный авторитет вождей, в частности Гурко. Я говорил о его заслугах, как до войны он носился с проектом реформ. Я постарался показать его в хороших красках, потом уехал. Дальнейшее происходило без меня.

Оказалось; что потом на этом съезде рассматривался один документ (не помню откуда) под названием «Декларация прав солдата». В этой декларации говорилось о том, что вне службы — полная свобода, равенство и никаких стеснений, и о неотдании чести офицерам. Декларация заходила дальше, чем Приказ № 1. Дальнейший ход был таков, что он был направлен в Совет солдатских депутатов и оттуда попал ко мне с резолюцией фронтового съезда, очевидно, для того, чтобы Совет взял на себя дальнейшее толкование этих вопросов через разные инстанции. Я когда посмотрел, [понял, что это,] конечно, недопустимо, не могло быть и речи о каких-нибудь компромиссах. Тем не менее я решил провести его через комиссию генерала Поливанова. Каждый раз, когда было заседание, мы с ним виделись, он рано утром приходил ко мне и докладывал. Вот я его по этому вопросу вызвал и говорю: «Вот вам Декларация прав и просьба, во-первых, чтобы вы не очень торопились». Я еще рассчитывал, что первые весенние воды бурлящие спадут, тогда легче будет ее похоронить. О существе мы даже не говорили. Ясно, что она совершенно непригодна.

Прошло, однако, очень недолгое время. Утром он приходит немножко сконфуженный и говорит: «А. И., под давлением разных кругов пришлось поставить вопрос на обсуждение. Принят с поправками». — «С поправками и как принят?» — «Единогласно...» Я говорю: «Это совершенно недопустимо, и я вас прошу пересмотреть». Это был настолько невозможный документ, что агитации я никакой не предпринимал,

потому что считал, что это само собой разумеется. Говорю: «Это недопустимо, надо пересмотреть... Мне пришло в голову. Я создам новые обстоятельства, и вы вынуждены будете вновь пересмотреть этот вопрос. Я пошлю этот вопрос на заключение командующим фронтами, будет отзыв их и тогда повод пересмотреть». В тот же день были посланы телеграммы. Затем через несколько дней стали поступать ответы, совершенно отрицательные в самых резких выражениях.

Я боюсь сейчас перепутать, как будто был один отзыв, который что-то допускал, что есть какая-то возможность, как это потом переработать. Но подавляющий был отзыв резко отрицательный. Я вызываю Поливанова, передаю ему все это, но уже не доверяю ему. На всякий случай говорю: «Постарайтесь провалить, а если вам не удастся — постарайтесь, чтобы было меньшинство, с которым я мог бы согласиться, потому что иначе в какое положение вы меня ставите. Я статский с репутацией революционного прошлого. Революцией поднят на этот пост. Вы — военные специалисты — слуги старого режима. Как это будет использовано! Документ полезный, полковники, генералы [одобрили, а] Гучков против. Я только прошу одно — добейтесь меньшинства. Нужно, чтобы один, два имели мужество...» Через два-три дня приходит ко мне: «Я вынужден был пересмотреть и принять». — «Как принять?» — «Принять единогласно». Это учитывают все люди, которые сядут на мое место. Они шли дальше, левее...

Я очень любил Поливанова, находил, что он очень умный, знающий, что он очень много пользы принес в свое время. Просто у него не было гражданского мужества, чувства долга. В этом отношении я в нем ошибался. Он не пригоден к этой роли. Я его очень любил, а тут сказал, что освобождаю его от дальнейшего председательствования в комиссии, назначу нового председателя, которого попрошу этот документ пересмотреть. Но тут я сделал ошибку в смысле выбора.

Я торопился. Вопросы, которые рассматривались в этой комиссии, шли по Главному штабу. Поэтому я подумал назначить во главе комиссии помощника военного министра, который ведает Главным штабом, Новицкого. Вызываю Новицкого. Рассказываю ему весь этот эпизод, почему я освободил Поливанова. Говорю ему: «Прошу вас взять [на себя] председательствование в этой комиссии». Он меня спросил: «А как, собственно, эта комиссия называется?» И я почувствовал, что ему очень хотелось бы, чтобы эта комиссия не осталась без названия. Потому что она называлась комиссией генерала Поливанова и становилась известной в широких кругах; ему, видимо, хотелось, чтобы комиссия называлась комиссией генерала Новицкого, потому что ему казалось, что он будет очень идти в духе требований.

Это все были «бонапарты». Я знаю, что он человек передовых взглядов был в прошлом, но главным образом просто карьерист. Я не предполагал, что он до такой степени будет ставить ставку, что мы конченые люди. И когда я ему рассказал, что сменен Поливанов, и говорю: рассмотрите, даю те же инструкции — если не удастся провалить, добейтесь меньшинства. Прошло несколько дней, приходит Новицкий и говорит: «Принято». Принято без изменений, и принято единогласно. Тогда я ему сказал: «Но я вам заявляю — никогда моей подписи не будет под этим документом». И стал уже обдумывать, не расстаться ли с ним вообще. Это был конец апреля. Мне приходило в голову, не пора ли самому уходить. Я предчувствовал, что будет Керенский. Так что я оставил в покое Новицкого. Только сказал ему, что моей подписи не будет.

Несколько дней проходит. Затем ночью сижу и подписываю какие-то бумаги. [Тут же] один из моих секретарей, Шильдер, мы вдвоем только. Он приходит ко мне поздно и говорит: «Вот пришли из Совета рабочих и солдатских

депутатов к вам...» — «Что такое им нужно?» — «По поводу Декларации». Они, значит, узнали, что произошло, и что я отказал. Я с ними был сух, а тут меня взвинтило еще. Говорю: «Скажите, что я их не приму». Он возвращается и говорит: «Они говорят, что не уйдут. Так и будут сидеть, пока их не примут». Я вспылил, говорю: «Ладно, зовите». Пришли двое. Один из них офицер, другой прапорщик, третий инженер-механик флота. Так они скорее вежливо, не самоуверенно себя держали. «Вот, г. министр, мы пришли к вам справиться, когда же, наконец, вы утвердите Декларацию прав». — «Никогда». — «Но, позвольте, эта декларация три раза проходила через комиссию единогласно. Там все люди компетентные, как же вы не утвердите?» Я говорю: «А я вам заявляю, что я этого документа утверждать не буду. Пускай моя рука отсохнет, но никогда моей подписи под этим документом не будет».

Тогда они в повышенном тоне говорят: «Очень жаль, но имейте в виду, господин министр, что, в крайнем случае, можно обойтись и без вашей подписи. Вспомните: Приказ № 1 подписал Чхеидзе. И тогда получится такая картина, что Совет рабочих и солдатских депутатов подписал, а военный министр нет, и вот — к исполнению. Не началась бы на фронте борьба между командным составом и солдатскими массами». Тем не менее я сказал: «Никогда моей подписи не будет под этим документом». — «Посмотрим». Ушли. Они этой угрозы не выполнили. Я думаю, что, если бы дело затянулось, они это сделали бы, но это были последние дни моего существования [в Министерстве]. Через несколько дней я написал письмо Львову и ушел. На мое место вступил Керенский.

Керенский окружил себя младотурками, молодыми полковниками Генерального штаба, которые делали определенную демагогически-революционную карьеру. Они сейчас же

доложили ему об этом документе. Керенский утвердил, и я должен сказать, что не могу поставить это ему в вину, потому что его положение было хуже моего. Он сын этой революции. Генералы и полковники сказали «да», а он скажет «нет»? Я думаю, что он тоже должен бы сказать «нет», но ему было труднее; с его стороны это был бы акт политического самоубийства. Игра этих кругов в поддавки — это желание себя выгородить: в случае борьбы мы можем ссылаться, что мы были с вами. Я помню, что я [не] пошел туда для того, чтобы подчеркнуть мое отрицательное отношение к этому документу. Прения были без меня. Голосование без меня.

Базили. Как ваш уход состоялся?

Гучков. Все было очень плохо, и по моему ведомству это разложение было особенно трагичным, и все указывало, над чем мы стоим, какое крушение ждет страну и армию. Не потому, что у меня больше чувствительности, а потому, что больше к этому котлу прикасался, ощущал больше. Милюков более толстокожий, и впечатления дня у него были иные, чем у меня. Эта объективная обстановка влияла на то, что я очень пессимистически смотрел, а он сохранял веру в то, что это может утрястись. Меня все тревожило, но что особенно угнетало — это то, что я чувствовал себя совершенно одиноким в составе самого правительства. Я чувствовал, что если бы дать бой, на чем-нибудь настоять, разойтись с моими коллегами (конечно, по какому-нибудь очень серьезному поводу), то в этой группе я мог бы рассчитывать на одного только Милюкова; может быть — если бы это был яркий, красочный пункт — на Шингарева. Но если бы это соприкасалось с какими-нибудь репрессиями, то и Шингарев не мог бы. В кого я верил — это Милюков, и больше никто. Опираться на Временное правительство тоже нельзя. На что же опираться?

Уход от власти для меня не означал отказа от борьбы. Я только думал, что карта на центральное правительство

бита. У меня была мысль — нельзя ли искать оздоровления с фронта. Там еще были здоровые элементы. Мне казалось, что если я уйду, и затем как представитель Военно-промышленного комитета буду общаться с фронтом, то можно было бы тех или иных лиц как-то втянуть и затем подготовить то, что потом Корнилов не так удачно сделал, т. е. поход на Москву и Петербург. Затем [случилось] какое-то обострение у нас под влиянием очень категорического тона, который принял Милюков в отношении проливов. Вокруг этого тогда очень закипело. Это был хороший предлог, это было поводом, чтобы поднять травлю. Я был сторонником [приобретения] проливов, только я стоял за то, чтобы не давать повода поднимать бучу. Поэтому я не поддерживал резко категорическую позицию Милюкова в отношении проливов.

Но этим воспользовались его противники и вовне и внутри правительства, и произошла такая сцена. Милюков вместе с Шингаревым поехали на фронт. Шингарев по вопросам продовольственным, Милюков — не знаю. В их отсутствие поздно вечером на квартире князя Львова неожиданно собрали заседание Временного правительства. Керенский и Терещенко взяли на себя инициативу и самым резким образом напали на этот пункт о проливах и на всю роль Милюкова в составе Временного правительства. Я его поддерживал, и больше никто. Остальные молчали либо критиковали Милюкова, его политику, и вопрос о проливах не встретил ни в ком поддержки. Особенно резко нападал Терещенко, и кончилось тем, что была высказана мысль, что нужно расстаться с Милюковым. Правда, он во главе большой общественной группы. Нельзя просто его выбросить. Но, может быть, дать ему какое-нибудь другое ведомство. И так как совершенно не стеснялись и не дорожили Мануйловым, то в его присутствии было сказано,

что Милюкову можно было бы дать Министерство народного просвещения, но решение расстаться с ним по Министерству иностранных дел, было всеми поддержано.

Базили. Львов что говорил?

Гучков. Львов не нападал и не возражал, держался как будто нейтрально, но этому сочувствовал. Все, что могло обострить отношения Временного правительства с революционной стихией, было не по нем, он верил, что это может утрястись, что все это весенние воды.

Тогда в том же вечернем заседании были разговоры об усилении в нашей среде социалистических элементов, о том, что нужно близко с ними сплотиться. В тот момент я увидел, что Временное правительство шло в объятия демагогии, и окончательно пришел к заключению, что единственный выход — окончательно оборвать всякое примиренчество и дать бой, вплоть до резких мер. Тогда я вернулся домой и написал письмо Львову. Я ему пишу, что дальше не могу принимать участия [в правительстве], не могу разделять ответственность в том работе по разложению страны, какая сейчас творится и какая не встречает никакого противодействия во Временном правительстве, и прошу считать меня уволенным от своего поста. Затем для того, чтобы отрезать всякие попытки убеждать меня, сделать попытки невозможными с их стороны, я помню, что ночью я послал это письмо Львову и точную копию этого письма в редакцию «Нового времени» с просьбой напечатать. Утром мое письмо появилось в печати.

Тем не менее попытку вернуть меня сделал Терещенко, который питал какие-то надежды на меня. Он приехал ко мне и убеждал, чтобы я взял отказ назад, что он думает, что для меня тяжело военное ведомство, и убеждал меня взять Министерство иностранных дел. Но оно было только производным из других. Если мы не могли привести страну в порядок,

никакого смысла не было, и я от этого отказался. За несколько дней до моего ухода был съезд в Петербурге, и я там выступил с речью, очень предостерегающей против всего этого развала, и туда пришел Керенский, который в это время пытался [меня] сохранить. Он свой революционный авторитет ставил на службу целям войны, целям поддержания армии. Он не мог меры принять, но слова он произносил разумные. Когда мы с этого съезда ехали вместе, он меня уговаривал: «Останьтесь, я готов идти в помощники военного министра». (Чтобы я мог сосредоточиться на технических вопросах.) Но это меня не устраивало. Я помню, как Керенский подымается со своего места, обходит стол и говорит: «Когда же уберут эту старую калошу, князя Львова...»

По поводу давления, которое Контактная комиссия из Совета рабочих и солдатских депутатов хотела оказать... *(Разговоры просят не писать.)*

Отрывок

Гучков. С вокзала я поехал на Миллионную, не заезжая домой, потому что на вокзале мне начальник станции сказал: «Родзянко поручил передать, чтобы вы не оглашали Манифеста об отречении и сразу ехали на квартиру великого князя». На вокзале мы задержались с Шульгиным. Дома жена беспокоится, не знает, что со мной. Поэтому, когда кончилась беседа с Михаилом, я спросил адъютанта, где у вас телефон, и пошел к телефону, чтобы сказать жене, что скоро вернусь домой. Снимаю трубку. Смотрю — Керенский сзади меня стоит. «Вы что?» А он таким заносчивым тоном говорит со мной: «А я хотел знать, с кем вы будете говорить». У него была мысль, не таим ли мы какой-нибудь план, нельзя ли вызвать какую-нибудь воинскую часть, захватить Михаила, отречение устранить. Набокову и Нольде было поручено... Он категорически сказал, что при таких условиях он престола

принять не может. У Керенского было с самого начала подозрение, не таим ли мы какие-нибудь планы заговорщические, чтобы сохранить монархию. Он пошел подслушивать, а я ему говорю: «Нет, я хочу говорить со своей семьей...»

Четверг, 30 марта 1933 г.

Гучков. Последний раз я видел П. А. Столыпина за несколько дней до его поездки в Киев. Я только что вернулся из своего путешествия по Дальнему Востоку, где ознакомился с ходом постройки Амурской железной дороги и по поручению Главного управления Красного Креста принял участие в организации борьбы с чумой в пределах русских концессий в Маньчжурии. Узнав о моем возвращении в Петербург, П. А. пригласил меня к себе обедать. Свидание происходило в его летнем помещении на Елагином острове. После обеда мы с ним гуляли в саду.

Я нашел его очень сумрачным. У меня получилось впечатление, что он все более и более убеждается в своем бессилии. Какие-то другие силы берут верх. С горечью говорил он о том, как в эпизоде борьбы Илиодора с саратовским губернатором Илиодор одержал верх и как престиж власти в губернии потерпел урон. Такие ноты были очень большой редкостью в беседах П. А. Чувствовалась такая безнадежность в его тоне, что, видимо, он уже решил, что уйдет от власти. Через несколько дней пришла весть о покушении на него в Киеве. Я послал ему иконку, которую он получил, когда был в сознании. Меня что-то задержало в Петербурге, и я по приезде в Киев уже застал Столыпина в гробу.

Генерал-губернатор киевский Ф. Ф. Трепов рассказал мне, при какой обстановке протекали вообще все празднества и был убит П. А. Столыпин. Дело охраны было изъято из рук местных властей и передано в руки центральной власти,

охраной руководил Курлов, товарищ министра, затем видную роль играли полковник Спиридович, ротмистр Кулябко и Веригин. По наблюдениям Трепова, охрана не брала на себя ограждение личности Столыпина, а только государя и царской семьи, так что, когда надо было кольцом агентов выделить, то Столыпин находился вне охраны. Хотя Трепов не сказал мне определенными словами, но, как я понял из общего его рассказа, он разделяет мои подозрения, что, если охранка не организовала самого покушения, то во всяком случае не препятствовала ему. Еще больше укрепилось во мне это подозрение, когда сенатор Трусевич, которому было поручено расследование дела убийства Столыпина, заехал ко мне на квартиру и ознакомил меня тоже со своим общим впечатлением.

Базили. Вы были тогда председатель Думы?

Гучков. Нет. Я как раз перед этим отказался. Западное земство было в Государственном совете искажено. Тогда Столыпин подал в отставку. Государь не принял. Тогда была распущена Дума. Это было так против моей оценки положения, что я сейчас же получил указ о роспуске. Закон о западном земстве был законом либеральным. Впервые инородцы приобщались к российской жизни. Там [поскольку] было засилье польского элемента в отношении русского, вводилась, в отличие от русского земства, куриальная система. Поляки выбирают промеж себя, русские из своей среды. Вот против этого вооружились наши левые, потому что это противоречило общему принципу демократическому о равенстве всех и о территориальных формах избрания, они никаких курий не признавали. Но все-таки большинство у нас нашлось.

Когда это попало в Государственный совет, то там правое крыло было вообще не расположено к этому закону,

но так как они не решились бороться с принципом, потому что принцип был одобрен государем, поэтому они старались исказить, сделать этот закон неприемлемым, они ввели эту поправку, они отвергли куриальную систему. Государственный совет отверг куриальную систему для того, чтобы торпедировать весь закон. Все правое крыло этим воспользовалось для того, чтобы исказить закон. Если бы это было случайное большинство, исходило бы от левых, от центра! Но когда совершенно открыто руководство этой кампанией повели Трепов и Дурново — члены Государственного совета по назначению, мне стало ясно, что эти люди были приняты государем в отдельной аудиенции.

Тогда Столыпин, решив, что при таких условиях не может остаться, вручил прошение. Государь был расстроен всем этим, просил остаться и согласился на все те условия, которые поставил Столыпин. Условия были неправильны с начала до конца. Была расправа с членами Государственного совета. Члены Государственного совета были вечными, но каждое 1 января из всего состава членов Государственного совета назначались к присутствию такие-то по назначению. Государь обещал, что он их к 1 января исключит, а пока было им приказано взять отпуск и до конца года не присутствовать. Такая кара по отношению к ним должна быть очень сурова.

И другое условие Столыпин поставил для того, чтобы свою победу очень ярко охарактеризовать. Он получил разрешение государя на три дня отсрочить заседание Государственной думы, и тогда правительство получило право действовать на основании 87-й статьи. Одновременно распустили Думу [и Совет] и издали закон в том виде, как он пришел в Государственную думу... против Государственного совета. Столыпин не учел того впечатления, которое должно было составиться у нас и вообще в общественном

мнении. Здесь как будто цель хорошая — либеральный закон, спасти от интриганов, но создавался прецедент в борьбе с законодательными учреждениями. Это было недостойно, могло сделаться [стандартным] маневром, могло повести дальше. Раз Госсовет разошелся с Думой, полагалась согласительная комиссия, которая должна была разногласия ликвидировать другим способом.

Получив рано утром этот указ о роспуске на три дня, я пошел в Государственную думу и тут же написал, что я слагаю с себя [полномочия председателя]. Мне не хотелось, чтобы октябристская партия была скомпрометирована, будто это было с одобрения нашего. Столыпин был юрист слабый. У него не было достаточно чувствительности, и он очень удивлялся. Он говорил: «Закон издается в той редакции, как Государственная дума приняла». Я сказал: «Я считаю, что это роковая вещь — то, что вы сделали, расправа с этими членами Государственного совета. Они как законодатели должны быть независимы, такие кары неудобны — за голосование против правительства расправляться. Вы некоторый урон нанесли нашей молодой русской конституции, но главный грех — это то, что вы сами себе нанесли удар. Если раньше с вами считались как с человеком, имеющим большой вес, то это, по-моему, политическое харакири».

Это преддверие к его уходу. Затем второе. Предвидя, что будут запросы, я не хотел участвовать. Я не мог защитить, но в то же время не мог участвовать в атаках на него. Я взял отпуск и уехал на Восток. Я поехал на Амурскую дорогу. В то время разыгралась в Маньчжурии чума, и Красный Крест поручил мне организацию помощи в борьбе с чумой. Весной вернулся назад, когда Государственной думы не было. Столыпин возил меня обедать перед смертью. По душам говорили, он был подавлен, он чувствовал... Государь в руках

таких людей... О Распутине мы с ним не говорили в данном случае, [упоминавшийся] эпизод был: Илиодор против гражданской власти и губернатора.

Потом меня укрепил в этом [подозрении] сенатор Трусевич, директор Департамента полиции, затем я видел одного из Нейдгартов. Я чувствовал, что те подозрения, которые мной овладели, этими людьми разделяются, может быть не вполне осознанно, я увидел, что не ошибаюсь. Я предъявил запрос в Государственную думу: известно ли правительству, что условия убийства Столыпина [говорят о том, что] были допущены известные незакономерные действия? И я показал, что это не небрежность при выполнении обязанностей, а там есть попустительство, и перечислил всех тех, кого имел в виду, назвал генерала Курлова, полковника Спиридовича, ротмистра Кулябко и какого-то Веригина.

Это была не охрана государя, это была вообще вся охрана. Охрана была изъята их рук киевских [полицейских властей] и передана приезжим из Петербурга. В ответ на это последовало, что Спиридович как помощник дворцового коменданта подал докладную записку Дедюлину, что я его оскорбил, что он просит разрешения вызвать меня на дуэль либо оградить его от посягательств на его честь с моей стороны. В правительстве не хотели таких осложнений, ему приказано было сидеть смирно, как я потом узнал.

Базили. Спиридович был замешан?

Гучков. Картина была такая. Не знали, как отделаться от Столыпина. Просто брутально удалить не решались. Была мысль создать высокий пост на окраинах, думали о восстановлении наместничества Восточно-Сибирского. Вот эти люди, которые тоже недружелюбно относились к Столыпину (тем более что в это время Столыпин назначил ревизию секретных фондов Департамента полиции), словом, они нашли,

что можно не мешать... В это время в левых кругах создалась атмосфера какая-то покушений на Столыпина. Когда я вернулся с Дальнего Востока, мне об этом сообщили и указали, что можно ждать покушений со стороны финляндцев. Перед этим прошел закон о Финляндии, который обидел финляндских националистов, можно было ждать покушения оттуда. Так как у меня были конкретные данные, я, несмотря на мое нерасположение к Курлову, эти сведения ему сообщил.

Так как предвиделась поездка Столыпина в Киев, то я его предупредил об этом, и у меня определенно сложилось впечатление, что что-то готовится против Столыпина. Я тогда последний раз виделся со Столыпиным. Мы поздно вернулись к нему. Заседание должно было состояться... Он стоял в дверях, а я все думал — сказать ему или не сказать, чтобы он остерегался... Я ему не сказал. У меня до сих пор сохранилось убеждение, что в этих кругах считали своевременным снять охрану Столыпина. Любопытно следующее: я потом узнал, что Столыпин не раз говорил Шульгину: «Вы увидите, меня как-нибудь убьют, и убьет чин охраны...»

Базили. Но фактически были левые, которые его убили?

Гучков. Да, да, да, Богров левый. Я думаю, что он служил обеим сторонам, так как он не был героем, этот Богров, и нельзя было ждать, что он отдаст себя на казнь, то надо было думать, что у него были перспективы, ему помогут ускользнуть.

Базили. В левых кругах зрело желание отделаться от Столыпина? Под влиянием чего?..

Гучков. Вообще деятельность партии эсеров спадала. На местах частью [предпринимался] мелкий террор, но не было такого энтузиазма, террора в том смысле, как он до этого велся, это все спадало, шло на убыль. По-видимому, в их кругах было разочарование в своих методах борьбы.

В это время появился роман Савинкова «Конь бледный», который произвел впечатление. В свидании со Столыпиным я ему передал. По-моему, в этих кругах шло благотворное перерождение, какой-то надлом там шел, разочарование в методах. И, затем, поводов не было, не было среды такой, но, конечно, те немногие силы террористические и страсти, которые там были, [сходились] в отношении к отдельному лицу, которое своими реформами вырвало почву из-под ног таких лиц. На нем одном остаток революционных страстей и [террористических] замыслов останавливался. А затем те сведения, которые я получил от финляндских националистов...

Базили. Можно поставить в известную связь опасения земельных кругов, что земельная реформа Столыпина укрепит власть с уменьшением?

Гучков. Земельная реформа служила укреплению общего порядка, [умиротворяла те] эсеровские элементы, которые пробивались из народнических кругов: тут открывалась возможность крестьянству окрепнуть. Какой энтузиазм вызвала реформа, связанная с земскими статистиками; землемеры, которые около крестьян работали, — перед ними открылись перспективы.

Базили. Направляя революцию в сторону укрепления собственности, это могло...

Гучков. Это могло раздражать те круги, которые послали Богрова. Это была, кажется, III Дума. Такой порядок был. Предъявлялся письменный запрос, и тем, кто вносил этот запрос, давалось слово. Я этим словом воспользовался и развил эту мысль, затем это должно быть передано в комиссию по запросам, но так как запросов было без конца, а я считал нужным просто дать ход этим мыслям, я не избегал и не искал продолжения этого скандала. Конечно, это очень мне было поставлено в вину.

С этого момента у меня впервые явилось какое-то недружелюбное чувство по отношению к государю, связанное с убийством Столыпина и его поведением после смерти Столыпина. Он даже не остался на похороны, уехал в Чернигов, в Крым. Что меня особенно больно кольнуло, это та беседа с государем, которую мне передал Коковцов. Это характерно для всех порядков. Коковцов только что назначен, в Киеве его государь назначил. Государь уехал на юг, Коковцов вернулся в Петербург. Через две-три недели накопились вопросы, Коковцов поехал в Крым. Во-первых, самая передача ему власти... Все министры собрались в Киеве на вокзале провожать государя. Государь, обходя всех, подошел к Коковцову и говорит: «Владимир Николаевич, у меня к вам просьба и у меня есть виды на вас. Я имею в виду назначить вас председателем Совета министров...»

Базили. Это было очень скоро после гибели Столыпина?..

Гучков. Столыпин только что умер, даже не похоронен. Государь назначает его в такой форме на вокзале. Все же такое смутное время, убит председатель Совета министров, министр внутренних дел. Так, знаете ли, лавочку не передают своему приказчику, как государь передает Коковцову Россию. Коковцов едет в Крым для доклада. Его принимают такими словами: «В. Н., я слышал, как вы себя окружили, как вы повели дело первые дни, я знаю ваши требования. Я очень рад, что вы не делаете того, что делал покойный Столыпин, который заслонял меня...» Коковцов тогда не имел особого теплого чувства к Столыпину. Разные натуры. Коковцов порядочный царедворец, бюрократ в плохом смысле этого слова... Все-таки это через две-три недели. У Коковцова вырвалась такая фраза: «Ваше Императорское Величество, покойный Петр Аркадьевич не заслонял вас, он умер за вас». Царь говорит с упрямством: «Он заслонял меня. Мне надоело читать

каждый день в газетах “Председатель Совета Министров, Председатель Совета Министров!”»

Меня так передернуло. Был государь маленький, вроде Вильгельма I, — он взгромоздился на плечи такого гиганта, как Бисмарк... Какие могут быть счеты. Заслонять... Та очень скромная популярность, которой Столыпин пользовался, довольно одинок он был... В противоположность многим другим министрам Столыпин никогда [не позволял себе] ни одного слова осуждения, ни цитирования какого-нибудь факта, который мог бы представить государя с непривлекательной стороны. Наоборот, все, что только можно было делать хорошего, он приписывал государю. У меня были добрые отношения с П. А. Не припомню какого-либо факта, которым он охарактеризовал бы с противоположной стороны государя, никогда. И оказывается — «заслонял».

Тогда мне вспомнилось: в начале своего правления Столыпин тяжело заболел, второй раз в 1909 г. он был тяжело болен воспалением легких. Доктора приказали ему после выздоровления проделать такой курс лечения морским воздухом, государь предоставил одну из яхт в его распоряжение. Тогда еще террор был силен, а так как на яхте можно было создать безопасность, он с семьей по шхерам разъезжал... К 1 января каждый год морской министр представлял государю список яхт для распределения по разным категориям. И вот тогда морской министр государю назвал яхту, на которой Столыпин ездил, и спросил, в какую категорию ее зачислить. Государь воскликнул: «Ну уже, конечно, не Столыпинская яхта»...

Третий эпизод характерный. 1908 год. Свидание государя с королем Эдуардом. Вот это был как раз апогей престижа Столыпина. Революционный период закончился, начала какая-то работа налаживаться. Это был медовый месяц Столыпина. Интересный человек. Эдуард очень интересовался

Столыпиным, всегда искал возможности с ним поговорить. Встреча ли была на императорской яхте, он всегда искал возможности с ним поговорить. Столыпин отлично говорил по-английски, кругом фотографы, получалось: грузная фигура Эдуарда, большая фигура Столыпина, затем все это в английских журналах было. Я знаю от Нилова, что коллекционировали эти фотографии и незаметно подсовывали государю: так встреча с Эдуардом отражается в прессе английской — Столыпин, Столыпин, Столыпин...

Базили. Кто вел эту борьбу, кто старался дискредитировать Столыпина?

Гучков. Воейков. Надо было принадлежать к интимному кругу царской семьи, чтобы этим пользоваться.

Базили. Я был в Ставке свидетелем того, как Воейков интриговал против Кривошеина и Сазонова. Это очень странное влияние Воейкова. Государь Воейкова не любил, но Воейков странная была фигура, Воейков всегда был у него. Я имел несколько разговоров с государем во время моего пребывания в Ставке, у меня было с государем всего два-три разговора. Государь поручил мне писать письма иностранным государям: королю румынскому и Пуанкаре. Я написал королю румынскому целый ряд вопросов. Государь был очень доволен этим письмом. Он говорит со мной об этом письме. Приятный мне разговор, но длинный. И вот я вижу, Воейков начинает приходить в неистовство и подходит во время разговора два-три раза: «Ваше Императорское Величество, вас ждут...» Как только кто-нибудь, кто не был в этой маленькой кучке, обращал на себя внимание [государя], налаживались какие-то разговоры, которые могли быть сегодня об этом, завтра о чем-нибудь другом, — сейчас же [начиналось противодействие].

Гучков. Такой эпизод. Полтавские торжества — юбилей Петра Великого. Столыпина занимала мысль: довольно редки

поездки государя в провинцию, надо этим [случаем] воспользоваться, чтобы создать народные празднества вокруг него. Был составлен план, из целого ряда окружающих губерний созваны волостные старшины присутствовать на торжествах. Для них был выстроен целый лагерь под Полтавой. Столыпин хотел поближе свести государя с крестьянством, а так как этот вопрос все-таки в церемониал не входил, крестьянство присутствовало, но не было общения, то как-то врасплох Столыпин говорит: «Ваше Императорское Величество, было бы очень желательно, чтобы вы их посетили». Государь говорит: «Охотно». Но ему кто-то такой говорит: «Ваше Императорское Величество, ведь это не предусмотрено, вы должны быть там-то и там-то».

Столыпин его повез туда, несмотря на протест церемониальной части. Государь обходил всех. Вели они себя, эти мужики совершенно идеально, т. е. никаких не было просьб, они так были на верху счастья, что государь к ним пришел, все ответы, которые ему давали, были тактичны до высокой степени. Государь ходил и душевно радовался, как в теплой ванне пребывал, какой-то фимиам шел обожания, чувствовал, как эти люди к нему относятся. Он всех обошел. Государь сказал: «Однако я здесь больше задержался, чем нужно было, остальные номера с опозданием, я здесь двадцать минут пробыл». Столыпин вынимает часы: «Ваше Императорское Величество, два часа». Государь пробыл два часа с мужиками и не заметил.

Базили. Это очень интересно, это показывает, до какой степени, если бы этот человек попал в другие руки, в руки действительно преданных стране людей, из него можно было бы сделать Большого Монарха, но доверие его пошло в другую сторону. Это его погубило.

Гучков. Еще один эпизод расскажу, который характерен по отношению к Столыпину. В III Государственной думе мы

застали министра народного просвещения Кауфмана. Он был во главе ведомства императрицы Марии. Он не был на высоте Министерства народного просвещения. Времена трудные были, разруха в школе, гимназии, особенно университеты, профессора... Разрушение какое-то шло. Надо было бы привести школу в порядок, но это не значит, что тот, кого назначили, был удачен. Назначили Шварца, очень хорошего педагога, знающего свое дело, но [это был] какой-то формалист. Жизнь он не знал, не признавал. Он стал приводить высшую школу в порядок. Сообразовываясь с нормами закона, он обнаружил, что в жизнь высшей школы вошло такое самовольное явление — студентки. Не допускать студенток. Оказалось, что 600–800 девушек оказались университетскими студентками. Еще кончающих курс не было. Многие из них приехали из-за границы, учились в Женеве.

И вдруг мы в Государственной думе узнаем, что Шварц разослал циркуляр — всех девиц выкинуть вон. Я вижу, какая радость на левых скамьях. Великолепный случай правительство дискредитировать, я вижу там злорадство, запрос готовится. Я сам чувствую, что правительство совершенно неправо. Мне хочется спасти правительство от бламажа... Тогда я иду к Шварцу, потому что у меня добрые отношения. Отказ: закон. Тогда я иду к левым. Как сейчас помню, я к некоторым из них относился терпимо, к другим брезгливо. Я относился брезгливо к Чхеидзе с его ненавистью к буржуазному строю, русскому народу, к России самой. Он из злобных был, он глава социал-демократической партии. И почему-то не кадеты, а этот идет с запросом. Я иду и говорю: «Я слышал, что вы собираетесь такой запрос предъявить. Я хочу верить, что вы принимаете интерес в девушках, но ваш запрос загубит этих девушек. Поэтому к вам просьба». — «Что же вы хотите от меня?» — «Дайте мне срок два-три дня».

Тогда, не знаю, потому ли, что я сумел подойти, но он мне дал обещание, что запросов не будет. Тогда я взял с собой Анрепа, который был председателем комиссии по народному образованию, и по телефону снесся со Столыпиным и просил, чтобы он нас принял. И, как сейчас помню, поздно ночью, он в то время жил в Зимнем дворце, мы изложили положение. Столыпин очень мало знал. Я ему все рассказал и говорю: это вещь недопустимая. Конечно, незаконность налицо но, если восстановлять закон, нужно карать тех, которые допустили: министр народного просвещения, попечители округов. Но ведь тут вы на тех, кто наименее виноват, обрушились. Столыпин стал на формальную позицию, защищал действия своего министра: «Он другого ничего не может сделать». Но сказал: «Я подумаю».

Когда мы поздно ночью вышли, Анреп говорит: «Я был прав, по-моему, вышло. Столыпин понял всю жестокость этой меры, он примет это к своему производству». Я Столыпину сказал: «Имейте в виду, это вещь спешная, иначе будет скандал». Эти самые курсистки — они с самого начала предприняли шаги: образовались маленькие группы депутаток от студенток. Они обходили разных политических людей. Ко мне тоже пришла группа, четыре барышни, которые просили заступиться за них. Я говорю: «Обещайте, что вы ничего не предпримете. Ведите себя скромно и больше не обхаживайте никого. Если не удастся — делайте что хотите».

Звонок по телефону. Столыпин радостным тоном говорит: «А. И. все налажено, государь дал лично от себя распоряжение, чтобы никаких репрессивных мер в отношении тех, которые уже приняты, не было, а что касается допуска женщин в университеты, будет законодательная мера. А кроме того, я хотел бы вас видеть». Он хотел, чтобы я знал некоторые подробности. Он мне рассказал, что на другой день после [нашей] беседы с ним он отправился к государю, говорит,

что допущена такая незаконность [в отношении] 600–800 девушек. Теперь министр Шварц ничего не может сделать. Но, Ваше Императорское Величество, он говорит, есть одна инстанция, которая может творить правду, становясь выше всяких законов. Государь улыбнулся и сказал: «Вы меня имеете в виду». Столыпин говорит: «Да, Ваше Императорское Величество...», и далее, не знаю в какой форме, что не [следует] допускать удаления, и Столыпин прибавил при этом: «Вас будут спрашивать, как это произошло, объясните им, что правительство ничего не могло делать, как исполнять закон, а та милость, которая им оказывается, — милость государя императора».

Базили. Как произошло, что Столыпин оценил так верно земельные реформы?..

Гучков. Он сам из помещиков, он крестьянское хозяйство, помещичье хозяйство знает, [побыл и] в качестве гродненского губернатора. Эта западная губерния гораздо ближе стояла к нуждам населения, там губернатор был, как председатель губернской земской управы — близко к этим вопросам стоял. Так как он человек просвещенного ума и не был, как Хомяков, противник земельной реформы, поэтому [ему не была чужда] идея создания частной крестьянской собственности... Знакомство с русской деревней, во-первых, и идеи западные, во-вторых. В нем отсутствовал социальный элемент, Столыпин был представитель государственной идеи. Государство нуждается в богатом крестьянине, а если благодаря этому помещики не могут иметь крестьянский труд — пусть перестроятся. Он к этому пришел, видимо, давно.

Первое мое соприкосновение с ним, когда он был во главе правительства и после неудачи Витте. Когда Столыпин на первых же порах приступил к такой же идее, он имел в виду Шипова, Львова, меня; он в первые дни своего появления у власти развивал эту идею. Он убеждал Львова

взять на себя, говоря, что нет предела той земельной реформы, которую он имел в виду; [намереваясь исполнить] все, что требуется в смысле государственных жертв, чтобы расширить площадь крестьянского земледелия, [предоставить] льготы по покупке земель... что нет предела — это основа всего. Если только нам эта земельная реформа не удастся, то всех нас надо гнать поганым помелом. Он указывал, что между Львовым и им разницы по существу нет большой, он не допускает революционного элемента в эту реформу.

Базили. Это так легко было сделать. Все дворянство в долгу, как в шелку. Просто курс поставить определенный.

Гучков. Это в нем давно сидело. Потом, когда он приступил к реформам, он нашел этот вопрос подготовленным. Разработка шла по Министерству внутренних дел. Это была работа В. И. Гурко в качестве товарища министра, ближе подошел к этим идеям и тот законопроект, который правительство провело в порядке 87 статьи, этот закон составлен главным образом на основании проектов, подготовленных в министерстве Гурко.

В противоположность тем, которые думают освободить и предоставили крестьян самим себе, он предполагал, что это первый шаг к дальнейшему. Подъем культурный крестьянства. Раз вы вышли из общины, сделались земельным собственником, вы вправе приобщиться ко всем тем экономическим и финансовым благам, с которыми связан личный кредит, особенно крестьянские банки, которые давали возможность мелким собственникам улучшить хозяйство. [Наряду] с этими экономическими мерами была принята мера подъема общественного и социального уровня крестьян, подготовки их к идеям самоуправления в тех пределах, в которых их навыки давали возможность, [поставлен] вопрос о волостном земстве. Мужика пустили в губернское земство — там он теряется; в уездном — тоже, но он думал

создать из волостных земств хорошую школу для крестьянства. И, наконец, поднятие умственного уровня крестьянства посредством школы. Со времени III Думы много было сделано в смысле образования. Такая работа обещала нам лет через десяток-два-три получить новое крестьянство.

А волостное земство вот в каком виде. Оно было коньком либеральных партий. Столыпин очень сочувственно к этому относился. Разумеется, правительство не выполнило всех ожиданий, так как в волостном земстве предполагалось слить в общей работе разные группы населения, начиная от помещика, собственника завода, местного священника, доктора и лавочника и, наконец, просто крестьян. Надо было против засилья крестьянской массы оградить этих представителей. Поэтому вводились некоторые нормы, ограничения, волостное земство было поставлено под известный контроль, пока формы самоуправления еще не созрели, требовалось руководство.

Левые встретили волостное земство в штыки, в правых кругах несочувственно. Мы, в середине, мы были сторонниками этого. Наш докладчик Глебов, предводитель дворянства Нежинского уезда, был немножко склонен к левизне в этих вопросах. В законопроекте, поскольку он прошел комиссии Думы, Глебов дал уклон несколько более в сторону левых ожиданий. И сделал его малоприемлемым. Даже для правительства характерно было, что этим левым поправкам правые элементы не препятствовали. В таком виде это попало в Думу. Столыпин несколько раз пытался Глебова и некоторых членов этой комиссии обламывать, чтобы они пошли на уступки, которые сделали бы этот законопроект приемлемым. В конце концов, этот законопроект прошел и поступил в Государственный совет, а там он не успел пройти. У Столыпина был один недостаток: он не умел рекламировать ни себя, ни своего правительства, ни программы.

5 апреля 1933 г.

Гучков. С первых же дней существования Временного правительства я почувствовал его шаткость — та санкция сверху, та преемственность, тот легитимный характер, которые были бы ему даны новым монархом, занявшим место прежнего, отрекшегося, исчезли с отречением великого князя Михаила Александровича. И в то же время под него не были подведены снизу какие-либо прочные устои. Не было санкции народного избрания, не было законодательных учреждений, опирающихся на народную волю, и не было ничего конкретного… Были только общие смутные чувства симпатии, доверия, но и эти чувства не были ярки, не были прочны. В отдаленном будущем предполагалось созвать Учредительное собрание, но ни срок созыва, ни состав собрания, ни способы его избрания не были еще определены. Разработку всех этих вопросов передали в особую комиссию юристов и государствоведов. И представлялось еще большим вопросом, удастся ли провести выборы и созвать Учредительное собрание в то время, когда на фронте еще бушевала война.

Итак, Временное правительство висело в воздухе, наверху пустота, внизу бездна. Получалось впечатление какого-то акта захвата, самозванства. Единственный выход из этого состояния изолированности я видел в созыве законодательных учреждений, во всяком случае, Государственной думы, все же покоящейся на народном избрании. Наиболее правильным актом я считал созыв Государственной думы в том составе, в каком застал ее переворот, но я готов был примириться с некоторыми частичными поправками в виде дополнения ее состава представителями каких-нибудь групп населения, не представленных или слабо представленных в Думе. Подобные перелицовки общественных учреждений уже стали практиковаться кое-где путем введения в городские думы представителей демократических групп.

Еще в одном отношении Временное правительство, по моему мнению, крайне нуждаюсь иметь рядом с собой законодательные учреждения. Оно нуждалось в трибуне, в возможности говорить общественному мнению, народным массам через головы законодательных учреждений. Оно нуждалось также в критике, нуждалось в необходимости объяснять и оправдывать свои действия. К вопросу о созыве Думы я возвращался несколько раз в беседах со своими товарищами по Временному правительству. И не нашел ни одного сочувствующего этой идее. Я даже не нашел никого, кто ощущал бы так остро, как я, это состояние заброшенности, изоляции Временного правительства.

Характернее всего были слова А. И. Шингарева, который, объясняя свое отрицательное отношение к моему предложению, как-то заметил: «Вы предлагаете созвать Государственную думу потому, что вы недостаточно знаете ее состав. Если бы надо было отслужить молебен или панихиду, тогда стоило бы ее созвать, но на законодательную работу она неспособна». А. И. Шингарев имел в виду тот состав IV Думы, который образовался в тех условиях административного давления. В частности давления церковных властей, у которых проходили выборы в эту Думу.

У меня получилось ощущение, что отрицательное отношение к идее созыва законодательных учреждений объяснялось отрицательным отношением большинства членов Временного правительства, принадлежавшего к кадетской партии к данному составу Государственной думы, где эта партия была чрезвычайно слабо представлена. По-видимому, у них было ощущение, что они не найдут прочного большинства в Государственной думе, в чем они, по моему глубокому убеждению, очень ошибались. В общественном мнении, да и в самой Думе, несомненно, произошли глубокие сдвиги.

Те общественные классы, которые были представлены в Думе и образовывали думское большинство, смотрели на Временное правительство как на последнее прибежище в создании государственной власти и в ограждении страны от анархии.

Потерпев неудачу внутри Временного правительства, я попытался найти союзников вне, среди лиц, которые могли иметь известное влияние на решение правительства, но и там эти союзники оказались немногочисленны. Среди членов Думы, и в частности среди Думского комитета, я нашел только двух, которые готовы были поддержать мою идею. Это были М. В. Родзянко и В. А. Маклаков. Другие либо относились отрицательно, считая, что Дума в силу цензового характера своего избрания дискредитирована в глазах народных масс, во всяком случае, не авторитетна, и потому не ждали большого толка от ее созыва, либо не искали (и скорее избегали) случая разделить с Временным правительством ответственность в деле управления государством.

Если бы Временное правительство решилось создать Государственную думу, она собралась бы и громадным большинством поддержала правительство. Дума в своем громадном большинстве не рвалась к активной роли и отказывалась производить на правительство нужное давление. Все же благодаря настояниям М. В. Родзянко и моим удалось добиться созыва совещания, но раннего и однократного, составов всех 4-х Государственных дум. Такое совещание было приемлемым для противников созыва Государственной думы как определенного государственного установления, ибо, во-первых, в состав этого Совещания входили первые две Думы с их ярко демократическим характером и революционным прошлым. Во-вторых, такое Совещание не угрожало стать прочным государственным учреждением.

При таких условиях Временное правительство сохраняло всю полноту государственной власти.

Те впечатления и наблюдения, которые я вынес от соприкосновения с Совещанием четырех Дум, меня еще более убедили в необходимости для Временного правительства иметь над собой или рядом с собой правильно сконструированные государственные учреждения. Прохождение через такое законодательное учреждение проектов правительства гарантировало бы до известной степени их большую продуманность и обоснованность, и вместе с тем трибуна этого законодательного учреждения давала возможность правительству живыми речами осведомлять общественное мнение и примирять его. Получалась какая-то связь со страной, возможность на нее опереться. В сознании необходимости существования такого законодательного учреждения я готов был идти даже на такие уступки, как образование такого учреждения из состава всех четырех Дум. Лучше было иметь такую несколько распухшую и уродливую Думу, чем не иметь ничего.

Но время шло. Комиссия, вырабатывавшая положение об Учредительном собрании, торопилась закончить свою работу. Предвиделись выборы в Учредительное собрание Интересы и шансы к созыву Государственной думы все слабели. Значительно позднее потребность в подведении каких-то общественных фундаментов под Временное правительство нашла себе выражение в двух направлениях. В Москве состоялось так называемое Государственное совещание, в Петербурге под самый конец существования Временного правительства был собран Предпарламент. Московское совещание совсем не претендовало стать постоянным установлением. Петербургский предпарламент исчез под ударом грозных событий.

10 февраля 1936 г.
Беседа с А. И. Гучковым

А. И. на обращенный к нему вопрос сказал, что его письмо к графу В. Н. Коковцову имело целью только указать, что в вопросе о гибели царской семьи он всецело примыкает к взгляду, высказанному В. Н., а не к взгляду П. Н. Милюкова. Однако опубликовать в таком виде письмо не имеет смысла, потому что нужно было бы его обосновать. В настоящее время он занят этим с помощью своего племянника П. Н. Гучкова и Руманова.

А. И. считает, что положение сделалось безнадежным с того момента, когда великий князь Михаил Александрова отказался санкционировать происшедшее. Рядом с Советов раб. и солд. деп. Временное правительство было совершение бессильно, и он, А. И., сознавал это с первой минуты. П. Н. Милюков, который имел дело с Палеологом и другими послами и занимался обменом нот, не мог знать надлежащим образом настроений. Он, Гучков, соприкоснулся с массой, он буквально купался в солдатских делегациях. Пришлось ему бывать и на фронте, и для него совершенно было ясно, что Временное правительство абсолютно ни на какую силу опереться не могло. Оно всецело находилось во власти Ахерона, который грозил каждую минуту затопить его. А. И. неоднократно обсуждал этот вопрос с ген. Корниловым, который смотрел на положение дел совершенно так же.

Держалось Временное правительство только иллюзиями, и иллюзия была с обеих сторон: со стороны Временного правительства, которое полагало, что оно может на какие-то силы опереться, и со стороны Совета раб. и солд. деп., который не сознавал своей силы и думал, что за Временным правительством стоят какие-то силы. В действительности Временное правительство было совершенно голым.

«А король-то был гол!» Надо было избегать всего, что могло бы обнаружить эту наготу.

Когда собралось Временное правительство и стали обсуждать вопрос о положении царской семьи, все без исключения, не исключая Керенского, самым искренним образом были озабочены вопросом о спасении царской семьи. Но ввиду настроения Совета раб. и солд. деп. надо было действовать так, как будто делается это по настоянию англичан. Иначе это могло бы только возбудить подозрения революционно настроенных масс, угрожавшие опасностью царской семье. Попытка вывезти царскую семью без подготовки могла бы привести к тому, что они были бы задержаны на границе и местный Совет раб. и солд. деп. их расстрелял бы.

Это вопрос, на котором лучше всего обнаружилась иллюзорность власти Временного правительства и его полное бессилие. Из 200-тысячного петербургского гарнизона только 4200 молодых офицеров и юнкеров были действительно верны правительству. Молодежь эта действительно была склонна к активным действиям. Но генералы, которые потом пошли в белое движение, тоже не верили в возможность каких-либо активных действий. Даже в вопросе о терроре только молодежь, лица не старше ротмистра, высказывались положительно.

На мой вопрос, на кого же тогда предполагал опереться ген. Корнилов в своей августовской попытке, А. И. ответил: Корнилов неоднократно указывал ему, А. И., что он, А. И., как «буржуй», не может рассчитывать увлечь за собой войска. Напротив, по его мнению, Керенский, который представлялся им своим человеком, мог бы это сделать. И свое выступление Корнилов рассматривал как coup d'Etat [государственный переворот], который должен быть произведен под флагом Керенского. А. И. был осведомлен об этом ген. Крымовым, покончившим с собой при неудаче.

Ген. Крымов со своими казаками должен был, по плану Корнилова, явиться авангардом движения. Казаки эти пока подчинялись Крымову, но по мере приближения к столице разложение сказалось и у них. У Керенского в последнюю минуту не хватило мужества, и когда была получена его дезавуирующая телеграмма, и Корнилов не двинулся, Крымов оказался в таком положении, что покончил с собой. Адъютант Крымова передал А. И., что, когда он раненый лежал на полу, он сказал: «Если бы мне попался в руки Корнилов, я бы его собственноручно пристрелил».

На дальнейший мой вопрос, каким же образом удалось подавить восстание 3 июля, А. И. ответил, что с помощью небольшого количества верных юнкеров и офицеров можно было оказать сопротивление, но никаких самостоятельных активных действий предпринять нельзя было. Может быть, если бы в апреле толпа, собравшаяся перед Мариинским дворцом, который находился под охраной офицеров и юнкеров, попыталась напасть на него, последующее получило бы другое развитие.

В конце А. И., возвращаясь к вопросу об отказе великого князя Михаила Александровича, сказал: «Маклаков прав. Это определило неизбежно все последующее. Когда последовал отказ, я заявил, что не войду в состав Временного правительства. Но меня стали упрашивать, не исключая Керенского, и у меня было ощущение, что если я не пойду, это будет дезертирством. Оставаясь верным своему прошлому, после отказа великого князя я не должен был пойти во Временное правительство».

Речь по смете Святейшего синода

(Заседание 9 марта 1912 г.)

При обсуждении сметы Святейшего синода Государственная дума не могла обойти молчанием те тяжелые происшествия, которые имели место в жизни церкви за последнее время. А. И. Гучков выступил с тяжкими обвинениями против обер-прокурора Святейшего синода. Отвечая обер-прокурору, заявившему, что он выше оскорблений и что противники, нанося ему оскорбление, думают нанести оскорбление святой церкви, А. И. Гучков сказал следующее:

Я никогда еще не выступал на эту трибуну с таким тяжелым чувством. Тяжело говорить при настоящих условиях и тяжело говорить о таких предметах, о которых, собственно, только и хочется говорить, о которых только и можно говорить. Но вправе ли мы молчать? И мы должны говорить, быть может, именно потому, что другие молчат. Когда перед нами смета Святейшего синода, а *(указывая на министерскую ложу)* на этих скамьях сидят высшие представители ведомства православного исповедания, нужно особое душевное настроение, мне не свойственное, особый склад ума, я скажу, души, мне чуждый, чтобы сосредоточить свое внимание и свои слова на вопросах, как страхование церковного имущества, уравнение епископских окладов. И даже такие первостепенной важности вопросы, как вопрос о реформе духовной консистории, как все эти приготовительные шаги к созыву поместного Собора, — все это как-то отходит на задний план, тускнеет, теряет свой интерес, и хочется говорить, хочется кричать, что церковь в опасности и что в опасности государство. Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия; с болью в сердце, с ужасом следим мы за всеми ее перипетиями, а в центре этой драмы загадочная трагикомическая фигура — точно выходец с того света или пережиток

темноты веков, странная фигура в освещении XX столетия. (*Голос слева:* электричество и пар.) Быть может, изувер-сектант, творящий свое темное дело, быть может, проходимец-плут, обделывающий свои темные делишки. Какими путями достиг этот человек этой центральной позиции, захватив такое влияние, пред которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? (*Голос слева:* целуйте ручки.) Вдумайтесь только, кто же хозяйничает на верхах, кто вертит ту ось, которая тащит за собой (*Марков, 2, с места:* это бабьи сплетни) и смену направлений, и смену лиц, падение одних, возвышение других? Если бы мы имели пред собою (*Марков 2, с места:* митинговая речь) одинокое явление, выросшее на болезненной почве религиозного искательства, экзальтированного мистицизма, то мы остановились бы пред этим делом, молчаливо и скорбно поникнув головой, как у постели тяжко больного дорогого человека. Мы, быть может, плакали бы и молились, но не говорили. Но Григорий Распутин не одинок; разве за его спиной не стоит целая банда, пестрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары? Ненасытные честолюбцы, тоскующие по ускользнувшей из их рук власти, темные дельцы, потерпевшие крушение журналисты (*Крупенский, с места:* Сазонов)... Антрепренеры старца! Это они суфлируют ему то, что он шепчет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. И пред этой картиной наш долг крикнуть слова предостережения: церковь в опасности и в опасности государство. Ведь никакая революционная и антицерковная пропаганда в течение ряда лет не могла бы сделать того, что достигается событиями последних дней (*голоса:* верно), и прав был со своей точки зрения Гегечкори, когда сказал: «Распутин полезен»! А я добавлю: «Чем распутнее, тем полезнее для друзей Гегечкори». (*Голос слева:* это

для вас; смех; *голос справа:* это правда.) В эту страшную минуту, среди отчаяния и смятения одних и злорадства других, где же была власть — власть церкви и власть государства? (*Гегечкори, с места:* с вами.) Быть может, многие в отчаянии и ломают себе руки втихомолку или изливают в письмах и беседах всю горечь своей души. Мы знаем имена тех немногих иерархов, которые имели мужество поднять свой голос, быть может, искупая этим ту тяжелую вину, которая на них же и лежит. Я не последую за преосвященным епископом Митрофаном, который нашел жесткие слова осуждения одному из них. Я не охотник добивать павших. (*Гегечкори, с места:* знаем мы, а виселицы?) Но что же безмолвствуют другие? Или они не знают, или они сочувствуют, или они боязливо жмутся, опасаясь опалы? А в частности, вы, г. обер-прокурор Святейшего синода, где были вы? Не на вас ли на первом, как на высшем представителе государства в делах церковных, лежал прежде всего долг возвысить свой голос? Посмотрите, кто за вашей спиной, чьими ставленниками вы окружили себя или дали себя окружить? Ведь вы принадлежите к той политической группе, которая монополизировала защиту чистоты веры и устоев церкви и государства. Когда у нас проходили законы, устанавливающие элементарные гарантии религиозной свободы, когда проходил закон о старообрядческих общинах, который должен был исправить вековую неправду, мы вас видели среди противников. Когда законом о свободе перехода из одного вероисповедания в другое и правительство и дума думали установить гарантии религиозной терпимости, мы видели вас среди противников. Когда Дума хотела установить за церковноприходскими школами высший надзор государства, не вы ли громили нас (*голоса справа:* верно), как покусителей на церковные устои. (*Марков 2, с места:* это большая заслуга.) Вы заняты были борьбой

с вашими внешними противниками на границе вашего ведомства (*голос справа:* совершенно правильно) и вы проглядели ту внутреннюю опасность, ту язву, которая разъедает сердцевину народной души, религиозную совесть. Большую работу вы задали своим противосектантским миссионерам. Но обер-прокурор молчал. Или он тоже не знал, или он тоже сочувствовал, или он тоже трусливо жался? Я слышал, что жизнь — хорошая вещь, и замечал, что те, которые достигли больших жизненных благ, менее всего склонны ими поступиться; знаю, что не всегда можно требовать героизма, но есть известный этический минимум, который обязателен для ответственного носителя власти (*Марков 2, с места:* а также для членов Государственной думы), есть моменты, когда служить значит совсем другое, чем прислуживаться (*слева голоса:* верно *и смех),* когда гражданский подвиг становится обязанностью, делается элементарным долгом совести. Под годами 1911–1912-ми русским летописцем будет записано: «В эти годы при обер-прокуроре Святейшего синода, действительном тайном советнике Владимире Карловиче Саблере, православная церковь дошла до неслыханного унижения»! И пусть народ знает, и пусть история запомнит, что в эту тяжелую годину, которую переживали православная церковь и православный народ, обер-прокурор Святейшего синода Владимир Карлович Саблер не исполнил своего долга. (*Продолжительные рукоплескания центра, слева и на отдельных скамьях справа; шиканье на отдельных скамьях крайней правой.)*

А. И. Гучков

Речь об общем политическом положении

(Совещание «Союза 17 октября»
в Петербурге 8 ноября 1913 г.)

Наступала государственная разруха. С политическим ослаблением П. А. Столыпина, а затем и с его смертью стало ясно, что началась полная ликвидация эры реформ. Официальное правительство играло роль марионеток, а за его спиной ворочали и распоряжались государством «безответственные люди», «темные силы», имена которых знала и называла вся Россия. Уроки недавнего прошлого были забыты, и с Государственной думой перестали считаться, ее только терпели.

/.../ Авторитет правительственной власти падал с каждым днем. Глухое недовольство в народе росло, надвигалось Смутное время.

Думская фракция октябристов вернулась в 4-ю Думу после выборов ослабленною численно. К этому присоединилось и политическое поражение, которое потерпела партия октябристов в своей основной задаче наладить эру либеральных реформ в области политической и социальной в сотрудничестве с властью, на основе начала Манифеста 17-го октября, и там перекинуть мост между старой Россией и новой и предупредить тяжкие потрясения, которые грозили расшатать основы, да и самое бытие государства. «Октябризм» как лозунг примирения и как программа реформ терял если не свой исторический смысл, как факт истории, то свое оправдание, свое raison d'êtr, как фактор политический. От «консервативного» метода лечения, не оправдавшего надежд, приходилось переходить к «активному лечению», к «хирургическому вмешательству», как принято говорить в медицине. Необходимо было переходить в «оппозицию», усваивать и применять методы «борьбы».

Эта новая «ориентация» осталась не выясненной и не сознанной в среде большинства октябристов: не была сознана даже необходимость поисков вообще новой «ориентации».

По инициативе А. И. Гучкова в качестве председателя Центрального Комитета «Союза 17 октября» был созван 8 ноября 1913 года в Петербурге Всероссийский съезд членов Союза с участием Центрального Комитета, всей думской фракции и делегатов от отделов.

На этом съезде, который, по полицейским соображениям, дабы не допустить присутствия чинов администрации, пришлось назвать совещанием, выступил Гучков /.../

/1/ Центральным пунктом нашего совещания является **не пересмотр нашего политического символа веры** — нашей программы. Нам в ней не от чего отрекаться и нам к ней, к сожалению, пока нечего добавлять. Далеко не пройден еще и тот первоначальный этап, который в ней намечен, и рано еще ставить дальнейшие вехи по тому же пути. Ведь если бы наша программа была осуществлена в жизни в своих основных началах, мы имели бы перед собой картину полного обновления нашего отечества. Но в ее истории любопытно отметить следующую черту: осужденная при своем возникновении как слишком умеренная и отсталая, как еретическая с точки зрения правоверного радикализма, программа эта, нормальная для нас, проникла в общественное сознание широких кругов и стала программою-минимумом и для более радикальных партий.

/2/ Очередным вопросом, жгучим и настоятельным, является не вопрос о принципах, об общих задачах, которые ставит себе «Союз 17 октября», а вопрос о **тех путях и средствах, которыми могут быть осуществлены эти принципы,** могут быть разрешены эти задачи, — словом, **вопрос о тактике.** Этот вопрос выдвинут на первый план и ходом событий последних лет, и современным общим политическим положением. Какова должна быть тактика Союза? Как должны сложиться его отношения к другим факторам нашей государственной жизни, в частности к правительству,

к другим политическим партиям? Практически пересмотр вопроса уже начался. Эволюция тактики уже наступила, быть может, не всегда сознанная, во всяком случае, не облеченная в систему, не формулированная ясно.

/3/ Найти и обосновать эту формулу, утвердить ее как категорический императив дальнейшей политической работы для всех органов нашей партии — это является ближайшей и важнейшей задачей нашего совещания. **Это будет одновременно и важным внутренним актом нашего политического самосознания и событием крупного значения в нашей государственной жизни.** И поэтому естественно, что обсуждаемый нами вопрос о дальнейшей тактике Союза, о той позиции, которую он займет, сделался в настоящее время центром общественного внимания.

/4/ Октябризм вышел из недр той либеральной оппозиции, которая сложилась около местного земского самоуправления в борьбе против того реакционного курса, который был принят правительством с конца 60-х годов и, в общем, продержался, со случайными и временными отклонениями, до Смутного времени девятисотых годов. Оппозиция эта делала свое культурное дело в тех узких рамках и в той неблагоприятной обстановке, какие обусловливались общим политическим положением, но никогда не упускала из виду, что во главу угла должна быть поставлена коренная политическая реформа на началах народного представительства. Ядро октябристов, положивших в ноябре 1905 года начало «Союзу 17-го октября», образовалось из того меньшинства общеземских съездов, которое примыкало к общим **требованиям широких либеральных реформ во всех областях нашей жизни и перехода от переживших себя форм неограниченного самодержавия к конституционному строю, но в то же время боролось против увлечений безудержного радикализма и против социалистических**

экспериментов, которые грозили стране тяжелыми политическими и социальными потрясениями. Эта группа с самого начала резко отмежевалась от тех революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть.

/5/ В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности для русской государственности **октябристы решительно** стали **на сторону власти,** которая целым рядом торжественных заверений, исходивших от Верховной Власти, заявила о своей готовности на самые широкие либеральные реформы. В ряде правительственных актов, начиная с указа Правительствующему Сенату от 12 декабря 1904 года и кончая Манифестом 17 октября, заключалась **обширная программа преобразований,** которая отвечала назревшим нуждам страны и давним чаяниям русского общества. Эти акты явились торжеством русского либерализма, ибо содержащиеся в них начала были теми лозунгами, во имя которых в течение полувека боролись русские либералы.

/6/ Такова была та политическая обстановка, в которой зародился и должен был зародиться октябризм. **Октябрем явился молчаливым, но торжественным договором между историческою властью и русским обществом,** договором о лояльности, о взаимной лояльности. Манифест 17 октября был, казалось, актом доверия к народу со стороны Верховной Власти; октябризм явился ответом со стороны народа — ответом веры в Верховную Власть.

/7/ **Но договор заключал в себе обязательства для обеих сторон, и сотрудничество с правительством обозначало общую работу в деле проведения широкой программы намеченных реформ** и прежде всего в деле укрепления и развития начал конституционного строя. Только дружной работой правительства и общественных сил могла быть

разрешена эта задача. Получилась картина, редкая в нашей русской жизни, небывалая со времени начала 60-х годов: две силы, вечно, казалось, непримиримо между собой враждовавшие, — власть и общество — сблизились и пошли одной дорогой; общество поверило власти, власть быстро почувствовала нужду в поддержке общества. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл П. А. Столыпин, представляющий совершенно исключительное сочетание тех качеств, какие требовались современным моментом. Благодаря (именно его обаятельной личности) высоким свойствам его ума и характера накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности.

/8/ В 3-й Государственной думе октябризм мог уже выступить как важный фактор государственной жизни. История оценит с большей справедливостью, чем современники, значение 3-й Думы, отметит ее заслуги **и в том, что она провела целый ряд серьезных законодательных мер в области государственного хозяйства, землеустройства, народного образования, суда, государственной обороны, и в том, что она заложила практически первые фундаменты,** казалось, прочные, **под молодой конституционный строй,** и прежде всего **в том, что** своей уравновешенностью, своей спокойной работой, своим реализмом **она оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество.** В том процессе умиротворения и отрезвления, который характеризует общественные настроения истекшего пятилетия, Государственная дума 8-го созыва сыграла выдающуюся роль.

/9/ История оценит и те затруднения, и внутренние и внешние, с которыми встретилось молодое народное представительство. Создавалась как будто небывало благоприятная обстановка для проведения намеченных преобразований, обещавших обновление во всех областях нашей

жизни. Тяжелый урок недавнего прошлого, казалось, бесповоротно осудил тот курс, который привел Россию к катастрофе, почти на край гибели. Революционное движение и сопровождавший его политический террор раздавлены; от них отхлынули те общественные симпатии, которые раньше составляли питательную почву. **С исчезновением эксцессов революции лишались прежнего оправдания и эксцессы власти.** Власть, думалось, прозрела и в своей преобразовательной работе могла рассчитывать на поддержку широких и влиятельных общественных кругов, словом, открывалась новая эра.

/10/ А между тем рядом с этим течением, параллельно ему, но в обратном направлении шла эволюция иного порядка. По мере того, как наступало успокоение, **по мере того, как общество разоружалось, и уходила в даль опасность переворота, поднимали голову те элементы, которые во все эпохи и во всех странах отличались короткою памятью.** Это были те силы, которые держали в своих руках судьбы России в доосвободительное время и определили тот государственный курс, который привел великое государство к небывалому унижению. В минуту грозной опасности перед, казалось, неизбежно наступившей тяжелой расплатой за их грехи и преступления они одно время стушевались, как бы исчезли с лица Русской земли, в смертельном страхе за себя бросив свой пост. Теперь они выползли из всех щелей — эти «спасатели отечества», а где они тогда были? Не среди правительства, по крайней мере правительства времен Столыпина, приходилось их искать. Среди «бывших людей» отжившего государственного строя, среди дворцовой камарильи, среди тех темных элементов, которые в прежнее время копошились и грелись около старых гнойников нашей русской жизни, среди

всех тех, кого новый политический строй беспощадно выбрасывал за борт, — среди них рекрутировала свои силы возрождавшаяся реакция.

/11/ И среди этих давно знакомых, примелькавшихся персонажей появились новые, неожиданные, странные фигуры, точно выходцы из совсем другой культурной эпохи, появились на ролях важных факторов нашей современной государственной жизни. Эти безответственные, внеправительственные и сверхправительственные, а в данном случае и антиправительственные течения, органически связанные с формами русского абсолютизма, быстро захватили вновь, уже в условиях нового политического строя, прежние отвоеванные у них и покинутые ими позиции. Человек, который мужественно с ними боролся и пал, ими сверженный П. А. Столыпин, в беседе с одним русским журналистом сделал следующее меланхолическое признание: «Ошибочно думать, — говорил он, — что русский кабинет, даже в его современной форме, есть власть. Он — **только отражение власти.** Нужно знать ту совокупность давлений и влияний, под гнетом которых ему приходится работать».

/12/ Ценное признание сделал в этом отношении «Колокол», орган, близкий Святейшему синоду, издаваемый В. М. Скворцовым, чиновником для особых поручений при обер-прокуроре Святейшего синода, В. К. Саблере и обязательный для выписки духовенством. В статье под заглавием «Миссия ген. Сандерса» (№ 2291 от 13 декабря 1913 г.), доказывающей, что «непосредственного нарушения наших интересов от вторжения немцев в Константинополь нет и сейчас быть не может», и вполне оправдывающей роль нашей дипломатии, между прочим, дается следующее объяснение отношения русского правительства к балканскому кризису: «Вспоминаются бестолковые банкеты наших славяноманов,

с истерическими речами т. Вергунове и Бобринских; под давлением этих славяноманских кругов уверяют, объявление войны Турции висело на ниточке и как на нашего спасителя от бессмысленнейшего кровопролития указывают на одного проникновенного старца, искреннего патриота без кривляний квасного славянофильства, горячо любящего Россию и притом близкого к кормилу нашей высшей политики, который и удержал своим благотворным влиянием от страшного шага».

/13/ Официальными оплотами реакции стали, как вы знаете, правое крыло Государственного совета и организация объединенного дворянства. Было бы ошибочно думать, что эти органы являются сколько-нибудь верными показателями господствующих настроений среди русского дворянства и высшей русской бюрократии. Потребовался последовательный, искусственный подбор, чтобы придать им их современную физиономию. **Русское дворянство, выполнившее своими руками великую культурную миссию нашего земства, в своем преобладающем большинстве есть, несомненно, элемент прогресса.** Значительно преувеличена также легенда об оторванности русской бюрократии, ее отчужденности от общественных настроений и народных нужд. В те редкие моменты просветления, когда власть становилась на путь широкого творчества, она в составе своей бюрократии находила немало даровитых людей, которые с радостью несли свой громадный государственный опыт на служение открывающимся перед ними великим задачам. Так, новый русский суд, в счастливую минуту нашей истории, явился продуктом творчества нашей бюрократии.

/14/ 3-я Государственная дума в момент своего созыва застала в Государственном совете в роли преобладающей группы, так называемую группу центра. Группа эта, далеко не однородная по своему составу, объединилась, однако,

общностью признания Манифеста 17 октября и других актов Верховной Власти освободительной эпохи как предустановленных основ предстоящей преобразовательной работы.

/15/ На эту группу, составлявшую имеете с левым крылом решающее большинство, правительство могло опереться при проведении своей программы реформ. Между этой группой и тем думским центром, тоже пестрым по своему составу, который представлял большинство в Государственной думе, при всем различии политических оттенков был известный контакт, была общая почва, язык, возможность взаимными уступками создавать соглашения. **Ряд новых назначений, последовательно, из года в год, проведенных в однородном направлении, постепенно, но решительно передвинул центр тяжести в Государственном совете в сторону правого крыла.** Происходило не только механическое, численное усиление правого крыла, самый характер назначений был показателем, какое политическое направление было в данный момент в милости. А это, естественно, должно было влиять на те неустойчивые элементы, которые издавна привыкли сообразовывать свой курс с господствующим направлением атмосферных течений.

/16/ Получалось тяжелое впечатление какой-то двойственности: с одной стороны, все оставалось как будто по-старому. Манифест не был отменен, обещания не были взяты назад, правительство, с соизволения власти, продолжало разрабатывать и вносить законопроекты со ссылками на акты освободительной эпохи, законопроекты, носившие определенную печать этой эпохи; с другой стороны, с соизволения той же власти, **последовательно усиливались те элементы, которые нисколько не скрывали своей непримиримой вражды к новому политическому строю и к тем представителям правительства, которые были на его стороне, элементы, учитывавшие и Манифест**

17 октября, и другие однородные акты верховной власти как легкомысленные или малодушные уступки, вырванные либо силой, либо обманом, элементы, которые поставили своей задачей толкать власть к государственному перевороту и охотно предлагали свои к тому услуги.

/17/ Главные усилия реакции были направлены на первых порах не столько против народного представительства, сколько против главы правительства, который являлся стойким сторонником нового государственного строя и в своей программе преобразований, сделавшейся задачею его жизни, стоял на почве новых начал. Характерным моментом этой борьбы явился памятный эпизод с законопроектом о штатах Морского Генерального Штаба. Это была проба сил. Удар был умело подготовлен, умно рассчитан. Он был направлен в то место, которое является жизненным нервам всякого государственного человека России. **Опасный человек был побежден и надломлен. Надо было повторить тот же удар. И удары посыпались.** Вы помните ту сложную интригу, которая разыгралась вокруг вопроса о введении земства в западных губерниях. Вы помните ту роковую ошибку, которую допустил П. А. Столыпин, — его мимолетная победа обратилась для него в окончательное поражение. Кампания, которая велась против этого выдающегося государственного деятеля, заслуги которого перед государством и монархинею громадны, находила себе вдохновение и поддержку в тех безответственных, впеправительственных течениях, которые совершенно правильно видели в нем для себя непримиримого и опаснейшего противника. В сторону этих течений все более передвигался политический центр тяжести. Возвышения и падения людей, важные события государственной жизни шли уже мимо правительства, имея иные скрытые, но более мощные источники. **Правительство понемногу теряло ту легкую конституционную окраску, которая**

содержалась в идее объединенного кабинета. Мы возвращались к традициям личного режима с его худшими аксессуарами.

/18/ **Борьба Столыпина с этими реакционными течениями, которые он считал гибельными для России и для монархии, окончилась его поражением.** Еще задолго до его физической смерти наступила его политическая предсмертная агония. И киевская катастрофа вызвала чувство радости, во всяком случае, облегчение не в одних только революционных кругах, откуда был направлен выстрел; не в одном только лагере русских радикалов смерть этого крупного борца была учтена как успех, ибо выбыл из строя опаснейший противник. Несомненно, что если были люди, которые направляли предательский выстрел, то были и другие, которые ему не мешали. Сенаторская ревизия и ее исход только подтвердили подозрения и догадки.

/19/ Борьба, в которой изнемог такой исполин, как Столыпин, конечно, оказалась уже совсем не по плечу его преемникам. Вряд ли даже с их стороны были сделаны к тому серьезные попытки: слишком грозным и предостерегающим примером стояла перед ними судьба их предшественника. Надо съежиться, надо казаться маленьким, опасно противодействовать, избави Бог — заслонять. Только этой ценою можно удержаться у власти, ценою самоупразднения. **И правительство упразднило себя, правительство капитулировало по всей линии.**

/20/ Всем памятно, при каких условиях проходила избирательная кампания в 4-ю Думу. **Правительством был составлен и приведен в исполнение грандиозный план фальсификации выборов.** Правда, план этот в некоторых своих частях потерпел неудачу, и поэтому к нему принято относиться с некоторой снисходительной иронией. При этом забывают, что, с другой стороны, неудачу плана приписывают

непоследовательности исполнителей, отклонением от намеченной системы. Правительственная избирательная кампания обнаружила с полной очевидностью, куда клонился правительственный курс. Нередко именно против октябристов было направлено острие административных воздействий: сводились счеты и с партией, которая и в моменты сотрудничества с правительством держалась вполне независимой позиции, сводились счеты и с отдельными членами партии, не угодными центральной власти или местной администрации. Борьба правительства против октябристов на выборах в IV Думу была, во всяком случае, характерным эпизодом в этой истории одной попытки со стороны русского общества к совместной работе с правительством.

/21/ Результаты успеха, одержанного реакцией, сказались очень скоро. **Иссякло государственное творчество.** Глубокий паралич сковал правительственную власть: ни государственных целей, ни широко задуманного плана, ни общей воли. На их место выступили борьба личных интриг и домогательств, личные счеты, ведомственные трения. **Государственный корабль потерял свой курс, потерял всякий курс, зря болтаясь по волнам.** Никогда авторитет правительственной власти не падал так низко. Не вызывая к себе ни симпатий, ни доверия, власть не способна была внушить к себе даже страха. Даже то злое, что она творит, она творит подчас без злой воли, часто без разума, какими-то рефлекторными судорожными движениями. В характеристике правительства недоставало только элемента комического. И этот смешной штрих умудрилось оно прибавить, вызвав дружный хохот всей России, трагический хохот.

/22/ Правда, есть еще такие ведомства, которые по инерции и в силу случайно благоприятных обстоятельств продолжают свой, когда-то в иных условиях намеченный, план работ, но и они встречают в центральном правительстве

в лучшем случае безразличное равнодушие, а чаще недоброжелательство и противодействие. **Правда, в торжественных случаях произносятся иногда старые, знакомые слова, но им уже никто не верит, не верят ораторы, не верят и слушатели.**

/23/ Развал центральной власти отразился, естественно, и полной дезорганизацией администрации на местах. Осуществилась действительно какая-то административная децентрализация, но в карикатурной форме. На почве этой своеобразной автономии местные власти в расчете на безнаказанность, как бы угадывая виды центрального правительства, довели свой произвол до невероятных пределов, переходя подчас в озорство.

/24/ Вполне естественно, что при таких условиях власть очутилась совершенно одинокой, брошенной всеми: ведь реакция, во всех своих видах, лишена всяких корней в стране, если не считать тех вскормленных за счет казенного пайка политических организаций, которые декоративными стягами стараются прикрыть свое бессилие и ничтожество. Общественные симпатии и доверие, бережно и с трудом накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от правительства его преемников. **Кончился медовый месяц.**

/25/ Но паралич власти сказался не только внутренним развалом. Разыгрались мировые события громадной, исторической важности. Перед Россией открывались широкие горизонты, создавались небывало благоприятные, новые международные комбинации. Исторические заветы России, ее реальные политические интересы, ее честь и ее польза требовали, чтобы она, как великая славянская держава, сыграла решающую роль в этом мировом кризисе. Россия, бодрая, сильная, здоровая Россия, верная своей истории и верящая в свою будущность, такая Россия выполнила бы свой

долг. Но то же состояние **прострации и маразма,** которое вызвало внутреннее омертвение нашего государственного организма, сковало наши движения, обессилило нашу волю и извне. Наша внешняя политика, бездарная и малодушная, не только упустила все те выгоды, которые, помимо нас, чужими усилиями, волей, наконец-то, благоприятной нам судьбы, открывались перед Россией, но и потеряла все прежние позиции, которые были завоеваны в прежние царствования неисчислимыми жертвами русского народа. Не следует от себя скрывать, что те бескровные, но все же **поражения, которые Россия понесла в течение Балканского кризиса, имели громадное влияние на формирование общественных настроений,** особенно в тех общественных кругах и народных массах, для которых великодержавная роль России является центральным пунктом их политического символа веры, отодвигая на второй план вопросы о недочетах нашей внутренней жизни.

/26/ Каков же будет исход того тяжелого кризиса, через который мы ныне проходим? Что несет за собой надвигающаяся реакция? Куда ведет нас правительственный курс или, вернее, отсутствие всякого курса? **К неизбежной тяжелой катастрофе. На таком общем прогнозе сходятся все люди самых противоположных политических верований, самых разнообразных общественных групп, сходятся с редким, небывалым единодушием.** К этому прогнозу готовы присоединиться и сами носители власти, на которую падает главная вина перед русским народом, и их официальный, обязательный для них оптимизм плохо скрывает их внутреннюю тревогу.

/27/ **Когда обрушится эта катастрофа? В каких формах она явится? Кто может это предсказать! Один с радостным ожиданием, другие с жуткой тревогой вглядываются в эти горизонты. Но ошибутся те, которые**

рассчитывают, что на развалинах повернутого строя водворится тот порядок, который отвечает их политическому и социальному мировоззрению. В тех стихиях, которые могут взять верх в надвигающейся борьбе, я не вижу тех устойчивых элементов, которые могли бы обеспечить какой бы то ни было прочный государственный порядок. Не рискуем ли мы скорее попасть в полосу длительной, хронической анархии, которая приведет государство к распаду? Не переживем ли мы опять смутное время, но уже при иной, более опасной внешней политической обстановке?

/28/ Оглядываясь ныне назад на пройденный нами короткий, но поучительный политический путь, мы должны признать, что попытка, сделанная русским обществом в нашем лице, попытка сближения с властью дружной с ней работы в деле проведения в русскую жизнь начал, признанных самою властью, **попытка мирного, безболезненного перехода от старого, осужденного уклада к новому строю — потерпела неудачу.** Сотрудничество наше было честное и лояльное, без излишней требовательности, без задней мысли. Октябризм удержал свою позицию до конца, выполняя договор даже тогда, когда с другой стороны наступила заминка в выполнении обязательства. Пока держалась вера в искренность власти и ее добрую волю, мы могли быть снисходительны к ней и терпеливы, мы делали уступки, давали отсрочки, мы могли ждать, ибо оценивали всю трудность положения, мы видели те помехи, среди которых билась сама власть.

/29/ Да, попытка октябризма примирить эти две вечно враждовавшие между собою силы, власть и общество потерпела неудачу. Но был ли октябризм ошибкой, исторической ошибкой, которую можно было бы поставить в вину русскому обществу и, в частности, нам, его творцам. Виноваты ли мы

в том, что, поддаваясь естественному оптимизму, навеянному на нас эпохой, мы поверили обещаниям власти, облеченным в торжественную форму государственных актов. **Наш оптимизм потерпел поражение.** Но ведь вся история этих годов есть одна цепь неудач и поражений. Мы только напрасно будем искать, кто же удачники и кто же победители. Ведь в **русской драме, заполнявшей собою истекшее десятилетие, потерпели неудачу все участники, последовательно сменявшие друг друга на политической сцене: реакция и революция, радикализм и социализм, национализм и либерализм.** Теперь на подмостки вновь пробирается реакция, а может быть, и реставрация. Но обеспечен ли ей успех и надолго ли?

/30/ Если октябризм разделил со всеми политическими попытками последних лет общую неудачливую судьбу, то все же исторической ошибкой он не был. Русскому обществу не было бы оправданий, если бы оно в момент грозной опасности для государства отказало в своей поддержке власти, которая, казалось, убежденно и решительно пошла на те преобразования, которые давно уже были намечены общественными требованиями. Такой момент лояльной поддержки правительственной политики со стороны общества должен был найти себе место в истории освободительной эпохи. Изолированное правительство было, естественно, обречено на неудачу в своих реформаторских попытках. И таким путем создавалось бы для него слишком легкое оправдание для возврата к старому порядку. **Но если следует признать историческою необходимостью, а не ошибкой октябристский опыт сотрудничества с правительством ради общности целей, то было бы ничем не оправдываемой ошибкой, если бы этот опыт продолжался и после уроков прошлого, и при изменившемся новом порядке вещей.**

/31/ А в настоящее время мы действительно стоим перед совершенно изменившейся политической обстановкой, не имеющей, в сущности, ничего общего с той, при которой слагалась наша партия и определялась наша тактика. **Мы стоим лицом к лицу уже не с той властью, с которой мы договаривались. Договор уже не нарушен, а разорван.** Если раньше, при всех недочетах преобразовательной деятельности правительства, страна могла быть спокойна, по крайней мере за основное приобретение освободительной эпохи, за народное представительство, с которым связана вся будущность России, то в современном политическом курсе мы должны признать прямую угрозу конституционному принципу и начало полной ликвидации эры реформ. Мы знаем, что вопрос о строе поставлен как очередной вопрос если не самою правительственною властью, то в тех внеправительственных кругах, которые сильнее самого правительства. Сановники, делающие карьеру, наперерыв угодливо предлагают свои планы государственного переворота, а себя в их исполнители. Будет ли это открытый и крутой переворот с изменением самого характера народного представительства и его компетенции? Или это будет роспуск Думы, не сопровождающийся новым созывом? Не остановятся ли на более робком и мелком, но и осторожном решении вопроса, путем частичных разъяснений, установления прецедентов от случая к случаю, мало-помалу сузить права народного представительства? Может быть, не отваживаться пока на нарушение законов, а созвать Государственную думу еще раз на почве существующего избирательного закона, но с применением, на этот раз последовательным и неуклонным, всего того грандиозного аппарата, которым располагает правительство для массовой фальсификации выборов.

/32/ **Что же должно делать русское общество перед лицом этой опасности, угрожающей уже не тем или иным реформам, а самой реформе, ее жизненному центру, идее народного представительства?** Что должны делать политические партии, поставившие себе задачей обновление России на тех началах политической свободы и социальной справедливости, которые нашли себе выражение в актах Верховной Власти освободительной эпохи? Что может и должна делать Государственная дума, поставленная доверием народа на страже целости государственного строя?

/33/ Правда, **ценой покорности, малодушных уступок, унизительных соглашений, быть может, и удалось бы народному представительству купить себе отсрочку под условием замкнуться в повседневной, будничной, мелкой работе и не дотрагиваться до великих государственных проблем.** Прошла бы пора безвременья, просветлились бы горизонты — и народное представительство, благополучно пережившее эту тусклую эпоху, сохраненное как явление нашей государственно-правовой жизни, могло бы вновь занять властное положение в нашем государственном строе и развернуть широкую творческую работу. Но сберегла ли бы себя Дума даже этой ценою? И разве это не было бы политическим самоубийством народного представительства, крушением самой его идеи в народном сознании? А тем временем неудержимо шел бы гнилостный процесс разложения нашего государственного организма, убивая жизненную ткань, накапливая элементы смерти и тления.

/34/ Перед Государственною думой, которая верна своему долгу перед государем и государством, есть только один путь. Если другие органы власти являются малодушными попустителями, а может быть, и преступными соучастниками, то Государственная дума должна взять в свои руки защиту

дела русской свободы и незыблемости нашего государственного строя. Все орудия своей власти, всю силу своего авторитета должна она отдать этому делу. Как ни ограниченны, казалось бы, те боевые средства, которыми располагает наше народное представительство, все же и они не все и не в полной мере нашли себе применение. Во имя долгожданной политической свободы, в защиту конституционного принципа, в борьбе за реформы должны быть использованы все легальные средства парламентской борьбы: свобода парламентского слова, авторитет думской трибуны, право запросов, право отклонять законопроекты и прежде всего бюджетные права, право отклонять кредиты.

/35/ На поддержку со стороны народного представительства должно рассчитывать только такое правительство, которое явилось бы прежде всего надежною порукою, что оно не станет орудием государственного переворота и что оно возьмет на себя выполнение той широкой программы либеральных реформ, которая нашла себе выражение в важных государственных актах освободительной эпохи. В этих актах именем Верховной Власти утверждались принципы конституционного строя правового порядка, провозглашалась незыблемость основ гражданской свободы, обещались гарантии неотъемлемости дарованных благ этой свободы, высказывалась забота о поддержании престижа Государственной думы и об обеспечении подобающего ей значения, проводилась правильная мысль, что правительство не должно являться элементом противодействия решениям Думы, признавалась важность установления нормальных отношений между Думою и Государственным советом, путем преобразования Совета на началах видного участия выборного элемента, внушались властям на всех ступенях прямота и искренность в утверждении гражданской свободы

и в установлении гарантий этой свободы, намечались, наконец, основные линии экономической политики, направленной ко благу широких масс.

/36/ Сравните эти прекрасные, возвышенные слова, целиком выхваченные из важного правительственного акта, сопровождавшего Манифест 17 октября, с современною действительностью и современным правительственным курсом, и **вы увидите ту кривую падения, которую описала за истекший короткий промежуток времени русская правительственная власть.** Подобрать эту брошенную авторами программу, «принять ее», как значилось на подлинном в высочайшей отметке, «к руководству», понудить правительство к ее выполнению — такова очередная задача и важнейший долг Государственной думы.

/37/ И именно на нас, октябристах лежит прежде всего этот долг. Когда-то, в дни народного безумия, мы подняли наш отрезвляющий голос против эксцессов радикализма, но в дни безумия власти именно мы должны сказать этой власти серьезное слово предостережения. Мы когда-то верили и призывали к вере, мы терпеливо ждали — **теперь мы должны заявить, что нашему терпению пришел конец, одновременно с нашею верою.** Нельзя оставлять в данный момент за профессиональной оппозицией, за радикальными и социалистическими партиями монополию оппозиции против власти и принятого ею гибельного курса, ибо это создавало бы опасную иллюзию, будто власть борется против радикальных утопий и социалистических экспериментов, между тем как она противодействует проведению самых умеренных и элементарных требований общества, получивших когда-то признание со стороны самой власти. Перед грядущей катастрофой именно мы должны сделать эту последнюю попытку образумить власть, открыть ей глаза, вселить и в нее ту тревогу, которою мы полны, ибо мы

представители тех имущих, буржуазных классов, которые всеми своими жизненными интересами связаны с мирной эволюцией государства и на которые в случае потрясений обрушится первый удар.

/38/ Кто явится союзниками октябризма в этой борьбе за основы реформы и в Думе и вне Думы? В нашей молодой политической жизни политические партии еще далеко не вышли из стадии формирования, и их группировки все еще находятся в переходном, флуктуирующем состоянии. В пределах тех задач, которые ставит себе в данный момент октябризм, и в пределах тех средств борьбы, которые ему свойственны, он примет всякую помощь. Но общность опасности и общность противника, сходство в тактических приемах, рассчитанных на данный момент, не могут лишить октябризма его самостоятельного характера. В основу октябризма легло совершенно определенное **мировоззрение,** не кабинетным путем, не на партийных конференциях выработанное, а **выношенное в течение долгих лет русскою жизнью, определенными течениями русской общественной массы, сложившееся около культурной работы русской либеральной буржуазии,** преимущественно в области местного самоуправления. Из этого мировоззрения естественно вытекла та программа, которая явилась как бы учредительным актом октябристской партии. Программе этой отвечают определенные решения тех главнейших задач русской жизни, которые стоят перед современным поколением. И общность тактики данного момента не будет в состоянии преодолеть и даже прикрыть тех точек различия, тех глубоких демаркационных линий, которые отделяют октябризм от других русских общественных течений и дают ему свое важное и самостоятельное место в общей экономии русских политических партий.

/39/ Будет ли услышан наш голос? Дойдет ли наш крик предостережения до тех высот, где решаются судьбы России? Заразим ли мы власть нашею мучительною тревогою? Выведем ли мы ее из состояния того сомнамбулизма, которым она охвачена? Хотелось бы верить. Во всяком случае, **это наш последний шанс для мирного исхода из кризиса. Пусть не заблуждаются относительно народных настроений, пусть не убаюкиваются внешними признаками спокойствия. Никогда еще революционные организации, добивающиеся насильственного переворота, не были в таком состоянии разгрома и бессилия, и никогда еще русское общество и русский народ не были так глубоко революционизированы действиями самой власти; ибо с каждым днем все более теряется вера в эту власть, а с ней и вера в возможность нормального, мирного выхода из кризиса.**

/40/ Ведь очередная опасность в данный момент — не в партиях переворота, не в антимонархической проповеди, не в антирелигиозных учениях, не в пропаганде идей социализма и антимилитаризма, не в агитации анархистов против государственной власти. **Историческая драма,** которую мы переживаем, **заключается в том, что мы вынуждены отстаивать монархию против монарха, церковь против церковной иерархии, армию против ее вождей, авторитет правительственной власти — против носителей этой власти.** Мы как будто завязли в полосе общественного уныния и апатии, что есть состояние пассивное, — но от него лишь один шаг к чувству отчаяния, которое представляет уже активную силу громадного разрушительного действия. Да отвратит Господь Бог от нашего отечества эту грозную опасность.

А. И. Гучков

Совершилось то, что предчувствовало общество и во что не верило правительство, убаюкивающее царя уверениями, что народ на его стороне и что вся оппозиция объясняется жаждой власти.

Высланные против народа солдаты повернули ружья и дали залп по монархии. События пошли с чрезвычайной быстротой, и переворот завершился крушением монархии и провозглашением начала народовластия. Судьбы страны должны решиться Учредительным собранием, а до его созыва высшая государственная власть передается Временному правительству. В состав этого правительства А. И. Гучков вошел в качестве военного и морского министра.

8 марта 1917 года в Петрограде, в зале городской думы состоялось многолюдное собрание, созванное целым рядом общественных промышленных организаций, с Центральным военно-промышленным комитетом во главе. В этом собрании А. И. Гучков ответил на многочисленные приветственные речи.

Речь, произнесенная военным и морским министром А. И. Гучковым в заседании Центрального военно-промышленного комитета, с участием всех общественных и промышленных организаций в Александровском зале Петроградской городской думы 8 марта 1917 года

Дорогие друзья мои и сотрудники этих последних тяжелых лет! Может быть, в этом именно собрании менее всего нужно говорить «слова», ибо мы с вами тесно сжились за эти годы дружной работы, и мы привыкли понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда.

Может быть, слов и не надо было бы. Но я обращаюсь не только к вам: через головы ваши, через ваши сердца и ваши уста я обращаюсь ко всей необъятной России, которая в наших умах и сердцах занимает такое великое место, к которой несутся все наши помыслы, ради которой мы готовы и жить работая, и умереть страдая *(аплодисменты)*. Господа, почему наши военно-промышленные организации сыграли ту роль, которая выпала на их долю за эти последние дни? Нет ли какого-либо противоречия, какой-либо неувязки между первоначальными основными задачами, которые поставила себе русская общественность, создав два года тому назад военно-промышленные комитеты и раскинув громадную сеть нескольких сот организаций по всей России, и — вот этим концом, этим участием наших организаций в событиях последних дней. Два года тому назад, о чем напомнил нам один из моих предшественников на этой трибуне, когда старая власть в борьбе с врагом окончательно доказала свою неспособность, когда тяжкие неудачи на Карпатах, унесшие сотни тысяч драгоценных русских жизней, доказали

всем, не только близоруким, но и слепым, что старая власть не в состоянии вывести Россию из тяжелого положения, создались под измором, и при энтузиазме русского общества те организации, которые приняли название военно-промышленных комитетов. Может быть, многие из вас припомнят, что на первом нашем учредительном собрании в мае 1915 г. я с большим волнением, принимая почетное избрание в председатели Центрального военно-промышленного комитета, сказал немало тяжелых, пессимистических слов относительно той задачи, которую принимала на себя русская общественность.

Я знал эту старую власть, с которой мы вынуждены были пойти на сотрудничество, и знал, как мало могли мы рассчитывать на ее сочувствие и на ее поддержку. Создалось странное положение — русский народ и русское общество; навязывали свою помощь и свое сотрудничество власти, которая в этой помощи и в этом сотрудничестве нуждалась, страшно нуждалась и в то же время боялась и чуждалась их. Для меня было ясно, что при такой комбинации, когда один человек протягивает руку помощи, а другой убирает свою руку назад, сжимает ее даже в кулак, никакого сотрудничества быть не могло, могло быть только нечто обратное. Мы должны были это предвидеть, но я думаю, мы не ошиблись, когда все же пошли намеченным путем, хотя заранее этот путь был осужден на серьезные неудачи. И вот, два года тесно переплетенной совместной работы с властью и ее органами окончательно убедили нас всех, руководителей вашей организации и всех наших сотрудников, что при наличии современной власти победа для России невозможна, что приходится включить в нашу программу сотрудничества с властью и помощи войне необходимость свержения этой власти, ибо только при этом условии являлись шансы на победу. И вот каким образом деловая, спокойная, промышленная — хотя и военно-промышленная — организация, задавшаяся скромной,

честной, лояльной целью сотрудничества с властью, приняла ту боевую, вооруженную позицию, которую пришлось принять, чтобы выполнить нашу основную и заранее поставленную задачу — добиться победы *(аплодисменты).* Когда были арестованы наши товарищи — рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета, — то я вместе с моим другом и ближайшим сотрудником, А. И. Коноваловым, отправились к представителям старой власти и сказали им: мы с вами в прятки не играем, мы честно и открыто скажем вам то, что есть. Мы не были революционной организацией, когда мы создавались; вы были не правы, когда преследовали нас и организацию в ее совокупности, и отдельные группы наших членов и, наконец, отдельных наших членов как государственных преступников и революционеров. Но мы сделались таковыми: это вы нас такими сделали, потому что мы пришли к заключению, что «только без вас Россию ждет победа» *(бурные аплодисменты).* — И вот каким образом мы, мирная, деловая, промышленная, хотя и военно-промышленная, организация, вынуждены были включить в основной пункт нашей практической программы переворот, хотя бы и вооруженный. *(Бурные аплодисменты).* Господа, если я по правилам старого историка начну анализировать те элементы, из которых создался этот громадный исторический факт — переворота, то я должен был бы отметить в нем одну своеобразную особенность. «Этот переворот был подготовлен и совершен не теми, кто его, видимо, сделал, а теми, против которых он был направлен» *(голоса:* правильно, *бурные аплодисменты),* — заговорщиками были не мы — русское общество и русский народ, заговорщиками были представители самой власти *(бурные аплодисменты).* И если иногда, среди трагических дней, которые мы переживаем, все же хочется подчас пошутить, то я сказал бы, что почетным членом русской революции мы должны были бы избрать А. Д. Протопопова *(бурные аплодисменты).*

Господа, этот переворот является не результатом какого-то умного и хитрого заговора, какого-то комплекта, работы каких-то замаскированных заговорщиков, которых искали во тьме ночной агенты охранки. Этот переворот явился зрелым плодом, упавшим с дерева. Он явился неизбежным результатом стихийных исторических сил, которые выросли из русской разрыхленной почвы. Это — историческое явление, и в том, что этот переворот является не искусственным творением и не результатом работы какой-то группы заговорщиков, как это было, окажем, в младотурецком или младопортугальском перевороте, кроется, по-моему, гарантия его незыблемой прочности (*голоса:* верно, браво). «Не людьми этот переворот сделан и, поэтому, не людьми может он быть разрушен» (*голоса:* правильно, правильно, *бурные аплодисменты).* И поэтому мы должны заставить проникнуть не только в наше индивидуальное сознание, но и постараться всеми средствами, которые в нашем распоряжении, — ораторскими, трибуной, прессой, просто беседой за чашкой чая, — внедрить в общественное сознание убеждение, твердое и глубокое, «что наша позиция незыблемо прочна и что никто, никакие заговорщики мира не смогут нас сбить с нее» *(бурные аплодисменты).* Это сознание, устраняющее всякие опасения, всякую подозрительность, открывает перед нами возможность смелой, свободной, спокойной и широкой работы. Мы можем, не оглядываясь подозрительно и боязливо ни направо, ни налево, начать опять ту нормальную работу во всех областях нашей народнохозяйственной жизни, без которой этот переворот не имеет смысла. Кончена первая важная стадия в этом историческом явлении, кончено разоружение старой власти. Правда, обломки являются еще всюду, осталось лишь подмести их и, может быть, совсем вымести из нашей русской жизни *(бурные аплодисменты).* Но это — мелкая, черная работа, тогда как перед нами открывается другая великая работа — творческая, для которой

требуются все гениальные силы, заложенные в душе русского народа. Итак, господа, «главная наша очередная задача — это устроить и упорядочить нашу внутреннюю жизнь, и притом устроить ее незамедлительно, быстро, работая не покладая рук». Этого требуют, прежде всего, интересы нашего народного хозяйства, жизненные интересы государства и народа; и если они не будут удовлетворены, то это поведет к тяжким, быть может, роковым последствиям. Но этого требует и другое обстоятельство — наше международное и военное положение. «Господа, враг близок, враги у ворот!» Тот несомненный паралич, конечно, временный, который за эти дни борьбы и суматохи охватил хозяйственные функции нашего народного организма, до известной степени сковал наши силы, естественно, делает нас на некоторое время — я не скажу беззащитными, но, во всяком случае, несколько слабыми. «Только при том условии, что мы быстро овладеем собой и наладим нормальную работу во всех областях народной жизни, можно будет создать те орудия и средства, без которых невозможно ни ведение войны, ни победа». И поэтому, победив нашего врага — старую власть, мы теперь должны еще победить самих себя. Мы должны овладеть собой, «вернуть себя к спокойной, нормальной жизни и начать скучную, будничную, повседневную, но великую плодотворную работу в области народного труда» *(бурные аплодисменты).* Один из наших деятельных сотрудников по Центральному военно-промышленному комитету, инженер Фролов, совершенно правильно указал, что «упрочение нашего нового строя на началах свободы и права возможно только при условии доведения войны до победоносного конца», т. е. до разгрома той цитадели политической реакции и мирового гнета, каким являлась всегда прусская монархия. Поэтому «недостаточно ограничиться только узкой задачей одной обороны — мы должны построить и упрочить эту оборону на разрушении той цитадели, которая стоит в Берлине

и из которой всегда исходил лозунг гнета и реакции» *(голоса:* правильно, *бурные аплодисменты).* Господа я и мои друзья, А. И. Коновалов и М. И. Терещенко, не прощаемся с вами сегодня. Мы пытаемся только установить новые формы нашего сотрудничества с вами. Отныне иными путями пойдет наша совместная работа, и эта работа будет, конечно, более тесной, более искренней и более плодотворной, чем это было в предшествующие годы *(голоса:* верно). В этом деле налаживания нормальной жизни все вы можете помочь нам, и не нужно отдаваться чувству ложной скромности и говорить себе, что я, мол, бессилен, занимая то или иное скромное положение, помочь стране в этой громадной задаче. Я не хотел бы, чтобы досужие остряки поймали меня на том, будто я думаю сравнивать себя с Ллойд Джорджем. Но сейчас мне вспоминается одна уэльская сказка, которую этот поистине замечательный человек рассказал в одной из своих речей, обращенных к рабочим. Говоря о том, как каждый должен гордиться своим сотрудничеством в большом национальном деле — государственной обороны, в каких бы формах и размерах это сотрудничество ни выражалось, он рассказал следующую трогательную сказку. Какая-то волшебница сказала одному человеку, что его заветная мечта будет исполнена в том случае, если он успеет за ночь до рассвета подобрать те зерна пшеницы, которые были рассыпаны на пространстве большого поля. И вот этот человек в недоумении остановился, как выполнить эту непосильную задачу. Но в это время он увидел большой муравейник и обратился к муравьям с горячей мольбой помочь ему. И муравьи его выслушали и обещали ему свою помощь, и все дружно впряглись в работу и честно работали всю ночь без устали. И вот уже стало рассветать, сейчас блеснет первый луч. И вдруг человек увидал, к своему ужасу, что там, среди поля, осталось еще одно, одно только зернышко, зернышко, которое могло свести на нет весь успех этой упорной, дружной ночной работы; зернышко,

в котором таилась гибель его мечты. Но в тот же миг он увидал маленького хромого муравья, который торопился туда, чтобы захватить это последнее зернышко. Этот хромой муравей успел его схватить и унести, и мечта этого человека-мечтателя была исполнена. И вот, господа, если личная скромность, к которой, впрочем, я всякого призываю, заставит кого-нибудь из вас сравнить себя с хромым муравьем, то, припоминая эту уэльскую сказку, скажите себе: даже эта скромная оценка обязывает вас, обязывает хотя бы на роль этого хромого муравья. И к этой скромной, трудолюбивой муравьиной работе, которая осуществит нашу давнишнюю мечту, мечту о великой России, я призываю вас и через ваши головы всю Россию *(бурные аплодисменты).* Еще одно последнее слово, господа: я верю в то, что Россия при новых условиях выйдет из того невероятного тяжкого положения, в которое она поставлена была старой властью и тем болезненным, но неизбежным и спасительным переворотом, который сверг и обезоружил эту власть. Но эта уверенность во мне крепнет только потому, что я со всех сторон вижу, как проснулись дремлющие, окованные и угнетенные народные и общественные силы, как из богатой русской почвы полезли со всех сторон новые чудесные ростки. «Никогда, не было еще такого энтузиазма в работе, такой готовности отдать себя всецело нашей родине, как в этот момент». И с этим добрым словом веры в светлое русское будущее, при условии, чтобы русский народ взял свою судьбу в собственные руки, я обращаюсь к вам, с этой светлой верой и я работаю, и от вас, дорогие друзья мои и дорогие сотрудники последних тяжелых лет, я жду и могучей помощи в этой работе и нравственной поддержки *(бурные аплодисменты, перешедшие в овацию).*

А. И. Гучков

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л. Троцкий
Гучков и гучковщина

Сотруднику одной петербургской газеты Гучков прямо сказал: «Петух должен перед восходом солнца прокричать, а взойдет ли оно, или нет, это уже не его дело». Слова эти Гучков про себя сказал, про свое киевское выступление с оппозиционной резолюцией. Сравнение с петухом надо, разумеется, «понимать духовно», и, во всяком случае, надлежит представлять себе при этом не русского петуха, — ибо тогда в голову полезет мысль, что Гучков петушится, — а галльского петуха, у которого самое кукуреку выходит под марсельезу. Но самое привлекательное в выступлении Гучкова, им самим истолкованном, это нравственный стоицизм и абсолютное политическое бескорыстие. Не потому Гучков предложил свою резолюцию, чтобы «это было кому-нибудь на руку, или кому-нибудь пришлось не на руку». Играть кому-либо в руку, — помилуйте, разве это вообще в нравах Гучкова? («Не на таких я правилах основан-с», как говорит Аполитка у Островского.) Он, Гучков, просто выполнил свой нравственный долг, не останавливаясь мыслью на практических последствиях. Он перешагнул через всякие партийные интересы. Ибо что такое партии! Преходящая пена перед лицом вечных нравственных начал. «Пена» — Гучков так и сказал. Петух должен пред восходом солнца петь, повинуясь петушиному категорическому императиву. А взойдет ли солнце, или нет, он не в ответе. Fais ce que dois, advienne que pourra![7] — Совершенно ясно: Гучков стал на точку чистого кантианства в политике. Откуда бы это? — соображает озадаченный россиянин. Ведь руководящим правилом Гучкова и гучковщины в политике было старое московское наше, из-за прилавка вынесенное, не обманешь, не продашь. И вдруг от этого

---

[7] Выполняй свой долг, а там будь что будет! *(Фр.)*

в высшей степени утилитарного руководящего начала сразу махнуть на высоты абсолютного долга, одним, так сказать, прыжком от козлиной бороды — к Канту!

Может быть, тут влияние Петра Струве? — догадывается обыватель-идеалист. Ведь года три тому назад отчаявшийся октябристский философ Гарт требовал для русского народа новой морали, «прочно сдерживающей индивидуальные и групповые стремления к самонасыщению», и взывал к новому неведомому «славянскому Канту». Не сыграл ли г. Струве и впрямь за спиною реакции этой благодетельной роли? Может, он посредством кружковой пропаганды привил московской плутократии мораль категорического императива и тем ограничил ее «стремление к самонасыщению»? И, может быть, кружковый период закончился, и Гучков признал своевременным перенести воспринятые начала в большую политику?

Прежде, чем удалось разрешить этот вопрос, обнаружилось, что предутренний крик Гучкова прозвучал не в пустыне, — немедленно же послышался мелодический отклик Маклакова. Почтенный депутат настойчиво предлагает всем оппозиционным силам примкнуть к программе Гучкова, которую он, согласно доброму старому, но увы! совершенно пустопорожнему методу, приравнивает к общему политическому коэффициенту, подлежащему выведению за скобки. «Соглашение (на программе Гучкова) наверно распадется после первой победы, — разъясняет г. Маклаков, — но предварительно эту победу доставит». Стало быть, за восход солнца Маклаков ручается вполне.

Г. Маклаков — политик особенный. Главный ресурс его политики состоит в способности «в последний раз» питать надежду на вразумление начальствующих и им услуживающих. «Последняя надежда» у Маклакова вроде неразменного рубля: начальствующие не вразумляются, а последняя

надежда остается. Предъявлять такую надежду, ввиду самой деликатности ее, приходится всегда с проникновенной искренностью, так, чтобы, например, г. Кассо, вернувшись домой из Думы, вынужден был сказать себе: «Вот Маклаков все еще надеется на меня, в последний раз надеется, и если я надежды сей не оправдаю, то отравлю навсегда его душу»...

Но так как сессия следует за сессией, и прения повторяются, то, во избежание убийственной монотонности, г. Маклаков вынужден предъявлять в Думе искренность все большей и большей силы напряжения. В этом его тяжкий крест, ибо находить все новые и новые вибрации надеющейся из последнего и уже почти отчаивающейся искренности, — это, согласимся, нелегко. Зато в ореоле этой концентрированной искренности он как бы возносится над всеми партиями. В чтении его речи производят нередко такое впечатление, будто глазами слушаешь по нотам «Молитву Девы».

Пьеса, бесспорно, несколько устарелая, но не лишенная привлекательности. Было бы, однако, ошибочно думать, будто эта трогательная мелодия проникнута нравственным платонизмом. Нет, в ней совершенно явно звучит тоска девы по оплодотворению. Так и в политических речах г. Маклакова. Можно не разделять его «последней надежды» и не заражаться его искренностью, но нельзя не слышать, как настойчиво тоскующая дева оппозиции зовет к себе мужа власти. Само по себе это в порядке вещей. Странным только может показаться, почему именно выступление Гучкова, который сам отводит вопрос о практических последствиях, в такой мере оживило «последнюю надежду» Маклакова. Это противоречие мы уже отметили выше. В противовес кантианцу-Гучкову, Маклаков выступает, как политический утилитарист. От союза с Гучковым он ждет не отвлеченных нравственных благ, а практических результатов, непосредственной, ближайшей победы, и он ни на минуту не сомневается, что союз «эту победу доставит».

Получается такое qui pro quo[8].

— Во имя практических завоеваний откажемся (временно!) от программы, т. е. от того, что считаем нашим долгом, — предлагает г. Маклаков, — и станем под киевское знамя Гучкова.

— Я не потому развернул это знамя, — говорит г. Гучков, — чтобы надеялся на практические завоевания, а потому, что хочу выполнить свой долг!

Не нужно, однако, это противоречие брать слишком трагически, ибо цену гучковскому кантианству мы ведь знаем достаточно, как и цену самому Гучкову. Из породы малых «великих людей», Гучков попал у истории в случай, потому что ей нечем было заткнуть дыру бесплоднейшей

---

[8] Недоразумение *(лат.)*.

и бездарнейшей эпохи. Гучков не произнес на своем веку ни одной значительной политической речи, не написал ни одной статьи и уж, конечно, не совершил ни одного действия, которое можно было бы записать в книгу общественного развития. В качестве исторической затычки он присвоил себе внешнюю значительность оговорками к чужим действиям, речам и статьям. Гучков всегда ходит вокруг да около, глубокомысленно молчит, а если говорит, то обиняками, уклоняется, где можно, от голосования, или ретируется в трудную минуту на Дальний Восток. Воплощение политического паразитизма, он хотел пользоваться всеми выгодами, какие давал ему и его клике режим 3 июня, стремясь в то же время свести к минимуму свою ответственность за этот режим. Но это ему не удалось и не могло удастся.

Разве же не Гучков на глазах всей страны состоял в течение всей черной эпохи усердным компером из общества при бюрократии, — как при фокусниках бывают помощники «из публики»? 3 июня, скорострельные суды, поход на Финляндию, поход на поляков, поход на евреев, — везде и всюду Гучков свою руку приложил если не как инициатор, то как соучастник или злостный попуститель. То, что характеризует истекающую эпоху: надутый, как пузырь, патриотизм и радение родному человечку; героические удары в грудь и жирные концессии; разнузданное бахвальство ничтожеств; грубое щеголяние физическим «мужеством» при полном отсутствии мужества нравственного; эксплуатация самых низменных и диких инстинктов под прикрытием джентльменского сюртука; и наконец лживость и лживость на каждом шагу, — все это одним своим концом упирается в Гучкова. И ненависть к Гучкову тем сильнее и законнее, что он ведь призван был и явился олицетворением начала земщины при опричине. Гучковщина — это гниль и ложь,

это подобострастное пресмыкательство перед торжествующими и глумление над разбитыми, затравленными.

И когда этот Гучков вносит оппозиционную резолюцию, «не задумываясь» о том, кому она на руку и кому не на руку, когда этот непримиримый рыцарь принципа не хочет Коковцева отличать от Кассо и Щегловитова, а, наоборот, главный свой удар направляет на Коковцева, — то слишком наивно думать, что он, Гучков, просто «ищет популярности», — где он найдет ее и что она даст ему? — Нет, можно безошибочно предположить, что он ищет завоевания каких-то весьма конкретных позиций, ключ к которым находится в руках у министра финансов. Но все равно. Какими бы мотивами ни руководился Гучков: действительно ли он заносит на всякий случай левую ногу через борт третьеиюньского корабля, или же, как думаем мы, пробует лишь паразитически использовать начавшийся общественный подъем для давления на прижимистого государственного казначея (а деньги теперь так дороги и биржа в них так нуждается!), — это по существу дела ничего не меняет. Гучков есть Гучков. Это имя звучит, как эхо целой эпохи и как политический приговор.

Кто с благодарностью и надеждой заглядывает в глаза Гучкову за его оппозиционный жест, кто верит Гучкову, кто строит на Гучкове, кто призывает набросить покров забвения на то, чего забыть нельзя, тот совершает тягчайший грех перед будущим страны.

Г-н Маклаков, случайный политик из хороших адвокатов, хочет «первой победы» и не знает к ней другого пути, как приспособление к гучковскому приспособленчеству. Между тем, путь к первой, и ко второй, и к третьей победе один: оздоровление общественного сознания. Ликвидация политического наследства реакционной эпохи предполагает в первую голову ликвидацию нравственного октябризма, очищение общественной совести от растлевающего духа гучковщины.

В. М. Дорошевич
Премьер
Завтрашняя быль (Фантазия)

Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь.

«Женитьба»

I

А. И. Гучков стал министром-президентом.

Во вторник об этом появилось в «Правительственном Вестнике».

Когда князю Тугоуховскому сказали…

Кн. Тугоуховский не читал «Правительственного Вестника» за либерализм.

— Как терпят? Подобную газету в двадцать четыре часа следовало бы!.. А редактора… как это?.. Колымски разные есть. В Колымск его! Помилуйте, скажите! Мещанское ходатайство печатают! Читаю раз: Мещане города Зарайска ходатайствуют об изменении закона. Читаю два: Мещане города Сольвычегодска выражают недовольство губернатором. Свистопляска-с.

Когда кн. Тугоуховскому племянник крикнул в ухо:

— Слышали? Гучков, Александр Иванович, московский купец…

Кн. Тугоуховский спросил:

— Ну?

— Министр-президент!!!

— А Гучков тут при чем? Колокол пожертвовал?

— Какой колокол! Слышите? Министр-президент!

— Ну, слышу! Министр де купец! Но что министр с купцом сделал? Из Москвы выслал? Или новую колокольню велел построить?

— Ах, дядя!

— Или на ведомство Марии?

— Сам он министром-президентом сделался!

— Уйди ты! От тебя вином пахнет! Болтаешь, болтаешь, а что — не поймешь!

Так кн. Тугоуховский и не узнал новости.

Княгиня Марья Алексевна, к которой устремился весь Петербург узнать, что она будет говорить, улыбнулась «своей обычной» улыбкой.

Она улыбается этой улыбкой уже два года.

Князь Святополк-Мирский произнес:

— Доверие!

И княгиня Марья Алексевна улыбнулась.

Улыбка, полная печали и скромности.

Она говорит:

— Не наше дело!

В ней нет ничего, кроме печали, которую стараются побороть всеми силами души.

Но она убийственнее всякой иронии.

Княгиня Марья Алексевна улыбнулась «своей обычной» улыбкой:

— Что ж! Сначала были мы. Теперь — купцы. Потом будет какой-нибудь ремесленный старшина. Бойкий ярославец, который у Казанского собора апельсинами торгует. «Пожалте, барыня, у нас покупали!» А потом министром-президентом будет господин Аладьин. Босиком!

Княгиня Марья Алексевна была в полной уверенности, что г. Аладьин в Государственной Думе ходил босиком.

Ее разуверяли:

— Что вы, ma tante[9]! Он даже всегда в перчатках!

— Оттого, что рук не моет! Ему десять рублей в день дали, — он и купил себе в Гостином дворе перчатки. Лучше бы мыла!

Княгиня Марья Алексевна вздохнула и закончила:

— Со ступеньки на ступеньку!

Загорецкий спросил:

— Граф Гучков?

— Какой граф? Просто — Гучков!

Загорецкий улыбнулся:

— Значит, без фигового листика? Витте… тот тоже в этом роде был… Вешал когда-то!

— Он никого раньше не вешал!

— Не кого, а что. Кого-нибудь вешать, — этим благородные люди занимались. А он товары какие-то на железной дороге когда-то вешал. Того для приличия все-таки хоть в графы сначала произвели. «Министр-президент граф». Все-таки, приличие было соблюдено.

А Скалозуб, услышав новость, «свой хохол заправил», тоже улыбнулся и густым басом, со смешком, спросил:

— Реформист? Драть как будет: по-прежнему или к шпицрутенам вернется?

II

Доримедонт Парфеныч, швейцар министерства, не торопясь отложил «Правительственный Вестник», не торопясь снял золотое пенсне, не торопясь погладил свои длинные, выхоленные седые бакенбарды.

И даже слегка, чрезвычайно благовоспитанно, зевнул.

— Двадцать восьмой!

---

[9] Тетя *(фр.)*.

— Как-с? — почтительно спросил его департаментский чиновник, жених дочери Доримедонта Парфеныча.

— Двадцать восьмой министр при мне сменяется! — приподняв брови, медленно ответил Доримедонт Парфеныч. — Три у меня были министры-президенты. Остальные двадцать пять — так, просто… внутренние. Которых схоронил, которые сами поуходили.

— А как вы… папаша… на основании вашей опытности, — и департаментский чиновник с беспокойством заерзал, — как вы… то есть… предполагаете, большие перемены по нашему ведомству будут?

Доримедонт Парфеныч посмотрел на чиновника, — как нечто вечное смотрит на нечто зыбкое, колеблющееся, могущее быть унесенным капризом ветра.

Так дуб посмотрел бы на былинку.

Он помолчал.

— Больших перемен не предвижу!

Наступило благоговейное молчание.

— А долго, думаете, папаша, они пробудут в их высокопревосходительствах? — почти прошептал, словно молился, будущий зять.

Доримедонт Парфеныч пожевал губами.

И вместо ответа, после приличной паузы, сказал:

— В полиции не служил!

Чиновник даже взвизгнул от папашиной мудрости и от собственной догадливости:

— Ясно-с!

Он ожил весь:

— Ежели человек в полиции даже не был, какое же у него может быть административное образование? Это все равно, что про человека сказать: «который в семинарии даже не учился!» Самое обидное замечание! Грамоте не зная, в профессора! Хо-хо-хо! Какой же может быть министр…

Но Доримедонт Парфеныч посмотрел на взыгравшего будущего зятя сурово и тяжело.

Он не любил бурных проявлений чувств.

Тот смолк.

— Министры дело преходящее. Жильцы!

Он осмотрел стены комнаты, словно с удовольствием убеждаясь, что стены казенного здания прочны.

— Министры приходят и уходят. Наше дело, чтобы пока они здесь, доставить им полное удобство: мы — здешние. Министры меняются, мы остаемся. И всегда должны быть готовы ко встрече следующего. На следующем, тридцатом, думаю свой министерский юбилей праздновать!

Так говорил в своей швейцарской квартире Доримедонт Парфеныч, швейцар министерства, и каждое слово его было солидно и веско.

А А. С. Суворин в «Новом Времени» писал:

— «Говорят, в "Правительственном Вестнике" читали, что премьер-министром назначен А. И. Гучков».

Прочитав это место, секретарь редакции задумался и сказал:

— Надо пойти указать старику это! Нескладно!

Но г. Юрий Беляев, большой эстетик, любитель «этаких настроений», сказал скучающим и расслабленным тоном:

— Оставьте! Это стильно! Что-то старческое. Патриарх! Рисует картину: в вольтеровском кресле, старик, полудремлет. Оставьте!

А г. Борей, сложив на груди ладони рук, молился:

— Как хорошо пишут Алексеи Сергеичи!

Во множественном числе, — это уж из почтения.

Г. Суворин писал:

— Гучков человек молодой. Это хорошо. Я тоже был молодым человеком. Всякий человек бывает молодым. Не лишать же его

за это прав? Говорят, он ездил к бурам и дрался с англичанами. Это тоже я нахожу недурным. Буры — молодцы. С кем, говорят, поведешься, от того и наберешься. С молодцами поведешься, сам молодцом станешь. А англичан всегда вздуть надо. Они возят адреса, но ошибаются адресом. Это каламбур. Они везут адрес русскому народу, а отдают его кадетам. Как будто весь русский народ состоит из одних кадетов. И словно англичане хотят нам сказать: «Это хорошо, господа, что вы — кадеты. Желаем вам быть всегда кадетами и никогда не выходить в офицеры, — а то, выйдя в офицеры, вы можете поколотить нас на афганской границе». Это, — насчет «кадетов» и «офицеров» тоже с моей стороны каламбур. Но если бы я был нашим министром иностранных дел, я бы задал этот вопрос официально «их морским могуществам» и создал бы дипломатический инцидент. Это, конечно, шутка. А дело в том, что Гучков заведовал в прошлую войну военным госпиталем и был даже в плену у японцев.

Это, я нахожу, тоже хорошо. Даже, пожалуй, лучше всего. Японцы — макаки. Но опростоволоситься бывает полезно и перед макаками. Это между прочим. А уметь перевязывать раны полезно. В России тоже не мало нужно перевязать ран. Это, разумеется, аллегория. Но что нынче аллегория, а что действительность, ей Богу, не разберешь!

А. Суворин

III

Оппозиционные столичные газеты старались одна перед другой.

Все сходились в названии.

Одни называли г. Гучкова:

— Вторым Столыпиным.

Другие:

— Столыпиным вторым.

Но одна говорила:

— Это то же издание, но простонародное. Г. Столыпин это было издание хоть на веленевой бумаге. А это — на серой оберточной.

Другая находила:

— Г. Гучков поставил свои бланки на двух векселях г. Столыпина. С валютой — «реформы» и с валютой — «кары». Из них г. Гучков уплатит сполна только по второму, а первый вексель, — долгосрочный! — завещает уплатить своему преемнику.

Третья «горьким смехом своим смеялась»:

— Г. Гучков, бесспорно, оригинальный человек. Обыкновенно сначала нагрешат, а потом исповедуются. Г. Гучков сначала всенародно «исповедовался», а потом уж принялся грешить.

Так, свободно, писали в столицах.

В провинции…

В провинции мучилось родами общественное мнение.

Передовик, мужчина с очень длинными волосами, вопил, махая длинными руками:

— Но, ведь, это сикофант!

Редактор с испугом оглядывался и останавливал его шепотом:

— Ради Самого Бога, без иностранных слов! Предупреждал вас, кажется, что в сторожах я не уверен. Сторож Сережка… черт его знает! Не то он анархист, не то сыщик. Жалованья получает шесть с полтиной, а каждый день пьян. Или он в свободное время казенные винные лавки разбивает, или от полиции получает. Так каждую секунду и жду. Либо он мне «руки вверх» крикнет, либо меня на цугундер потащит. Услышит незнакомое слово — заподозрит. Долго доложить: «у них про новые взрывчатые вещества речь идет»?

— Великолепно-с! — орал передовик и обращался к другим сотрудникам:

— Товарищи!

— Авдей Никонович, — приседал даже от ужаса редактор, — не себя, семью мою пожалейте! Сережка рядом в комнате! А вы этакое слово!

— Коллеги! — соглашался передовик. — Неужели же мы не выскажем своего мнения, неужели не отзовемся? Ведь с 17 октября…

Но тут редактор уже смело подходил к передовику.

— Я вам сколько раз повторял, чтобы вы не говорили мне о 17 октября?

И передовик чувствовал, что сказал глупость.

И сконфуженно умолкал.

И другие сотрудники смотрели на него с укоризной:

— А еще передовые пишешь! Эх, ты!

И редактор решал:

— Мы свое мнение из столичных газет перепечатаем. С указанием источника. Позовет временный…

Он никогда не добавлял: генерал-губернатор.

Из опасения Сережки.

— Позовет временный. «В 24 часа»… «Да разве это наше мнение? Это мы из чужой газеты перепечатали. Как курьез, ваше превосходительство. Тут и вопросительный с восклицательным знаки должны были быть. Они только в печати не вышли». И ничего! На двести рублей оштрафуют или неделя ареста. Только и всего!

Иностранная печать…

«Matin» сообщал телеграммой от собственного корреспондента, что:

— Против нового министра-президента monsieur[10] Гучкова открыт уже обширный заговор.

---

[10] Месье *(фр.)*.

А какая-то английская газета сообщала, что мистер Гучков «при взрыве разорван на множество частей».

Рента колебалась.

Кого-то, где-то, за что-то арестовывали.

IV

Хоть этого известия и ждали давно, но в Москве оно произвело впечатление потрясающее.

Как всякий горожанин, например, ждет всегда пушечного выстрела, а все-таки пушечный выстрел заставляет вздрогнуть всех.

Купец Стоеросов, сидя у Бубнова, говорил, расплескивая рюмку водки, своему куму:

— Кум! Кум! Нет, ты сообрази только! Его высокопревосходительство купец Гучков! Кому письмо? Его высокопревосходительству купцу Гучкову! Слыхано?

На что кум говорил:

— Н-да!

И пил рябиновую.

— Рассеей… Рассеей, кум, кто заправляет! Всей Рассеей! Купец Гучков!

Кум говорил:

— Алексеев, градский голова, царство ему небесное, в гробу перевернется! Амбициозный был человек, а не снилось!

Стоеросов плакал:

— Кум!..

У биржевого купечества, которое «постародавнее», как-то выпятились животы.

А «полированное» ходило со страшно озабоченными лицами.

Словно каждого назначили в министры.

— «На лице такое рассуждение!»

И как будто у каждого под пальто портфель.

Один «рассчитал» даже балетную корифейку, с которой был в добрых отношениях:

— Нельзя-с. Надо слабости, — и горько! — но оставлять. Того и гляди тут в министры попадешь! Надоть биографию почистить!

Среди коммерции советников, — но, главное, коммерции советниц, — шел гул:

— Министр-президент кто?

— Купец Гучков!

— А кадеты в чьем доме впервые собирались!

— В купеческом.

— Позвольте! Какие кадеты! Г. Горький! Революционер! Кто за него залог внес, когда его арестовали?

— Купец Морозов!

— Оппозиция, революция, охранение! Все через купеческие руки идет. Все к купцам. Все от купцов. Все через купца.

И в купеческих головах гудело:

— Купец все может!

И кружились купеческие головы.

Какой-то «купеческий племянник», взятый за буйство в публичном месте, в участке, прищурившись, глядел на околоточного, писавшего протокол, улыбался пьяно-мефистофельской улыбкой и пренебрежительно спрашивал:

— Чего-с?

— Звание ваше?

— Звание?

— Сословия какого?

— Сословия! Пишите: «министерского». Купец!

В Большом театре шел «Князь Игорь», и когда г. Шаляпин, в роли Владимира Галицкого, спел:

— «Я б им княжество управил!»

Из трех выпивших купеческих лож раздались аплодисменты.

Крики:

— Брава-а!

— Биц!

— Выывести!

— Неприкосновенность…

— Бей!

— Товарищи!

Произошла демонстрация.

На площади появились казаки.

В четыре часа утра Стоеросов сидел у «Яра» и, хоть был в кабинете один, плакал и говорил, расплескивая шампанское:

— Кум! Кум! Телеграмму ежели? Из-за адреса! «Его высокопревосходительству купцу Гучкову». Кум! Кум!

А толстый метрдотель, нежно склонившись над ним, уговаривал:

— Василь Степаныч! Нехорошо! Ей Богу, нехорошо!

Стоеросов посмотрел на него стеклянными глазами:

— Кто я такой?

— Василь Степаныч.

— Зови меня просто: его высокопревос… превысокосвоспре… высокоходи…

И заснул.

А из соседнего кабинета слышалось:

— Нас призвали, и мы им не управим? Мы? Не управим? Мы?

— Урррa!!!

V

В деревне было тихо.

Говорили:

— Это где горит?

— Надоть быть, у Ветлугина барина.

— Ветлугины не в той стороне!

— Ну, значить, Черемшевы хутора!

И расходились по избам.

Сам Александр Иванович Гучков…

VI

— Когда мы с Сигмой создавали торговые сношения России с Персией… — раздавался в приемной громкий и неприятный голос.

Говорил литератор Кантонистов, один из «столпов» казенной газеты «Россия», поправляя на шее орден.

Истиннорусский человек, за «истиннорусское человечество» чуть-чуть было не проскочивший в камер-юнкеры, — но на ожиревшем лице которого — увы! — в очертаниях толстого носа, губ начинали вырисовываться еврейские черты кантонистов-дедов.

Приемная его высокопревосходительства г. премьер-министра Александра Ивановича Гучкова была полна.

Граф Свидригайлов, представитель «союза русского народа», чувствовал себя, видимо, в приемной премьер-министра, как у себя.

Держался свободно, по-хозяйски.

Покровительственно подавал руку чиновникам.

Он говорил в группе, слушавшей его с благоговением.

Говорил веско:

— Вчера я видел нашего министра…

Подчеркнул:

— Нашего министра.

— Гучкова? — спросил кто-то.

Граф взглянул на него через плечо с сожалением.

Повторил внушительно:

— Нашего министра!

И снисходительно пояснил:

— Графа Петра Аркадьевича!

— А-а!

— Кувейтский султан, можете себе представить, и говорит нам с Сигмой... — раздавался голос литератора Кантонистова, поправлявшего орден.

Князь, — «кадетский князь», — молча стоял у окна, и в ясных, на выкате, глазах его не было даже скуки.

Ничего, кроме спокойствия.

Чувствовалось: заставь его ждать в приемной хоть 62 часа, — ничего, его достоинство не потускнеет.

В нем чувствовался родственник того князя, которому сказали:

— В тюрьму посадят!

— Что ж! Первый дом будет в городе, раз я там буду сидеть.

Крупный, породистый, выхоленный...

Когда он ехал к министру, встречный мужичонка, пришедший в Питер на заработки, с удовольствием посмотрел на него и хозяйственно тряхнул головой:

— Н-да! Это выкормыш!

От него веяло учтивостью.

Такой учтивостью, что обиднее всякой дерзости.

Словно все кругом были свежевыкрашенные столбы.

И он осторожно ходил около них, боясь, чтобы не испачкаться.

К нему подлетел чиновник и сказал, мотнув головой на кабинет министра:

— Долго, однако, заставляет дожидаться!

Князь учтиво улыбнулся ему:

— Да? Вы торопитесь?

Чиновник отлетел, чтобы в какой-то дальней группе злобно прошептать, кивая на князя:

— Какой он Рюрикович? Позвольте! Они даже вовсе и не Рюриковичи, если на то пошло!

Чиновники скользили между посетителями без обычной уверенности.

Они нервничали. Волновались. Были в тревоге.

Жорж Дорси, специальный корреспондент парижской газеты «Le Soir», за время революций и реакции успевший выучиться и говорить и ругаться по-русски, интервьюировал одного из чиновников.

— Что ж он, monsieur Гучков? Он теперь величествен? Ведь он теперь его… его… как это у вас называется?

— Высокопревосходительство!

— 24 буквы. За два слова на телеграфе платить придется! — вздохнул француз. — Что же, он теперь важен? Производит впечатление?

— Ничего не могу вам сказать! Ничего не знаю! Первый прием! Никто еще министром не видел! Первый выход! — отвечал чиновник и с осторожностью добавил:

— Я вам ничего не говорил, monsieur Дорси! Помните! Я вам ничего не сказал?

В голосе его слышалась тревога.

— Почнете, так сказать, министра! — хихикнул кто-то из чиновников около графа Свидригайлова. — Вы первый. Первым записаны!

Граф взглянул на него с той же надменностью и с удивлением.

Словно хотел сказать:

— А ты, дурашка, думал, что может быть иначе?!

И сухо и коротко обрезал чиновника:

— Я знаю!

— Когда мы с Сигмой впервые увидели Монт-Эверест… — звучал голос Кантонистова, который поправлял орден.

Перед маленькой, сморщенной старушкой, сидевшей в уголке, одетой во все черное, с трясущейся головой, стоял чиновник.

И у старушки и у чиновника лица были безнадежные.

— Говорю я вам, сударыня, напрасно будете дожидаться! — говорил чиновник.

— Как первых министров сделали, — к четвертому хожу! Каждый день! На Аптекарском острове чудом уцелела! — говорила старушка.

— И этот вас принять не сможет! И теперь очередь не дойдет! Ведь посмотрите! Граф, князь, г. Кантонистов, заведующий казенной газетой… казенной газетой, поймите! Гласностью! Общественным мнением!.. Г. Жорж Дорси, европейский корреспондент, представитель европейского общественного мнения… Ну, когда же вас? — говорил чиновник.

— Губернское правление говорит: нужно в казенную палату. А казенная палата говорит: надо в губернское правление. Что ж мне-то делать? Пенсия после покойного мужа… — говорила свое старушка.

— До вас ли тут?! — с отчаянием восклицал чиновник. — Первый прием! Направление всей политики! Руль, так сказать, перекладывают!

— К четвертому хожу! — с не меньшим отчаянием восклицает старушка.

Ее окружили и чиновники и не чиновники.

— Действительно, сударыня, напрасно будете сидеть!

— Я год сижу!

— И два просидите! Вам дело говорят! Сами посудите! Такое ли время? До вас ли теперь?

— В таком случае, господа, не иначе, как вы держите руку Хлобустевича! — отвечала старушка, обозлившись, с еще более дрожащей головой.

— Какого Хлобустевича? — с отчаянием спросил кто-то.

— А помощника правителя канцелярии губернатора, — она уже начинала кричать. — Сами знаете, какого Хлобустевича!

Все только махнули рукой.

И отошли от старушки прочь.

«Кадетский князь» посмотрел на нее своими спокойными, светлыми глазами.

Эта просительница, жалкая, бедно-одетая, — лезущая со своими интересами, когда здесь политика! — до которой никогда не доходит очередь, — здесь в приемной премьер-министра.

— Словно олицетворение России! — подумал князь.

И на губах его шевельнулась улыбка.

— «Досидит, быть может, когда я буду в этом кабинете. И мне придется… и мне не придется ее принять?! Не дойдет до нее очередь!»

— Когда мы с Сигмой в первый раз увидели министра Петра Аркадьевича… — звучал голос Кантонистова, который поправлял на шее орден.

И вдруг прервался и смолк.

В приемной стало тихо-тихо.

Из кабинета быстрыми шажками вышел чиновник.

Подошел к графу Свидригайлову и, тревожно улыбаясь, сказал:

— Вас просят!

Граф принял величественный вид и вступил в кабинет премьера.

VII

— Вашему сиятельству! — раздался из-за стола веселый голос.

Граф Свидригайлов взглянул и даже остановился.

Александра Ивановича Гучкова перед ним не было.

Ясного и спокойного Александра Ивановича, говорившего о пулеметах, как о погоде.

Как о дурной погоде. Не без сожаления, но с покорностью:

— Что ж, мол, делать!

Корректнейшего, выдержанного Александра Ивановича.

За огромным письменным столом, заваленным бумагами, сидел…

— «Гостинодворец!» — с ужасом даже подумал граф Свидригайлов.

Глаза смотрели весело, с лукавой, гостинодворской, усмешечкой, левая рука крутила кончик бородки, правая перебирала пальчиками по государственным делам, словно по фактурам.

Граф сделался еще величественнее.

— Прежде всего, позвольте вам принести поздравление…

«Гостинодворец» весело перебил:

— Со всяким может случиться! Покорнейше благодарствую. Не с чем-с. Присесть милости прошу…

Граф стал еще торжественнее.

— Союз русского народа, насчитывающий три миллиона членов…

Александр Иванович стал серьезен.

Рука все барабанила пальцами по делам.

Он спокойно сказал:

— Скиньте!

— Виноват! Как?

Александр Иванович спокойно повторил:

— Скиньте!

Граф покраснел:

— Если какая-нибудь жидовская «Vossische Zeitung», издающаяся в жидовской стране Германии…

Александр Иванович улыбнулся и повторил:

— Скиньте, мол! Дело торговое!

— Дело не торговое, а государственное!

С лица Гучкова исчезла улыбка. Он посмотрел прямо, спокойными и холодными глазами:

— Тем меньше оснований… преувеличивать!

Граф вспыхнул:

— Тысяча извинений! Но люди не бараны-с! Их нельзя считать «по головам».

— Правильно-с!

«Гостинодворская» улыбка заиграла снова:

— Один Архимед стоит десяти тысяч учителей арифметики! Одначе Архимедов чтой-то у вас не видать. Но дело в этом не состоит!..

И…

— «Сплю я?» — в ужасе подумал граф.

Александр Иванович Гучков вынул из-под дел, — из-под государственных дел! — счеты.

— Все субсидий будут просить, — с улыбкой пояснил Александр Иванович, — так чтоб было на чем скидывать! У вас 45 тысяч человек…

И он положил на счетах 45 тысяч.

— Ложь!.. Виноват…

— Ничего-с… Или с походцем! Во всяком случае, цифра 45 тысяч ближе к истине, чем три миллиона. И, во всяком разе, на 140 миллионов цифирь, — хе-хе! — небольшая.

— Позвольте…

— Позвольте мне-с! — с купеческой учтивостью остановил Александр Иванович. — Очинно рад, что вы ко мне сами, попросту, без зова пожаловали, и мы можем договориться.

Начистоту! Я — человек происхождения коммерческого. У нас, коммерческих людей, принято дела вести начистоту. Ваш товар, наши деньги. И этот инструмент, — он указал на счеты, — мы очень обожаем. Без него ни в какое дело не идем. Мы-с от вас слышим одно: требования. Вы, господа, все требуете. Главари ваши требуют губернаторских, вице-губернаторских мест. Вы требуете: сегодня отдачи под суд министра, завтра духовной цензуры, послезавтра закрытия университета. Но все требуете! Только требуете! Вы желаете направлять политику, управлять действиями правительства. А это уж, извините, гонорарий партии, одержавшей победу! Что же вы сделали? Что мы от вас видим? Вы только кричите: «кликните клич, и мы»…

— Виноват! Истиннорусские люди…

— Господи! Да разве я вас немецкими людьми называю? Вы не только истиннорусские люди. Больше! Вы — истиннорусские мастеровые люди. Знаете, кровельщики! — «На чаек бы с вашей милости!» — «За что же еще, братцы? Крыша не покрыта! Стропил еще нет!» — «Да нешто нам долго! Да мы ядиным духом! А покеда на чаек следовает!» — «Вы все на чаек да на чаек требуете! А что сделано?» — «Нам нешто долго. Революцию единым духом!» А революция есть. Государственная Дума… у вас там адвокат есть… как его?

— Булацель?

— Какой там Булацель! Другой! Московский!

— Шмаков? Вы должны бы его знать! Алексей Семенович Шмаков! — внушительно произнес граф Свидригайлов.

— Он самый! — ничуть не смущаясь, продолжал Александр Иванович. — Шмаков господин! Я знаю, он у вас не генерал! Так, штабс-капитан, известный своей отчаянностью. Вы его в горячие дела посылаете. Пусть сражается, раз нравится. Вернется с шишками: «он это любит!» Однако он все-таки близко к вашему штабу стоит и, по отчаянности,

секретом обмолвился. Он прямо во все горло объявляет: «На выборах нам ни малейшей победы не одержать. Мы так и знаем». Это с тремя-то миллионами? Хе-хе-хе-с! Говорил вам: скиньте! Теперь и самим неловко-с! Итак: на выборах вы нам ничего дать не можете. На что же вы кому годны? Что же вы можете? Погром устроить? Не требуется. Курс роняет. Да если бы и потребовалось, без вас устроить можно. Почище-с… Да даже и погромы те же. И при них-с вы требуете… опять требуете!.. Чтоб вас войска от самообороны охраняли! Хе-хе-хе-с! Это, извините, еврейский анекдот напоминает. Город Бердичев — изволите знать? — в русско-турецкую войну вызвался батальон добровольцев поставить. Довели до сведения командующего округом. Представилась депутация. — «Похвально!» — «Только одна просьба!» — «В чем дело?» — «Воевать идти мы готовы, но только, чтобы нам солдат дали, проводить: около Бердичева собак очень много». На что же вы, спрашивается, способны? Отдельные безобразия учинять? Студента избить? Курсистку догола посередь улицы раздеть? Прохожих заставлять раздеваться и свидетельствовать: не еврей ли? Гимназиста избить? Конторщика, который с книжками идет, зарезать? Так и то только там, где предупреждают, что ежели хоть один волос с вашей головы упадет, «весь город жидовской кровью зальется». И то под защитой! Безобразие устроить публичное? Процессию ночью по улице? Весь город перебулгачить? Так и то под защитой полиции! Послушайте, ваше сиятельство! Мы говорим с глаза на глаз. Нас никто не слышит!

Граф почему-то даже оглянулся.

— Никого! Ежели бы вас одних, без защиты, оставить? Так ведь от вас мокрого бы места не осталось. И со стороны не революционеров, а просто обывателей, которые любят порядок и не любят безобразий.

— Литература наша воспитывает…

— Литература ваша — дрянь. Не говоря уже об ее дороговизне. Ее тюками покупать, чтобы задарма раздавать, нужно. Что же это за литература, которой никто читать не хочет? Задарма-то и объявления о резиновых калошах берут. Какая же ей цена, ежели за нее никто двух копеек платить не хочет? У нас на что «Россия», — так и на ту подписчики есть! И к тому же дрянь. Прямо вам говорю: совершенная дрянь! Вы пожалованных графов Иудами Сахалинскими называете, князей — Святополками Окаянными, министров изменниками ругаете, — последнее уважение к власти в простонародье подрываете. Так на представителей власти революционная литература не науськивала. Да нам ежели такая литература потребуется, — у нас свои писаки, все одно, на жалованье состоят. Они нам за то же жалованье такой литературы насочиняют! Что ваши «Дни» да «Вечи». Ведь не Толстым нужно быть, чтобы скверными словами ругаться!

— Мы — сила!

— Потому что вас терпят. Хороша сила!

— Однако, даже за границей…

— Да ведь нам не заграница. Нам Россия нужна! Плюнем на заграницы. Пущай их болтают! Мы-то, здесь, на месте сидючи, — мы-то с вами знаем, что вся ваша, по-заграничному, «сила» состоит только в том, что вас терпят. Подытожим! На счетах прикинем! Что же вы такое? Самая слабая партия, на выборах никаких шансов не имеющая, которая не только кого-нибудь от чего-нибудь охранять, которая сама в охране нуждается. За что же вы требуете? Нет-с! Вот ежели вы, господа, действительно составите партию. Да из членов, не «мертвых душ». Которым самим по полтиннику платить надо, чтобы они безобразничали, да револьверы давать, которые они потом революционерам по пяти рублей продают. А настоящих членов! С котировкой! Которые, — не будем уж

говорить о готовности «жертвовать жизнью», — по полтиннику в год способны были жертвовать на нужды партии. Как во всех партиях бывает, и без чего партий самых не бывает. Да доставите нам в Думе большинство. Тогда милости просим. Являйтесь и потолкуем. И требуйте! Ежели требования будут резонные, — поговорим. Ежели выше резонных, — виноват! — поговорят пулеметы. А до тех пор, извините, ни гроша!

Граф поднялся с места, весь багровый, и шумно отодвинул кресло.

— Итак… вы объявляете… война?

— Угроза?

Александр Иванович спокойно смотрел в глаза и ласково улыбался:

— Это уж не «литературой ли» опять пугаете?

— Закон о свободе…

— Ваше сиятельство, — и в голосе г. Гучкова послышалась жалость, — законы-то святы, да исполнители… Изволите знать народную мудрость? Законы о печати, — мой предшественник справедливо сказал иностранному корреспонденту, — «самые либеральные во всей Европе», да газеты-то «как мухи… выздоравливают». Юстиция у нас, ваше сиятельство! Сами знаете! Швах-юстиция. Самая революционная! Революционный трибунал. Послал ей, — а человек и без головы! Юстиции сказал «пиль», — она и возьмет. А у вас там: и возбуждение одной части против другой, и другая уголовщина. Пуговку нажал, и зазвонило во всех концах! Не успели оглянуться, — газет ваших ни одной нет. Аресты да обыски да розыски: кто где да что да когда сделал. Уж одно запрещение носить оружие чего стоить! Вы подумайте! А вы лучше присядьте. Казенных, повторяю, ни копейки. И требований никаких: рано. Сначала сработайте, а потом и о «чаях» поговорим. Но… как в старину полицмейстеры говорили.

Вы знаете, прежде, — теперь, говорят, будто этого нет! — участковые пристава жалованья не получали. Только расписывались в получении. Так полицмейстеры говорили: «С частных же лиц можете брать». Вот тоже и я. У вас г. Пуришкевич иностранным корреспондентам говорил, что богатые аристократические лица вам помогают.

— Да еще, слава Богу, есть на Руси люди, готовые помочь в борьбе с революцией! Не все!

В голосе графа послышалась горечь.

Александр Иванович махнул рукой, — и предобродушно.

— С революцией! Я этого народа, сами знаете, не обожаю. Но отчаянная публика. Ежели бы вас с ними, господа, один на один выпустить… А ведь случай был-с! Хе-хе-хе!

И г. Гучков разлился мелким, самым гостинодворским, смешком:

— В декабре, в Москве. Чтой-то ваши баррикады не разбирали! В борьбе с революционерами не видать было-с. Войсками все! Дома сидели-с? А говорите: «Кликните клич, единым духом! Сметем!» Чего же не мели? Так улицы вами неметены и остались! Нечистота, баррикады! А уж на что клич был! На весь земной шар гудело! Нет уж, где там революция!

Лицо Александра Ивановича сделалось серьезно:

— А вот мирную публику вы нам припугните! Это вы можете. И этим будете очень полезны. «Вона, скажут, какие к власти лезут!» И рядом с вами мы такими либеральными покажемся! За милую душу, в объятия к нам кинутся! Так, значит, и решим. «С частных лиц, которые ежели дают, вы пользуйтесь». Существуйте! А казенных, извините, ни эстолько!

Александр Иванович положил на счетах четверть копейки.

— Не прогневайтесь!

Он убрал счеты под бумаги.

Граф снова поднялся.

— Виноват… Я не ожидал… Но должен до конца исполнить поручение… Там депутация от «истиннорусских людей»… желает представится…

— Бланк, желаете, чтобы поставил?

— Н-не понимаю…

— Бланк свой на вашей партии. Для учета у общества?

— Я вашего языка… виноват… не разбираю… Икону они хотят поднести… по русскому обычаю… принести поздравление…

Лицо Александра Ивановича стало серьезно и почтительно:

— Икону пусть оставят. Приложусь. Благодарю.

И снова «гостинодворская» улыбка зацвела, заиграла на лице:

— А поздравлять, прямо говорю, не с чем! В наше время со всяким может случиться! Нынче — я, завтра, может, вы! От министров никто не застрахован. Время такое. Хе-хе-хе-с! Не женился. Поздравлять не с чем. Да и я им не хозяин, они мне не приказчики. Что за поздравление «с началом дела»? Сделаю что путное, — поздравьте. Не удастся, — не осудите! А авансов «чаев» не люблю-с. Ни давать, ни получать! Икону, желаете, оставьте. Дело божественное. А за поздравление благодарю. Покеда с тем-с!

Граф приосанился и холодно сказал:

— Имею честь засвидетельствовать свое почтение!

Александр Иванович приподнялся на месте и с радушнейшей улыбкой ответил:

— До приятнейшего!

Граф вышел из кабинета.

«Черты его исказились».

Он с трудом дышал.

— Ну, что? — окружили его.

Он даже не пробормотал, простонал сквозь зубы:

— Купчишка!

Раздался звонок.

К «кадетскому князю» подбежал дежурный чиновник:

— Просят ваше сиятельство!

Тот, не спеша, так же спокойно, пошел в кабинет, как ждал у окна.

— Куда хочешь, — и все вот с тем же видом пойдет! — мелькнула мысль у многих.

— Рюрикович! — со злобой пробормотал семинар-чиновник, который говорил, что князь — не Рюрикович.

VIII

Премьер встретил князя на полдороге между дверью и письменным столом.

— Здравствуйте, князь!

Они вместе дошли до стола, в одно и то же время сели.

— Как здоровье вашего брата? — любезно осведомился Александр Иванович.

Даже на спокойном лице князя слегка приподнялась одна бровь от удивления.

— Очень вам благодарен!..

— Давно изволили пожаловать в Петербург? — продолжал любезнейше осведомляться Александр Иванович.

— Сегодня утром.

— Погода плохая!.. Долго изволите пробыть?

— Зависит от обстоятельств… Вы мне позволите приступить прямо к делу?

— Весь — внимание!

И Александр Иванович превратился весь во внимание.

— Я являюсь к вам по поручению конституционно-демократической партии…

На лице Александра Ивановича вдруг выразилось необычайное удивление.

Он взглянул на князя изумленнейшими глазами:

— Существует?

— Кто?

— Скажите! Я ведь думал, что она опасно заболела в Выборге и скончалась в Гельсингфорсе!

Князь улыбнулся учтивой улыбкой, какой воспитанные люди все-таки улыбаются неудавшейся остроте.

— Если вам угодно знать, существует ли конституционно-демократическая партия, — вам стоит только разрешить нам съезд!

Он снова улыбнулся:

— Хотя, конечно, если вы не разрешите съезда, — вы все-таки узнаете об ее существовании!

— Разрешить съезд?!

И Гучков вдруг расхохотался.

— Простите за смех… Но невозможно. Устраивать революцию «с разрешения начальства!» И еще говорят, что ваша партия не русская! Да что же более русского? «Революция с разрешения начальства!»

— Революция? — серьезно и спокойно спросил князь.

— Дело не в словах! Разрешить вам съезд? Видите ли! В 1902 году в итальянском королевстве гг. республиканцы захотели устроить съезд. Министром-президентом был Джиолитти. И вы знаете, что он им ответил? «Правительство предлагает членам республиканского съезда льготный проезд по казенным дорогам, каким пользуются члены всех научных съездов».

— Вы ничего не имеете против разрешения?

— Я сожалею, что не все железные дороги принадлежать казне, и я не могу предложит вам льготного, — бесплатного проезда. Но мне жаль вашей партии! Мой совет, — позвольте

его дать! — вам: собраться в Гельсингфорсе… Мое разрешение на съезд! Это будет похоже на разрешительную молитву, которую, знаете, кладут в руки покойнику. Гельсингфорс, — все-таки эффектнее. «Не разрешили! Боятся!» Да и место ваше… обычное. Занимайтесь русскими делами в Гельсингфорсе.

— Это, вероятно, очень остроумно, что вы говорите! — с вечным спокойствием сказал князь. — Но, дорожа вашим временем, я предпочел бы краткий и простой ответ!

Они смотрели в упор друг на друга.

Спокойно и невозмутимо было лицо князя.

— «Истукан!» — подумал Гучков.

В его глазах бегала злость.

— Позвольте мне, князь, поговорить с вами прямо! В ваших «кадетских» газетах… виноват!.. гг. сочувствующие вам публицисты, безо всяких, конечно, «приказов по армии», безо всяких, разумеется, «требований партийной дисциплины», — по собственному почину, по личному глубокому убеждению, будут разделывать меня на все корки, мне некогда будет отвечать… и читать! Позвольте мне заранее ответить. Прямо. Откровенно.

— Я боюсь только отнять у вас время, необходимое, несомненно, для государственных дел. Там…

Князь показал головою на приемную.

И в душе его шевельнулась печальная улыбка. Ему вспомнилась старушка в черном, с трясущейся головой.

— «Очередь не дойдет!»

— Подождут! — бесцеремонно ответил Гучков. — Все равно, день потерян!

— Благодарю вас. Вы очень любезны! — с улыбкой поклонился князь.

Александр Иванович покраснел.

Он волновался.

— Вашей партии нет! — почти выкрикнул он. — Не существует! Не существует! Слушайте! В 1792 году в Версале случилось то же, что случилось в Петербурге 9 июля 1906 года. Депутаты Национального собрания, явившись, нашли двери запертыми и у дверей военный караул. Тогда они, немедленно, отправились в здание для игры в мяч, здесь же, в Версале, и дали клятву: собираться, где бы то ни было и не расходиться до тех пор…

— Виноват! Я никогда не позволял себе сомневаться в ваших исторических знаниях. Но должен сказать вам, что то, что вы мне рассказываете, я узнаю не в первый раз.

— Виноват! Не поехали куда-нибудь в Дрезден. А здесь же! В Версале! 9 июля 1906 года депутаты, явившись в Государственную Думу, нашли двери запертыми и… поехали в Выборг! И создали Петра Аркадьевича Столыпина! Вот человек! Как умел распустить Думу! Все за голову схватились! Вот человек: опоздал родиться на 150 лет! Если бы в Версале тогда да г. Столыпин!!! До сих пор бы во Франции «ничего не было». Ни республики, ни консульства, ни империи, ни реставрации, ни второй республики, ни второй империи, ни коммуны, ни третьей республики! Ничего! И Наполеон Бонапарт дослужился бы, в самом лучшем случае, до полковника и умер бы на пенсии. Вы создали г. Столыпина и умерли сами! Настал момент! Быть может, единственный! Момент мученичества! Понимаете ли вы, что такое момент для мученичества? Момент, когда Гус всходил на костер и опрокидывал в своей стране католичество! Не в Выборге! А здесь! В первом попавшемся манеже! В зале городской думы! У Палкина!!! Где попало! Парламент, взятый приступом! Парламент, разогнанный штыками! Расстрел депутатов! Где бы, быть может, мы теперь были! История дала вам роль, какая редко кому — не каждое столетие! — достается на долю. Роль героев. А вы… в Выборг поехали! В Выборг поехали!

И Александр Иванович залился не то торжествующим, не то истерическим смехом.

— И ваш революционный призыв, — призыв людей, которые сами кровью его подписали… Это были бы не рыжие выборгские чернила!

— Вы второй раз изволите употреблять слово: революция, революционный… Разумеется, раз вы считаете партию революционной…

Князь сделал движение, чтобы подняться.

— Ах, мирное воззвание? К «пассивному» сопротивлению? К непротивлению? Толстовцы вы? Да? Не давать рекрутов? Чтобы по всей стране рассыпались воинские команды? Карательные экспедиции? Порки! Расстрелы! Это все мирное? Чтоб они мирно, «пассивно поролись», «пассивно расстреливались!» Вы первый удар себе нанесли, и смертельный, поехавши в Выборг. Второй удар, глубже, нанесли себе в Выборге. Вспомните, что сказал польский депутат иностранным корреспондентам, когда его спросили: «Почему вы, поляки, не подписали выборгского воззвания?» — «Положение наше и русских депутатов было различное. Если бы мы подписали, то наш народ, действительно, не стал бы платить налогов и отказался дать рекрутов, и было бы страшное кровопролитие. А они спокойно могли подписывать: знали, что из этого ничего не выйдет». И это правда. И вы сами подтвердили, что это правда! Когда? В Гельсингфорсе! Когда вы признавались, что народ не подготовлен еще к вашим пассивным сопротивлениям. Значит, — ничего бы из воззвания не вышло! Вы подтвердили это. Ах!

Г. Гучков даже застонал и схватился за голову:

— Вам запретили съезд! Какая глубокая, ужасная ошибка! Все равно, что умирающему, несомненно умирающему, дать какое-нибудь возбуждающее. Для чего? Чтобы на полчаса продлить агонию? Запретить вам съезд! В Москве надо было

разрешить! На Красной площади! Под звон колоколов! Умолять вас, чтобы вы его устроили! Чтобы вы всенародно крутились, — как, знаете, угорь на сковородке крутится! Как мыши в мышеловке! Мечется, выхода не найдет! И жалко и смешно! «Одобрит выборгское воззвание, но признать, что сейчас выполнение его несвоевременно». Когда? В октябре, ноябре рекрутов не давать несвоевременно? Когда же их не давать-то? Ведь, рекомендуя не давать рекрутов, и имелись в виду именно октябрь и ноябрь! Как же так: «несвоевременно!» У нас этого не может быть. Но среди нации, политически воспитанной, политически грамотной, политически понимающей, вас, господа, освистали бы при выходе из такого собрания. Всем народом освистали бы. Вы кончили с собой в Гельсингфорсе! Партия «народной свободы». Такой партии не существует! Партия! Которая не смеет крикнуть ни «долой революцию» ни «да здравствует революция!» И вы с самого рождения обречены были на гибель. Жизнь логична-с. В жизни, как в математике, все идет! Решайте задачу как Бог! Но если у вас в самом начале вкралась ошибка на единицу, — в результате получится ерунда! У вас в самом начале вкралась ошибка. Кто был ядром вашей партии? Первым ядром? Земцы, служилая интеллигенция. Помещики, которые кричат: «Долой помещиков!» Чиновники, которые кричат: «Долой бюрократию!» Это должно было кончиться ерундой! Обречено было на такой конец! Вы, господа, напоминаете мне девицу в одном рассказе Дьякова-Незлобина. Скверные рассказы, но попадаются, ух, какие верные страницы! Девица, помещичья дочь, ушедшая в «коммуну», на лежанке сидит, ногами болтает и поет: «Долго нас помещики душили…» Ненавижу я вашей партии… Виноват!

— Вам не в чем извиняться. Никто не обязан любить своих политических противников! Но… Вы любите сравнения. Позвольте и мне привести одно. В Лондоне есть знаменитый

портной Пуль. Портной принца Уэльского, теперешнего короля. Это было еще, когда король Эдуард был принцем Уэльским. Однажды на дерби принц увидал, что Пуль ищет себе места, и негде ему приютиться. Принц позвал его к себе в ложу. Очутившись в таком аристократическом обществе, г. Пуль, разумеется, счел долгом и разговор начать самый аристократический. — «Не правда ли, ваше высочество, не правда ли, господа, скачки стали уж не те? Не то общество!» Принц Уэльский предобродушно расхохотался: «Ну, милый Пуль, вы слишком требовательны. Нельзя же требовать, чтобы все люди были… портными». Нельзя же, Александр Иванович, требовать, чтобы все люди были…

Г. Гучков побледнел.

Слово «Гучковыми» висело в воздухе.

Князь учтиво улыбнулся и закончил:

— Октябристами!

Кровь бросилась Александру Ивановичу в голову.

— Я ненавижу вашу партию, как ненавижу все мертвое, все разлагающееся! Я люблю жизнь во всем. И в политике. Люблю политику жизненную, реальную. Дайте мне врага! Пусть будет бой! Но я не люблю на своем пути этих рассыпающихся партий, расползающихся глыб! Это затрудняет расчеты, ходы, игру, положение. Куда они расползутся? К каким партиям примкнут? Какие партии усилят? Какая новая комбинация создастся?

— Я воздерживаюсь от спора с вами, потому что не надеюсь завербовать в свою партию. Если вам угодно убедить меня перестать быть конституционалистом-демократом… Я боюсь отнять много времени у ваших просителей. Я просил бы ответа на вопрос.

Князь поднялся.

Поднялся и Гучков.

У Александра Ивановича лицо было в пятнах. У князя розовое, как всегда.

И в глазах Гучкова было бешенство:

— Барин!

Светлые, на выкате, глаза князя были ясны и спокойны.

И в душе он даже не бранился!

— Относительно разрешения…

Губы у Александра Ивановича подергивались.

— В Петербурге…

— Это нужно обратиться к градоначальнику. Он у нас либеральный. На днях… каким-то, чуть ли не гимназистам, кажется… собрание разрешил. Раз разрешил гимназистам, думаю, нет основания не разрешить и кадетам… Виноват за каламбур… Невольно!

Князь улыбнулся кроткой улыбкой:

— Пожалуйста! Я читаю «Новое Время». К остроумию привык!

Александр Иванович закусил нижнюю губу.

Князь поклонился:

— Простите, что отнял у вас столько времени. До свиданья.

— До свиданья, ваше сиятельство!

Князь чуть заметно улыбнулся:

— До свиданья, ваше высокопревосходительство!

И так же спокойно, словно уверенный в какой-то своей вечной правоте, вышел из кабинета.

Александр Иванович позвонил.

— Кто там еще? — чуть не крикнул он на вошедшего чиновника.

Тот даже вздрогнул от изумления при окрике и с изумлением посмотрел на лицо премьера, все пятнами.

— Граф…

Он назвал фамилию «мирно-обновленского графа».

— Ишь их! Куда ни сунься, все графы! — желчно усмехнулся г. Гучков. — Чисто среди стеклянной посуды ходишь! Что ни партия, то граф или князь во главе. Демократическая страна! Попросите!.. Постойте…

Он «ушел в дела».

Несколько минут просидел, наклонившись над бумагами, — и когда поднял лицо, оно было тихо, спокойно, глаза смотрели ясно, и с приветливой улыбкой он мягко сказал:

— Попросите ко мне графа.

И встал, чтобы встретить старика у самой двери.

IX

— Очень рад видеть ваше сиятельство! Прошу!

— Я приехал, чтобы выяснить, в виду предстоящей выборной кампании, условия, в которых придется бороться.

— Перед дуэлью измерить площадку. Прошу садиться.

— Какие воинственные сравнения! Я — человек военный и то так уж воинственно не думаю.

— Вы хотите знать, какую свободу, — или, если хотите, какие удобства мы предоставим будущей революционной партии? К сожалению, полные-с! Полные, ваше сиятельство. Потому что пока еще вы не революционеры. И стеснять вас нам, к сожалению, нет никаких оснований!

— Революционная! Революционеры! Позвольте! Что вы? Какой я революционер?

— Будете!

— Перестаньте!

— Неизбежно-с. Все будете уклоняться левее, левее. Политика наша вас будет толкать. Вы заметьте-с, ваше сиятельство. Ведь мы с вами, так сказать: «бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Вместе! А теперь какое между нами расстояние. Как вы полевели!

— Ну, до революции-то далеко.

— Ну, не совсем революция, так, оппозиция такая, что хуже всякой революции. Это пророком не надо быть, чтобы сказать, что в вашей партии мы бычка — хе-хе! — воспитываем, который нас ой-ой как бодать будет. Быть может, насмерть. С каждым днем леветь будете! И, может быть, я даже сильно вас влево толкать буду. Может, мне только это и предначертано в книге судеб: только всех влево двинуть!

— Ну, не до революции же! Нас-то!

— Кто знает! Камилл Дюмулен говорил, что даже в день взятия Бастилии, может быть, с ним вместе, в Париже было десять человек, которые думали о республике!

— Ну, какой я Камилл Дюмулен?

— С принципами человек.

— Как же без принципов, Александр Иванович? — спросил старик, улыбаясь. — Без принципов нельзя!

Александр Иванович смотрел на него прямо. И во взгляде его было что-то тяжелое.

Голос дрожал.

— И жизнь нельзя, ваше сиятельство, в готовые принципы, как китаянка ноги в колодку, вгонять! Калечить ее!

— Вы, Александр Иванович, не искалечьте жизнь с вашими «реальными» системами! — грустно сказал старик.

— Я люблю жизнь. Я избегаю говорить о себе. Но теперь, но сегодня, но перед вами, быть может, — у меня потребность. Я позволю себе. Я люблю жизнь. Я полюбил ее в странствиях, в скитаньях, видя ее разнообразие, бесконечное, беспредельное. Полюбил ее в океане, ночью, думая, глядя на мириады существующих, движущихся, живых светил, на море, полное жизней, чувствуя, что я несусь в каком-то вихре, урагане, непрерывающемся урагане жизни. Я полюбил жизнь… когда… дрался за буров.

Он сказал это, словно чего-то конфузясь.

— Мне трудно говорить о себе. Я полюбил жизнь. Поле битвы. Вы думаете, это смерть? Нет! Это люди борются за жизнь. Это жизнь кругом. Битва за нее. Я полюбил жизнь, заведуя госпиталями в Маньчжурии. При виде этих несчастных, жадно, судорожно, лихорадочно цеплявшихся за жизнь. Окруженный этими жизнями, полупогашенными, глядя, как они разгорались, разгорались сильнее. Полюбил жизнь, видя выздоровление. До муки полюбил жизнь, видя, с какой тоской с ней расстаются. Я люблю жизнь, я боготворю ее. И нельзя ее забивать в самые лучшие колодки. Политика должна быть жизненна, реальна! Законы, принципы… Это все равно, что одеваться в готовое плате. Здесь жмет, там режет, там неловко. Надо шить на жизнь платье всегда на заказ. В каждую данную минуту. То она пополнела, то похудела. Какое ей в эту минуту платье требуется!

Он смолк.

Старик-граф смотрел на него грустными глазами:

— Платье-то ничего. А вот как жизнь начнете кромсать «для ее же пользы»? Не налезет на нее сшитое вами платье. Вы не платье, — вы ее начнете давить да тискать: «полезай!»

Александр Иванович вздохнул:

— Трудное дело-с!

— Трудное, Александр Иванович!

Он рассмеялся:

— Это вы мне все потом в Думе выложите! С крайней левой!

Рассмеялся и граф:

— А вы не загоняйте!..

— Да что ж с вами сделаешь, если обстоятельства такие покатые? Все налево катится!

— Ну, до Думы еще далеко. А пока…

— Пока-с, повторяю. Предвижу от вас неприятные последствия, но сделать, к сожалению, ничего не могу!

— Простор?

— Полнейший. А широко разойдетесь, — придется вас в корсет! Хе-хе-с! В корсет!

— Сдавите?

— Как жизнь потребует! Реальная политика!

— На каждый день может быть новая?

— На каждый час!

Старик смотрел на него грустными глазами и долго пожал его руку.

— Ну… желаю вам, Александр Иванович, чтобы вы жизнь не очень покалечили.

— Покорнейше благодарствую.

— До свиданья!

— В Думе! Хе-хе! На дуэли!

И, проводив старика до двери, он вернулся к столу и позвонил чиновника.

— Этого… как его… Кантонистова!

Г. Кантонистов вполголоса рассказывал в приемной:

— Когда мы с Сигмой наблюдали за действиями главнокомандующего в маньчжурской армии…

— Вас! — подлетел к нему чиновник.

Кантонистов поправил орден на шее, как-то встряхнулся и осел, от чего стал словно меньше ростом, но толще и солиднее.

И с достоинством пошел в кабинет.

X

Министр-президент сидел, низко наклонившись над столом, и, казалось, весь погружен был во внимание: что-то читал.

Г. Кантонистов подождал несколько секунд и слегка кашлянул.

Министр читал.

Г. Кантонистов обождал еще несколько секунд и снова кашлянул.

Министр читал.

— Ваше высокопревосходительство…

Александр Иванович поднял голову и взглянул на пришедшего безразличным взглядом.

— А! Вы!

И снова наклонил голову, быстро дочитал бумагу, отложил и, заложив руки в карманы панталон, вытянулся в кресле.

Как человек, который покончил трудные дела и собирается для отдыха заняться пустяками: пожурить ребенка или собачонку, — вообще что-нибудь маленькое.

Он посмотрел в лицо Кантонистову прямо и пристально.

— Скверно пишете!

Кантонистов даже пошатнулся от такого приема.

— Виноват…

— То-то, виноваты! Надряните, а потом просите прощения!

— Вы меня не так…

— Скверно пишете! — перебил Александр Иванович. — «Россия»! Фирму только портите! Ну, что вы такое? Вы баб видали? Идет мужик весною по талому снегу рыхлому. Баба, подобравшись, за ним. Норовить в его следы попасть. Шагает! Смотреть смешно! Мужик в снегу дыру сделает, а она ее своим лаптищем грязным размажет. Так и вы за правительством плюхаетесь. «По следам!» Издаст правительство декларацию, — обсуждают! А приметесь вы размазывать, — хохот! Свист! Улюлюканье! Только министерские декларации, черт знает, в каком виде выставляете! Посмешище из них делаете. Кто вы? Что вы? Зачем вы? Заграничные официозы возьмите. Любехонько! С интересом их читают! Прислушиваются! А у нас? Хвост вы, за который правительство ловят! Ахиллесова пятка. Пятка вы! Вот кто! При относительной

даже свободе печати газета с министром-то поцеремонилась бы. Тоже его хвати-ка! Туземная администрация подслужиться захочет, — не за это, к другому придерется — хлопнет. А газету «Россия» любой «Царевококшайский Вестник» во все корки лупит. «Газета “Россия” полагает то-то. Глупо». «Газета “Россия” разъясняет так-то. Очень глупо». А читатель-то, он понимает, куда эти намеки летят! Это как мне солдат один раненый рассказывал: «Из-за тени погиб. Самая бесполезная вещь. В лунную ночь, на свету, первая пагуба. Сам-то крадешься, прячешься. А тень-то твоя по белой земле тянется. “Вот, мол, мы где”. Ну, ён по тени-то в тебя и палит». Тень вы у правительства, самая ненужная вещь! Что ни ляпнете, — корова, прости, Господи, в лужу села!

И, разгорячаясь все больше и больше, Александр Иванович схватил и скомкал лежавший на столе старый номер «России» с отчеркнутой синим карандашом статьей.

Из-под газеты выглянули счеты. Костяшки завертелись, — так энергично г. Гучков хватил газету.

— Это что такое? Что, я вас спрашиваю? Хлам! Мусор! Дрянь!

Он с отвращением кинул газету по направлению к г. Кантонистову.

Бедная газета поколебалась, описала в воздухе полукруг и упала около стола.

— «Кадетов» революционной партией называете!!! Да еще доказываете! На весь народ, во всю глотку орете: «Революционная! Революционная!» Обрадовались!

— Я полагал, того же взгляда держится правительство! — наконец выкрикнул Кантонистов среди этого потока.

— Где? Где держится? Здесь! А не там!

Г. Гучков ткнул пальцем в окно на улицу.

— Здесь, в этом кабинете, я всякому «кадету» в лицо швырну: «Революционер!» Всякий, кто не с нами, тот

и революционер! Очень просто! Но здесь! Мозги у вас зачем? Шевельните! Здесь! А не там! Не там!

И он все тыкал, тыкал, с ненавистью тыкал в окно.

— Ведь это все равно, что русскому человеку про вещь сказать: «Контрабандная!» Он ненужную вещь купит! Он втридорога за нее заплатит! «Контрабандная!» Дрянь втридорога купит, — и доволен останется. Так русский человек устроен! И вы ему орете: «Революционная!» Этакую ходовую этикетку на вещь наклеивать! Кто в душе революции не сочувствует? Как оспа всем привита. Но боится: бомбы, вооруженные восстания. Ни в бомбисты ни на баррикады идти никому не охота! А тут, вдруг, на-те вам! Революционная партия без бомб, без баррикад! На этих условиях кто в революционеры не пойдет? Революционная партия безо всех революционных ужасов! Которая какой-то секрет без ужасов устроить революцию знает! Кто ж в этакую партию не пойдет? Как же в этакую партию не записаться? Вы, что же, рекламу «кадетам» делаете? Членов им вербуете? Вы зачем наняты? Вам за что деньги платят?

— Извините меня! Я — литератор!

— Потому и говорят, что литератор! Литератор, — и пиши как следует!

Кантонистов весь ходил ходуном.

Толстое лицо его было багровое, дергалось, — словно сейчас удар хватит.

— Я делаю Государево дело!

Голос вырвался визгливо.

— Что? — крикнул Гучков, ударив кулаком по столу. — Государево дело?

Он вскочил.

Он подошел вплотную к Кантонистову. Левую руку он держал в жилетном кармане.

Лицо у него выражало презрение, почти отвращение.

— Вы мне этих слов не го-во-ри-те! Вы мне за этими словами, господа, не прячь-тесь!

Он говорил, отчеканивая каждый слог.

И даже погрозил пальцем.

— Государево дело!

И было в тоне его что-то уничтожающее.

— Плевако, Федор Никифорович, в одном процессе… Его противник, вот тоже, высокими предметами вздумал прикрыться! Знаете, что ему Плевако сказал? «Мой противник, выходя на борьбу, вышел с иконою, спрятался за нее: "Не тронешь!" Но я икону бережно, благоговейно возьму и отставлю в сторону. А тебя, раба Божия, из-за иконы-то… Ну-ка, ну-ка, поди сюда!» Государево дело! Субсидии получат — Государево дело? Казенные харчи ест — Государево дело? Брюхом вы его делаете? Брюхом?

И он чуть не ткнул в действительно полный живот г. Кантонистова.

Так что тот инстинктивно его слегка вобрал в себя.

— Двадцатого вы числа людишки, а не Государева дела. Жалованье им плати да еще престиж ихний охраняй! Они там дряни наделают, а ты всеми мерами престиж их охраняй. Они его в грязи волочат, а ты его «высоко поднимай». «Мы делатели Государева дела!» Они там насквернят, а здесь всеми департаментами Сенат думай, как их из этой дряни вызволить «для поддержания престижа». Вы мне словами не тычьте! Ни вы, никто из вас! Я вас сам словами, как из пулемета, расстреляю! Такими, что вы и не слыхивали! Вы мне громкими словами здесь не жонглируйте! Не дворянский здесь режим. Поняли? Это дворянину вы! Вы дворянину громкое слово, а дворянин вам — рупь! Из меня этим гроша не вышибите. Деньги берете, товар давайте настоящий. Поняли?!

— Я так кричать на себя…

— Что-с?

Александра Ивановича словно железом каленым тронули.

— Вам эполеты нужны? Вы пред эполетами вверх животом лежать привычны и хвостом вилять? А пред сюртуком, вы думаете, голос поднимать можно. На вас генерал-губернаторы орут, вас такими словами пушат. А вы потом с умилением в мемуарах пишете: «Как имевший счастие быть ближайшим сотрудником и подчиненным его сиятельства, — могу подтвердить, что его сиятельство был строг и взыскателен к нам, своим маленьким сподвижникам и исполнителям его воли». Пень здесь будет поставлен, — пню должны кланяться! Нанятой народ! Купленная публика! Вас посадили, — пиши как следует! Не щепки, — деньги платят. Сыт, обут, одет, в тепле — старайся. Заслуживай! Вот твоя честь! Пиши дельно, толково, хорошо чтоб было!

— Это на Толкучке!

Голос Кантонистова звучал истерикой.

— На Толкучке «писателей» в комнату запирали, графин водки ставили: «пиши». Я не из них, да и здесь…

Александр Иванович уперся руками в бока и оглядел всего трясущегося г. Кантонистова с ног до головы.

— На Толкучке?! На Толкучке, братец вы мой, действительно, были писатели, — швах! Спившийся народ. Потерянный. Не только графинчик им ставили, — сапоги снимали, чтоб не сбежал: «пиши, а потом и обуешься!» А все-таки рептилиями их никто не звал. Жалкий народ, а не рептилии. Поломойка, а не девица. Поняли разницу?

— Извините! Я не привык!.. Я не… не… ммогу…

Г. Кантонистов задыхался.

— Я… бббб… больше не могу… я… у… у… уххожу!

Александр Иванович беспечно пожал плечами и беспечнейшим тоном сказал:

— Куда это? К кувейтскому султану с Сигмой газету «Кувейт» издавать? Кто вас возьмет? Из рептилий-то? А? Девица в доме жила, — неважный шанс на замужество! «Билет»-то плохое приданое! А вы к хорошей пище привыкли. К хорошему, верному, казенному харчу. Тут, брат, «Потерянный рай» писать трудно! Дело голодное. С «Потерянным-то раем» с голода насидишься. Тут, шалишь, не до литературы. К субсидии привык! С обеспеченного-то харча «по местам» не очень пойдешь. Да и не возьмут на хорошее-то место. «Раньше где жила?» Все вы, бывшие рептилии, потом, как блохи в табаке, погибали. Как на своих-то ногах очучались!

Александр Иванович совершенно успокоился, сел на свое место.

И говорил теперь, снисходительно улыбаясь:

— То-то! Жалеючи вас, говорят. Благодарны должны быть. Пишете вы скверно, а деньги берете хорошие. Вас бы, по-настоящему, следовало… А вас, внимание берут, наставляют: как вам же себе пропитание достать. Об вас заботятся, все-таки думают. Разве я не понимаю, что с вас можно требовать, чего нельзя? Разве я не понимаю, толк в вашем брате? Нешто я не понимаю, что из вашего брата хороших сортов в продаже нет? Я отлично это понимаю. Но все-таки стараюсь и из вас полезных людей сделать. И вы должны мне соответствовать: стараться писать как следует, чтобы нам, действительно, от вас польза была, хлеб свой зарабатывать. Так-то!

И после маленькой паузы он добавил:

— А чтобы громких слов я от вас больше не слышал. Громкими словами от меня не ограждайтесь. И себе это на носу зарубите и другим, в вашем положении, скажите. Поняли? Чтобы я от вас этого больше не слышал! А не то я и впрямь Государево дело заставлю делать. Знаете, как в законе

сказано: «за совесть». Заставлю по убеждению работать! Субсидию-то вот у вас отниму. И хвалите меня по убеждению. Охраняйте по принципу. Поняли? Теперь идите!

XI

Г. Кантонистов, шатаясь, вышел из кабинета.

Толстые губы его, дрожащие, беззвучно почти шептали:

— Что же это такое?.. Господи, что же это?

Высокий воротничок его от пота размяк и обвис.

Орден на шее беспомощно болтался, перевернувшись на другую сторону.

Глаза были полны слез.

Все смотрели на него с удивлением.

Какой-то чиновник захотел чем-нибудь его утешить, отвлечь.

— Вы не досказали нам, — чрезвычайно интересно! — как вы с г. Сигмой наблюдали за главнокомандующим маньчжурской армией…

Но г. Кантонистов посмотрел на него безразлично, словно не узнавая, и так сказал:

— Оставьте!

Что чиновник поспешил стушеваться.

В голосе Кантонистова послышался стон.

Не помнить Кантонистов, как вышел из передней, как сошел с лестницы, куда пошел, где бродил!

Очнулся он на набережной Невы.

Дул ветер.

Кантонистов снял цилиндр, чтобы обдуло голову.

Ее обдуло, и мысли стали приходить в некоторую ясность.

Кантонистов огляделся, где он.

— «Невы державное теченье, береговой ее гранит!» — пришло в голову Кантонистову.

Он любил красивые и громкие выражения, цитаты.

И «дух празднословия» с этой самой минуты вновь проснулся в Кантонистове.

И овладел им.

Он увидел через реку церковь.

И перекрестился:

— Господи! Спаси Россию!

И у него мелькнула другая мысль:

— Не лично я, а все мы, «Государевы людишки», как в старину говорили, — угрозу ту должны восприяти!

И он стал самоувереннее и оправился и снова приобрел осанку.

— Все мы должны сгрудиться против... против Толкучего рынка!

Он почувствовал себя гордо.

Крикнул извозчика и, когда садился, подумал:

— «Толкучка идет»! Вот клич! Вот позыв наш ратный!

Он поправил орден на шее и важно сказал:

— Поезжай...

Но вспомнил, что у него воротничок размяк.

Заехал домой, переменил воротничок и поехал:

— Звать по городу!

XII

А Александр Иванович Гучков приветствовал в кабинете французского корреспондента Жоржа Дорси:

— Извините! Заставил ожидать. Хотел соригинальничать: отечественной прессе отдать предпочтение пред иностранной. Принял раньше!

Он вздохнул:

— Все средние люди любят оригинальничать. Прошу садиться. Весь к вашим услугам.

— Ваше высокопрево...

— Ради Бога! Ради Бога! Ради Бога!

Александр Иванович засмеялся и замахал руками:

— Г. министр! Г. Гучков, если вам угодно. Только не это! Не портите! Привыкнешь к этому трехэтажному слову. К хорошему-то скоро привыкают! А там недели через две и трудно будет отучаться!

На лице французского журналиста выразилось величайшее изумление. Недоумение:

— Как? Вы серьезно думаете…

Александр Иванович спокойно пожал плечами:

— Окажусь непригодным. Вот и все. Я и сейчас, откровенно вам говорю, плохо понимаю: почему я здесь? Я отказывался. Я всегда отказывался. Вы думаете: для того, чтоб меня хорошенько попросили? Клянусь вам, нет. Способностей за собой не чувствую. Ну, какой я министр? Я говорил правду: «я еще могу принести пользу, но не как министр, а в борьбе, как партийный человек». Да и то… Я — неудачник, и как партийный человек. Среди земских людей я высказал свое мнение… и остался один! Политический деятель в одиночестве! В «союзе 17 октября» я исповедовал свое «верую», и… лишил партию такого столпа, как г. Шипов. Он ушел. Партия, в глазах всего общества, лишившись такой подпоры, еще больше наклонилась вправо. Еще больше потеряла. Я принес ей вред! На выборах меня забаллотировывают! Какой я — политический деятель. В политику меня занесло случайно. Как заносило к бурам, в Китай, в плен к японцам. И я все больше и больше вижу: напрасно. Я разговариваю с вами, видите, совершенно откровенно. Прошу верить искренности моих слов. Какой я — политик? Откуда? Я — неудавшийся ученый. Моя мечта была — профессура. Я — ученый, а не политик! Специалист по «Одиссее». Вот моя специальность, склонность. От греческих-то аористов к государственному управлению! Дистанция, как от юга Африки

до Китая! Я — неудачник. Не знающий, куда себя пристроить. Бросающийся всюду. По всему земному шару. Во всем мире, не находящий места, где бы я был на месте. Отчаявшийся в себе. Пожелтевший лист, который подняло бушующим теперь ураганом на такую высоту. Вините ураган!

Г. Гучков снова пожал плечами:

— Я тут ни при чем!

— Я попросил бы у вас интервью.

— Я и интервьюируюсь.

Недоумение французского журналиста все росло и росло.

— Вы позволите это напечатать?

— Прошу! Я вовсе не хочу обманывать никого в моих силах! Брать на себя непосильных обязательств! Вот еще! С какой стати? Чтоб выйти потом жалким? Смешным? Я — купец и к обязательствам привык относиться серьезно. Не выдавать таких, каких я не могу выполнить. Я вам показываю откровенно свой баланс. Вот что я имею. В России это знают все. Все мои политические неудачи, — а у меня не было ничего, кроме неудач, — известны каждому ребенку. И я не хочу обманывать остального мира. Вы спросите: почему же на мне остановились, зная мою неспособность? Вероятно, потому же, почему на круче хватаются за былинку. Под руками нет дерева! Не за что схватиться! Я — последний. Дальше меня — хаос… И решили испробовать последнее. Взять меня. Если берут заведомого неудачника, — вы видите, что выбирать, значит, не из кого. Вы спросите: как же я взялся, сознавая свою полную неспособность? Я отвечу вам опять-таки искренно и откровенно: долг. Человек хромой, однорукий, — какой он воин? Но когда его призывают, — уже из самого факта, что его, — его! — призвали, следует, что он должен идти под ружье. Значит, таково положение. Значит, делать больше нечего, если его призывают! Я не пошел. Я подчинился.

В тоне Жоржа Дорси послышалось даже сожаление к бедному человеку:

— У вас есть программа?

Александр Иванович ответил безнадежно:

— Никакой!.. То есть никакой своей, личной. Вот!

Он достал из кармана «Правительственный Вестник».

Старый, вытершийся.

— Акт 17 октября. Я выучил его наизусть. Как «Верую». Это вся моя программа. Все, с чем я пускаюсь в плаванье. Мой компас. Мой метр. Мне предлагают сделать то-то, — я примеряю: подходит к акту 17 октября. Да, отлично. Нет, — отвергаю. Мне предлагают держаться такого-то направления, — я смотрю на свой компас. «Своего» от меня ничего не ждите!

— Это одна сторона задачи: реформы. А успокоение страны? Ваши предшественники говорили: сначала успокоение, затем реформы. Страна, кажется, говорит: сначала реформы, потом успокоение. Как вы относительно успокоения и мер к нему?

— Не знаю!

Французский журналист даже с места привстал:

— Как?

Александр Иванович беспомощно развел руками:

— Решительно ничего не знаю. Повторяю вам: я — никакой администратор. Политик хоть плохой, но администратор совсем никакой. Никогда им не был, не собирался быть! Тут я буду слушаться тех, кто знает это дело. Слушаться слепо. Повиноваться вполне. Это не только самое разумное, — это единственное, что я могу сделать. Тут уж у меня нет никакого масштаба: что подходит, что не подходит. Что практично, что непрактично. Что полезно, что вредно. В реформах там у меня есть мерка: акт 17 октября. Прикинул к нему, — и все. Здесь у меня нет ничего: ни знаний, ни опыта, ни навыка,

ни уменья. Ничего! Я должен слушаться, писать под диктант. И буду! Резюмирую: все, что касается проведения реформ, будет мое. На этом я ставлю свой бланк. Все, что касается так называемого «успокоения страны», — не мое, чужое. Я — простая передаточная инстанция, — и только. Телеграфист, рассылающий пучок телеграмм, которые ему дали. Телеграф, как вам известно, за содержание телеграмм не отвечает. Все порицания и все похвалы я заранее отклоняю от себя. Вот вам и вся моя «программа», если только это можно назвать программой. Вряд ли когда-либо где-либо министр-президент вступал в должность с таким тощим портфелем. Но что же делать? Если в стране лучшего министра нет! Прошу извинить меня за такое неинтересное интервью.

— Что вы… Оно, правда, оригинально… но это не недостаток.

— Чем богаты, тем и рады!

Александр Иванович, ясно улыбающийся, стоял пред недоумевающим иностранным журналистом.

— Вы разрешаете все это напечатать?

— Прошу об этом! Что же! На «нет» и суда нет! Зачем вводить людей в заблуждение?

— Так я и напечатаю.

— Так вы и напечатайте.

— Благодарю вас!

— Не за что.

— Имею честь…

— Всегда к вашим услугам.

И когда дверь за Жоржем Дорси затворилась, у Александра Ивановича вдруг сделалось, мальчишески даже, веселое лицо.

Он лукаво прищурил глаз.

И вдруг…

Министр-президент вдруг тихонько запел, на мотив «джонакина» из «Гейши», чеховскую фразу:

«Не угодно ль этот финик вам принять?
Не угодно ль, не угодно ль
Этот финик, этот финик
Вам приня-ять?!.»

Александр Иванович позвонил и весело сказал вошедшему чиновнику:

— Прием кончен.

Чиновник поклонился:

— Когда вашему высокопревосходительству угодно будет принят ближайших чиновников министерства?

Александр Иванович весело ответил:

— Это успеется!

Любезнейше пожал руку чиновнику:

— Это ведь не к спеху?

И легкой походкой человека, довольного всем сделанным и самим собой, пошел во внутренние комнаты.

Чиновник окаменел на месте и взглядом, полным глубокого изумления, смотрел в спину уходящему министру.

XIII

— Приема сегодня больше не будет! — объявил чиновник, выйдя из кабинета.

В приемной произошло движение. Послышался кашель, негромкие замечания, кто-то засмеялся.

Все пошли.

Сморщенная старушонка с трясущейся головой изводила чиновника:

— А в среду не будет? В четверг прием? Опять в одиннадцать часов?

— В одиннадцать! В одиннадцать! — отмахивался чиновник.

— Так я к одиннадцати и приду!

Публика толпой спускалась по лестнице.

Как вдруг что-то произошло.

Бывшие на нижних ступенях кинулись вверх с бледными, искаженными лицами.

Произошла сумятица.

Раздались крики.

— Поймали!

— Бомба!

Через минуту вся публика стояла наверху.

Бледная, взволнованная. Многие тряслись. Некоторые плакали. Послышался истерический крик какой-то дамы. Сначала тихий. Потом громче. Потом раздирающий уши.

Лестница была пуста.

Теперь сверху отлично было видно.

Посреди передней, окруженный курьерами и какими-то людьми в сюртуках, стоял офицер.

Его держали сзади за руки.

Какой-то человек в черном вынимал у него из кармана панталон револьвер.

Солдат что-то возбужденно и радостно рассказывал полицейским, показывая пальцем на офицера.

У вешалки, около офицерского пальто, стоял, вытянувшись, бледный человек в сюртуке, с окладистой черной бородой.

В числе публики из приемной спустился высокий, стройный и статный офицер, записавшийся на приеме офицером N-ского полка, расположенного в Петербурге.

Молодой, с небольшой мягкой русой бородкой, с чрезвычайно красивыми, мягкими, грустными глазами.

С шапкой в руках.

Пока курьеры подавали другим платье, он сам подошел к своему пальто.

Курьер было бросился снимать пальто с вешалки, но офицер мягко сказал:

— Я сам.

Он стал к пальто вплотную и опустил руку в карман пальто.

— Но ничего не достал! — как пояснил стоявший около господин в сюртуке с окладистой бородой, не спешивший почему-то одеваться. — Как будто вынул что-то из шапки и сунул.

В эту минуту к офицеру подошел курьер.

— Ваше благородие, вас солдат спрашивает!

Офицер живо повернулся.

Перед ним, вытянувшись во фронт, стоял солдат его полка.

Офицер взглянул изумленно и сделал шаг к солдату.

— Что тебе?

— Полковник Палаузов приказали сказать вашему благородию, что они ждут вас к себе немедля!

Офицер смутился.

— Скажи полковнику…

Но в эту минуту его сзади схватили за руки, и над ухом он услыхал голос:

— Никакого полковника Палаузова в полку нет!

А человек в черном сюртуке и с окладистой бородой, быстро проведя рукой по висевшему пальто, крикнул:

— В кармане бомба!

Еще когда офицер, с шапкой в руке, поднялся, помедливши около пальто и доставши из кармана что-то белое, вероятно, платок, один из людей в черном сюртуке, чрезвычайно солидного вида, повел на него глазами и тихо спросил у соседа:

— Видел? Офицер?

— Надоть будет экзамент сделать, — ответил тот.

Куда-то ушел и вернулся в солдатском мундире с погонами того полка, к которому принадлежал офицер.

— Иди наверх. Становись в дверях в приемной.

— А ты чиновнику скажи, чтобы вызвал: «солдат, мол, пришел. Вас спрашивает». Сразу видать будет.

В этот момент прием был неожиданно прекращен, и публика пошла вниз.

Публику теперь «процеживали».

Перед лицами известными извинялись:

— Простите, ваше-ство, что задержали. Такие времена!

У неизвестных «устанавливали самоличность», спрашивали адрес.

Телефон звонил.

Старушка с трясущейся головой сидела на деревянном стуле с высокой спинкой.

Помощник пристава отдавал ей обратно ридикюль, запрятывая в него засаленные бумаги.

И говорил укоризненно:

— Такое время! А вы с ридикюлями к министрам ходите! Эх, вы!

Молодого человека в офицерском мундире провели наверх.

— Господа! Расступитесь!..

На него глядели взволнованные лица. Кто с любопытством, кто — со злобой, кто уже с сожалением.

Кто-то крикнул:

— Ах, ты!

И хотел его наотмашь ударить.

Но чиновник брезгливо отстранил его:

— В министерстве не дерутся!

И господин, только что хотевший бить «бомбиста», окрысился вдруг на чиновника:

— Разве что в министерстве!

К Александру Ивановичу Гучкову вбежал чиновник, взволнованный, с трясущимися губами.

— Ваше высокопревосходительство, бомба!

Александр Иванович поднялся.

— Какая? Где?

Чиновник, торопясь, не договаривая слов, рассказал ему, в чем дело.

Г. Гучков криво улыбнулся:

— Скоро!

Он прошелся по комнате и засмеялся нервным смехом:

— Скорее военно-полевых судов! Рекорд! Кто скорее?

Он еще прошелся по комнате.

— Где этот… Он?

— Допрашивают.

— Приведите его ко мне и оставьте нас одних.

Минуты через две в соседней комнате, у двери, раздался звон нескольких пар шпор.

Дверь отворилась, и вошел человек в офицерском мундире.

Не офицер, а уже человек в офицерском костюме.

Это был безукоризненный офицер. Офицер с головы до ног. Прямой, с военной выправкой.

Теперь он несколько сгорбился. Осанка исчезла.

Мундир висел на нем нескладно.

Он был похож на человека, одетого в чужое платье.

Переряженный штатский.

— «Словно актер за кулисами», подумал Гучков, с интересом оглядывая вошедшего, остановившегося у дверей.

XIV

— Вы не граф? — спросил г. Гучков.

Вошедший посмотрел на него с удивлением.

— А то у нас предводители всех партий графы!.. Кто вы: рабочий, интеллигент?

Молодой человек, до сих пор понурый, при этом вопросе выпрямился, глаза его загорелись.

Он смотрел прямо и смело.

— Вы можете меня казнить. Как военнопленного в дикой войне. Но права судить меня я за вами не признаю. И должен вас предупредить, что отвечать на ваши вопросы не намерен. Считаю излишним!

Александр Иванович подошел к нему вплотную. Он улыбался приветливой улыбкой.

— Это не допрос, — сказал он мягко, — это разговор. Простой разговор, который… даю вам слово!.. останется между нами!

И энергично протянул ему руку.

Тот машинально подал ему свою.

Хотел отдернуть. Но Александр Иванович несколько секунд задержал его руку в своей.

— Садитесь… прошу садиться.

Они сели около стола.

— Вы — интеллигент! — сказал Александр Иванович, так же приветливо и мягко, с интересом глядя на собеседника. — У вас мягкая рука. Не грубая, мягкая кожа на ладони. Не рабочего!

Того дернуло:

— Фи!

Александр Иванович улыбнулся:

— Мне просто хотелось знать, с кем я говорю. Это не допрос. Допрашивать вас будут те… Кто вы? Что вы? Я вас не спрашиваю. По жребию ли вы явились исполнить приговор? Или по собственной охоте? Чей это был приговор? Какого-нибудь центрального комитета? Местного? Или у вас

у самого явилась мысль: «Вот, человек назначен министром, — значит, надо его убить». Сами вы приготовили бомбу? Дали вам ее? Мне это… неинтересно. Я просто хочу поговорить с вами. Я буду говорить. Не вы. Вы видите, я от вас ничего не хочу? А вы, слушая меня, тем временем немного успокоитесь.

— Я совершенно спокоен! — ответил неизвестный гордо, даже немножко высокомерно.

— Тем лучше! — совершенно спокойно сказал Александр Иванович. — Больше могу рассчитывать на ваше внимание. Я просто хочу воспользоваться редким случаем. Ведь не всякому удается поговорить со своим убийцей! — Александр Иванович рассмеялся добродушнейшим смехом. — Мы с вами, в некотором роде, люди, вернувшиеся с того света! Это придает нашей беседе некоторую, если хотите, пикантность. Во всяком случае, не заурядно! Когда министру приходится встречаться, господа, с вами? А встретился… и конец! Вы извините, что министр хочет воспользоваться таким редким… для министра случаем? Наполеон III, говорят, беседовал с Орсини, бросившим в него бомбу. Знаете, около Оперы? Но Наполеон спрашивал Орсини. А тут, повторяю, буду говорить я.

Он с минуту помолчал.

— Итак, вы хотели меня убить… — сказал Александр Иванович, снова с интересом разглядывая молодого человека.

— И очень сожалею, что мне это не удалось! — резко отвечал неизвестный.

— А я очень рад, что вы не выронили бомбы в приемной. Погибло бы много ни в чем неповинных людей. Но дело не в этом. Ведь «в драке волос не жалеют»? Не так ли? Дело не в этом. Вы хотели меня убить. И я вам очень благодарен!

Он, улыбаясь, смотрел на молодого человека.

Сосредоточенное лицо того, казалось, бывшего мыслями далеко отсюда, оживилось.

Он с удивлением взглянул на г. Гучкова.

— Да! Чрезвычайно вам признателен. Я не популярен, Сегодня к вечеру телеграф разнесет, а завтра утром весь мир, вся Россия прочтет, что на министра-президента Гучкова было покушение. Когда? Я никого не повесил. Никого не расстрелял. Я не успел еще издать ни одного приказа. Подписать ни одной бумаги. И человека убивают! За что? Тысячи людей возмутятся. И тысячи людей почувствуют ко мне невольную симпатию, которую чувствуют ко всякому человеку, который ничего не сделал и которого казнят смертью. Благодарю вас! Возбудить симпатии, еще ничего не сделав! Это недурное начало! Но… вам до этого какое дело? Каков я? Сделал я? Не сделал? Могу сделать! Вы ведете партизанскую, вы говорите, войну. Я становлюсь на вашу точку зрения. Вы — буры. Мы — англичане. Какое вам, на самом деле, дело? Вы видите мундир, — и по нем стреляете! На войне, как на войне! Я не буду вам много говорить, что всех не перебьете. Это старо. Нет более окровавленного кресла, чем это!

Александр Иванович ударил по ручке кресла, на котором сидел.

— На нем сидел Сипягин! На нем сидел фон Плеве! На нем дрожал за свою жизнь Витте. Дрожал Дурново. Беспокойно ворочался Горемыкин. На нем Столыпин рыдал о своих искалеченных бомбою детях. На нем теперь Гучков беседует со своим убийцей. Пусть меня убьют завтра утром, — завтра же к вечеру на нем будет сидеть кто-нибудь другой. Да еще с какой радостью сядет!.. «Место свято не бывает пусто», говорят у нас. Оно, пускай, министерство, да еще внутренних дел, не Бог весть какое святое место! Но поговорка

и относительно него верна. В чем, в чем, — в министрах недостатка не будет!.. У вас болели когда-нибудь зубы?

— Я, право, не понимаю, вообще, к чему…

— Допустим, нет! Я не спрашиваю вас ни о чем! Условлено! Самое неприятное в зубной боли, — что все вам дают советы. У каждого, оказывается, есть «свое» средство от зубной боли. У всякого русского, милостивый государь, свое средство от зубной боли и свое средство спасти отечество! Прежде это было нечто платоническое. Человек делался министром, и умирал министром! Надежд не было ни у кого. Теперь требуется по четыре министерства в год! По четыре раза в год требуются люди, знающие «свое» средство спасти отечество! Кликни только клич! Все равно, что напечатать в газетах: «10 000 тому, кто имеет свое средство от зубной боли». Завтра 10 миллиардов не хватит. В министры! В солдаты только никто не хочет идти! А если бы набирали прямо в генералиссимусы? Что бы по всем деревням пошло! Рекрутский набор, — в воинских присутствиях двери бы ломали! В ногах бы валялись, только «забрей!» То же самое и относительно губернаторов, полицмейстеров, участковых приставов, околоточных, даже просто городовых. Разные у разных людей бывают честолюбия. Один иначе как на кресле министра не помирится, для другого и место околоточного — «пост». Что околоточного! Жил я на даче под Москвой. Слышу как-то коровница с горничной разговаривают. Про куму. Замуж выходит. «Такое Бог счастье послал! Такое счастье!» — «Хороший человек-то?» — «И-и! Такой хороший. При отличном месте!» — «Где же он?» — «В сыщиках служит. В сыщиках, матушка!» Разные у разных людей мечты. И одно можно сказать: на всякий пост всегда десять честолюбцев есть! Ведите же вашу партизанскую войну! Бейте! Бейте министров, околоточных, губернаторов, приставов, городовых! Очищайте вакансии! Дрожа каждую секунду за свою жизнь, они будут

звереть, звереть! За каждым убийством репрессия, репрессия! И все эти репрессии будут сыпаться на голову общества. Люди, знаете, мало склонны к справедливости, когда речь идет о собственной шкуре. В своем деле человек судья плохой. И к отвлеченным рассуждениям! И к отыскиванию причины причин. Когда кожу дерут, не до логики. Не рассуждают, а вопят. И общество завопит: «Из-за этих революционеров нам житья нет!» Все завопит. Девять десятых его завопит. И вы подготовите нам, создадите, усилите реакцию в общественном мнении. Но что вам общество? Буржуазное общество? Вы думаете о нем, о «теперешнем» обществе, так же мало, как думают на войне войска о тех поселянах, по нивам которых они идут на бой. В той деревне неприятель, — и они идут напрямки, по полю гаоляна, и топчут его, очень мало думая, не думая о владельцах, которых они разоряют! Вы думаете о своей армии, — о пролетариате. А пролетариат силен тем, что ему нечего терять. В этом его могущество в бою. «Хуже не будет», — это те пулеметы, которые поставлены в тылу армии и гонят ее вперед, вперед, вперед! Но окажется, что может быть и «хуже». Окажется, что и пролетарию есть что терять, когда будут отняты сон, уверенность, что не проснешься под слова: «Виселица готова». Я не знаю, до чего дойдет! Может быть, будут вешать на фонарях! Вы и правительство встали на дыбы, и я не знаю, до какой высоты вы подниметесь! Пусть же жизнь станет, в конце концов, невозможной. А с каждой бомбой и каждой виселицей она к этому все ближе и ближе идет. Пусть будут забастовки, крахи, безработные считаются сотнями тысяч, миллионами. Пусть станет невозможно ничего делать: торговать, пахать, работать, учиться, спать. Пусть жизнь, сама жизнь станет невозможной. И ваша армия увидит, что стоявшие у нее в тылу пулеметы «хуже не будет» были ложь. Что терять было что, что многое потеряно. Что впереди еще потери, еще хуже. И у вашей

армии, измученной, истомленной, опустятся руки. Тогда начнется отлив, — и, пользуясь им, мы распустим паруса и выйдем в открытое море. Нам будет дорого стоить победа, — вам дорого стоит поражение. Эх!

Александр Иванович почти застонал и принялся ходить по комнате:

— Если бы я мог! Если бы меня послушали!! Я завтра, сегодня же разрешил бы все. Митинги? Когда угодно, где угодно. Речи? Какие угодно. Призыв к вооруженному восстанию? Сколько угодно. Я открыл бы все границы. Браунинги, маузеры, револьверы, — сколько угодно. Везите прямо! Открыто. Во все таможни.

Он расхохотался:

— Только не пушки! Пушки нам, вам револьверы! От пошлины бы освободил! Везите сотнями, тысячами. Проволоки бы телеграфной дал закреплять баррикады. Стройте! Выходите! Только выходите! Я хочу боя! Генерального сражения! Генерального, — слышите! Сразу, — или те, или другие. Вы, господа, жуете Россию. Старую Россию! Жуете медленно, мучительно, долго, больно. Киньтесь же на старую Россию. Киньтесь! За глотку! Сразимся! А вы жуете! Это бесит, раздражает, мучит меня! Я — не кровожадный человек, и если бы я мог, я бы вас с удовольствием отсюда выпустил: идите! Но если нужна операция надо мной, над моим отцом, над моей матерью, — пусть, скорее и сразу! Чем тысячи маленьких уколов, отрезывание мяса по кусочку! Я боюсь страданий, а не опасности. Опасность есть? Пусть приходит скорее! Чтоб я увидел ее в лицо. Если б я мог, я бы облегчил вам все приготовления к революции, к генеральному сражению. Вы видите, я не боюсь! Я не боюсь!

— А бомба?

Молодой человек хмуро и иронически улыбнулся.

Александр Иванович провел рукой по лицу и помолчал несколько секунд:

— Момент. И только! Страшно, говорят, не умереть, а умирать. А тут этого нет. Раз, — и нет человека! И неожиданно! Разве я мог ждать сегодня? Сегодня же?.. Мне приходилось видать смерть в лицо. И приходилось ее ждать. А здесь этого нет. Здесь — легче… Каждый человек в момент рождения приговорен к смертной казни. Это общее место. И если думать об этом, — вся жизнь будет «последними днями приговоренного к смерти». Я часто бывал готов к смерти и думал: не умрешь сегодня, когда готов, может быть, как трудно это будет потом. Больше всего любишь жизнь, когда лежишь за кочкой, и кругом гудят пули, и каждую секунду ждешь: вот хлопнет шальная! Может, и на постели умирающего чувствуешь то же. Ту же любовь к жизни. Только в теле, измученном страданиями, обессиленном болезнью, ослабел, обессилел дух. Будешь цепляться за доктора: «Доктор, спасите! Еще пожить!» Бррр… А тут…

Александр Иванович улыбнулся:

— Ничего не ждешь. Нежданный и безболезненный переход в вечность. Смотришь на человека: «Что этому офицеру от меня надо?» А офицер поднял высоко обеими руками шапку. И в другой, неизвестной, стране. Что там? Это даже интересно. Я люблю путешествовать.

Он вдруг повернулся к своему неизвестному собеседнику:

— Послушайте! Напишите вашим, что вам говорил министр-президент относительно революции. Говорил искренно, откровенно. Зная ресурсы государства, как их не знаете, господа, вы. Я вам даю мое честное слово, — этого письма не увидит никто. Кроме меня. Я его, конечно, должен буду сначала, в вашем присутствии, прочесть, чтобы вы не написали чего-нибудь другого. Я готов содействовать

революции, — г. Гучков улыбнулся, — как готов содействовать, чтобы нарыв скорей созрел и прорвался. Но, к сожалению, не имею на это полномочий. Вы передадите им просто мои прямые, откровенные слова. Ведь важно же знать мысли противника! А я даю вам мое честное слово, что адреса не прочту ни я, ни кто другой. Я сделаю так, что письмо будет опущено человеком, не знающим, от кого, кому, в чем дело. Я вам даю слово. Вот моя рука!

— Вы уже знаете, какие у меня руки! — поморщился молодой человек.

Г. Гучков отвернулся:

— Фу! Какая между нами пропасть!

— Вы можете меня повесить. Но входить с вами в какие бы то ни было условия и договоры, я не считаю возможным.

— Да, вас, вероятно, повесят, — просто и спокойно сказал Александр Иванович, — хотя, повторяю, я бы этого не хотел. Я предпочел бы, чтобы вы дожили до того дня, когда вам пришлось бы сказать: «Гучков был прав!»

Александр Иванович пожал плечами:

— Или, быть может: «Покойный Гучков был прав». Но: «прав»!

Он позвонил.

Вошел чиновник.

— Этот господин может идти!

Неизвестного взяли жандармы.

Оставшись один, Александр Иванович перекрестился.

XV

— Сурьезно начал! — сказал Доримедонт Парфеныч.

Он кончил «свой день» в швейцарской и пришел к себе.

И солидно добавил:

— Видать, что его ценят. В первый же день хотели…

Доримедонт Парфеныч снял свою красную, с золотым позументом и с черными орлами, ливрею, которую «принял» будущий зять, чиновник, деликатно встряхнул и повесил.

Доримедонт Парфеныч сел к столу, подвинул к себе стакан в массивном серебряном подстаканнике, с надписью:

«Доримедонту Парфенычу от его подчиненных курьеров».

И принялся за чай.

Будущий зять дал ему отпить полстакана и искательно спросил:

— Ну, а как по сравнению с другими, папаша?

Доримедонт Парфеныч помолчал.

— Повернул круто.

— Круто-с?

— В полиции не служил. А генерал-губернатор!

Доримедонт Парфеныч снисходительно улыбнулся и достал из кармана вместительный черный кожаный кошелек, куда он клал «внимание».

Доримедонт Парфеныч никогда не говорил: «дал на чай», а всегда выражался:

— Выразил внимание.

Будущий зять воззрился.

— Граф Свидригайлов! — сказал Доримедонт Парфеныч, разглаживая десятирублевку. — Прежде к нам, как к адвокату, ходил... или в ресторан! — «Дома?» — «Не выезжали-с!» — «Доложите!» И идет... Бомбой вылетел. Не сразу в рукав попал! Граф...

Он назвал фамилию «графа мирно-обновленского».

— Вышел, голова трясется. Видать, что улыбается, а на глазах слезы. Г. Кантонистов...

Доримедонт Парфеныч тихо засмеялся и покачал головой, разглаживая смятую в комок трехрублевку.

— Долго в калоши попасть не мог. Ему уж курьер ножки в калоши направил. Дверью все ошибался. То ко мне,

то в курьерскую, то в полицейскую дежурную ткнется. Заблудился!.. Пришлось помочь: под локоток на воздух вывести. Охранникам все кланялся, курьеру в забвении руку жал. Ущемили.

Он вынул серебряный рубль и звякнул им по столу:

— Один князь! Ему хоть бы что! И внимания выражает, — рубль! Ну, этот…

Доримедонт Парфеныч качнул головой и значительно крякнул:

— От Юрия Милославского! Ему никого не надоть, — рубль и дает.

Доримедонт Парфеныч весело рассмеялся и стукнул об стол двугривенным.

— Француз Дорси! Двугривенный в руку сует. А, шут его! Понимающий человек? С двугривенным к министру идет?! А не взять нельзя: гостеприимство оказать следует. Европа!

Будущий зять, смотревший и слушавший с благоговением, спросил:

— Ну, а по вашим, папаша, наблюдениям как?

Доримедонт Парфеныч допил чай и подвинул стакан в самовару.

Принял новый налитый стакан.

— Больших перемен, по моему мнению, не будет!

Помешал ложечкой и добавил:

— Нет!

Подумал:

— Нет!

Отпил несколько глотков чаю и пояснил:

— Грубо выражаясь… всякая лошадь из конюшни орлом вылетает!.. Дальше как пойдет!

И вздохнул:

— Дистанция бо-ольшая!

Зять кашлянул и сказал:

— Курьеры, папаша, молебствие решили служить. По случаю бомбы. Благодарственное. За здравие министра. А за многолетием и ваше имя упомянуть. Тоже подвергались.

Доримедонт Парфеныч хмыкнул.

Это было ему приятно. Но он остался солиден:

— Все подвержены! Наше дело такое. А помолиться всегда по нынешним временам не мешает. Дело хорошее. Не препят…

В эту минуту дверь из швейцарской отворилась, и курьер с насмерть перепуганным лицом крикнул шепотом:

— Доримедонт Парфеныч, идите! Граф…

Он произнес фамилию такого графа, что Доримедонт Парфеныч сразу очутился в ливрее и стремглав вылетел в швейцарскую.

Он поспел вовремя, чтобы «принять» николаевскую шинель, которую сбросил ему на руки входивший граф.

— Мне ответили по телефону, что его высокопревосходительство дома!

— Докладывают-с! — благоговейно сказал Доримедонт Парфеныч.

Граф не торопясь пошел.

На середине лестницы его встретил сбежавший сверху курьер:

— Просят!

Наверху встретил дежурный чиновник и глубоко, глубоко поклонился:

— Ожидают!

XVI

Когда Александру Ивановичу, лежавшему на диване, доложили о приезде графа, — у него сдвинулись брови.

Он сердито вскочил.

— Еще граф! Эх их! Графский день!

И пожал плечами:

— Что ж! Просите!

Граф вошел, звеня шпорами, подал широкую руку, немножко ладонью вверх, слегка раздвинул фалды длинного генеральского сюртука и сел удобно, закинув нога на ногу.

— Я вам не помешал?

И в тоне его слышалось, что ему совершенно все равно: помешал он или не помешал.

— Вы, может быть, отдыхали? А?

И в тоне его слышалось, что ему решительно все равно: отдыхал Александр Иванович или не отдыхал.

— Вы позволите курить?

И закурил.

— Или вы, может быть, не любите. Есть люди, которые не выносят, когда курят!

И в тоне его слышалось, что ему абсолютно безразлично: любит его собеседник или не любит, чтобы при нем курили.

Александр Иванович смотрел на него пристально и сосредоточенно.

— Прежде всего, поздравляю вас… я про бомбу!

Александр Иванович улыбнулся.

— Профессиональный риск! За него даже по суду ничего не полагается!

Граф посмотрел на него с интересом:

— Да?.. Это хорошо.

Он пустил струю дыма.

— Константин Петрович вам кланяется.

Александр Иванович снова улыбнулся:

— А! Моща!

Граф посмотрел на него с удивлением.

— Я приехал к вам, мой уважаемый, чтобы поговорить с вами и условиться от имени нашего кружка… или, как теперь называют, «партии»!

Лицо Александра Ивановича стало страшно внимательным:

— Вы хотите принять участие в выборах?

Граф повернулся и смотрел на г. Гучкова во все глаза.

— В каких выборах?

— В выборах в Государственную Думу. И хотите легализации правительством вашей партии? Так я вас понял?

Граф поднял плечи, потом опустил.

Лицо его стало скучным, недоумевающим, он еле-еле нехотя улыбнулся.

— Я очень рад, уважаемый Александр Иванович, что вы в таком… шутливом настроении. Но мы пошутим потом, если вам угодно. А теперь я хочу поговорить с вами серьезно. Совершенно серьезно. От лица нашей партии. Кто мы, что мы, — нам рекомендоваться не нужно!

— У меня есть своя партия. На которую я и буду опираться! — тихо и твердо сказал Александр Иванович.

— Я знаю. «17 октября».

— Приступка!

— Как!

— Ступенька. Лестничка, если вам угодно. Чтобы вспрыгнуть!

— Ага, — сказал ошеломленный граф, — какая же теперь ваша партия? Не секрет?

— Она уже существует. Она многочисленна. Она многочисленнее всех существующих партий. Всех! Но она еще не сформирована!

— А-а!

Этого иронического звука словно не заметил Александр Иванович.

— Но она начнет формироваться завтра. Она будет расти, как снежный ком. Как лавина. С быстротой сказочного богатыря. Вот где «богатырь дела»! И как снег же свалится на голову. И займет собою все. И вытеснит все!

— Простите, но вы говорите, как пифия! Что же это за партия? Кто ее составляет?

Александр Иванович поднялся.

Он говорил возбужденно, резко. Словно кидал оскорбление за оскорблением.

— Все! Все, — чей здравый, житейский, реальный, — в обиходной жизни, в деле строительства единственный! — разум создал поговорку о журавле и синице. Помещики. Разорившиеся, задолжавшие, перезадолжавшие помещики, которые предпочтут лучше сохранит хоть что-нибудь, чем потерять все! И которым голос их кармана, сильнейший из голосов, скажет идти за теми, кто предлагает им комбинацию, при которой они могут вылезти из долгов хоть с какими-нибудь грошами. Купцы, которым нужны крестьяне, как покупатели, которым нужно, чтобы деревня не с голоду мерла, а имела возможность покупать себе даже лишнее. Непременно лишнее. Вы считали развратом, если мужик «самовар себе заводил», если парень покупал себе итальянскую гармонику, если баба надевала в праздник новый платок. Мы, купцы…

Александр Иванович ударил себя в грудь.

— … мы хотим, чтобы это было так, потому что эти самовары, гармоники, бабьи платки — наш хлеб. Хлеб наших рабочих. Ко мне, в эту партию, — пойдут бесправные мещане, обираемые вашей полицией, ремесленники. Пойдут все те, кому нужна работа и давальцы, — спокойствие для работы и зажиток для давальцев, чтобы больше заказывали и лучше платили. В эту партию пойдут умные мужики деревни, которые поймут, что лучше данная в долгосрочный и льготный кредит синица, — чем даровой журавль, которого никогда и нигде еще не летало на свете. Главное, — которые будут верить в эту синицу, действительно почувствуют ее уже в руках, потому что будут видеть не одни обещания,

но и исполнения, — несомненное начало их исполнения. К этой партии примкнут те, истинно «сознательные» рабочие, которые поймут, что царства справедливости, этого рая, нельзя создать на грешной земле, но можно создать царство, где можно стремиться к справедливости. Рабочие, которых не будут от экономических вопросов нагайками загонять в политику.

В эту партию пойдут все люди труда, дела, которые и создали Россию, создали все, что есть в ней крепкого. Благодаря которым, она еще держится среди урагана. Основа этой партии — самая могучая основа, какую только знает мир. Эгоизм. Эгоизм, жизненный, реальный, трезвый и умный, — как разум! Сюда придут те люди, которые скажут себе: «Живут один раз. Не все же жить для потомков. Позволительно пожить и для себя. Не так, быть может, как хотелось бы. Но сравнительно с прошлым — все же недурно. И даже очень, сравнительно, недурно. Пусть всякое поколение само устраивает себе жизнь, как ему лучше. Мы достаточно потрудились и устали, добившись того, что получили. И имеем право отдохнуть на мирной работе!» Что будет дальше? Я не знаю. Не интересуюсь знать.

— После нас хоть потоп, ваше высокопревосходительство, Людовик XV?

— Победит социализм, — продолжал г. Гучков, словно не слыша иронического восклицания, — или явится новая теория, и социалист будет смешон, так же, как были бы забавны в наше время декабристы, в свое время предлагавшие «из гуманности» ограничить срок действительной военной службы… «всего пятнадцатью годами». Вон, Витте, говорят, верит, что будущая Россия — Соединенные Штаты. Не знаю-с! Не хочу знать! Потому что будущего не изменишь. Жизнь течет, как река. Мы стоим на берегу Волги. Она течет от Твери до Астрахани. Бесполезно говорить: «Тебе бы

завернуть в Воронежскую губернию! Ты там нужней!» Она течет, куда должна течь. Мы хотим использовать тот участок великой реки, который перед нами. До астраханцев нам дела нет! Мы хотим здесь поплавать, поторговать…

— Рыбки половить?..

— Только не так, ваше сиятельство, как на реке Ялу!

— Вы резки… однако…

— Прям.

— Кто ж это вы? Вы?

— Мы те, которые работали в то время, когда вы ничего не делали. И это еще самое лучшее! А то делали… не умное… Мы те, которые учились, когда вы мешали нам учиться. Торговали, когда вы вашим вмешательством путали наши дела, нашу торговлю, сбивали с толку нашу промышленность. Мы те, которые писали, в то время как вы толкали нам под руку цензурой. Инженеры, доктора, журналисты, купцы, учителя, священники, не желающие в храме Божием служить охранному отделению, — все, кто только хочет приложить свой труд к живому, сегодняшнему делу, хочет при жизни своей еще видеть плоды своих трудов, наполнить жизнь производительной работой и помочь будущему поколению подняться на другую, высшую ступень жизни. Мы те, кто скажет себе: «Предшествующие поколения, мы добились кой-чего. Возьмем же это, используем как можно лучше, больше. Сделаем это из благодарности к предшествовавшим поколениям, из жалости к себе, из желания добра грядущим поколениям». Учителя, которые получат возможность учить, а не трепетать, беспрерывно трепетать, только трепетать под «охранным» оком инспектора. Журналисты, которые получат возможность писать, не видя перед собой ежеминутно, ежесекундно их музу, господина в вицмундире, с жабьим лицом и «донесеньицем» в руке. Доктора, на которых не будут смотреть, как на кандидатов в Якутскую область только

потому, что он зимой, во вьюгу, в метель, осенью, в непролазную грязь, в проливной дождь, летом в изнуряющую жару, за десятки верст ездит лечить голодных мужиков и баб. Доктора, рапорты которых о санитарном состоянии деревни, тюрем, не будут рассматриваться, как документы о государственном преступлении. Мужики, которым вы давали плети, когда они просили хлеба. Адвокаты, которым не придется падать в обморок или вылетать бомбой из залы от окриков председателя и всю жизнь свою быть на суде свидетелями беззакония. Судьи, которым не будут диктовать приговоров администраторы. Все мы. Все, кто учились, трудились, думали. Кто знает, кто может. Пришла наша пора править и делать жизнь. Нам открыта лазейка, мы хлынем в нее, не ожидая, пока ворота раскроются во всю ширь. Наша пора пришла поправить. И мы воспользуемся ею. Я не знаю, что будет дальше. Но пока мы, — мы воспользуемся нашим завоеванным правом, возможностью, силой. Наша пора пришла. Вы, господа в вицмундирах, всех форм и покроев, в отставке. В чистой, в бессрочной. Вы заблудились в лесах на Ялу, вы были смертельно ранены при Ляояне, при Мувдене, вы сдались в плен в Порт-Артуре, вы утонули при Цусиме, вы умерли в Портсмуте. Вас нет. Вас не существует. Это душа ваша бродит по свету, — как говорят у нас, в народе, — по мытарствам.

Граф кусал усы, но старался казаться спокойным.

— Это у вас от бомбы! — сказал он, произнося слегка в нос. — Мой сын тоже. Когда побывал в первом огне, — рана еще не прошла, все рвался из Петербурга бить японцев. Это у вас от бомбы… После первого огня вы такой воинственный. Прямо войну объявляете. А? Так-таки прямо войну?

— Вам угодно действовать против меня? Ничего, кроме благодарности не скажу! Рад! Душевно рад! Я в ссоре со всеми

партиями, — но, если узнают, что я в ссоре с вами, — это создаст мне тысячи симпатий. Враги наших врагов — наши друзья, граф.

— Я имею право на титул: «ваше сиятельство».

— Как я на титул: «ваше высокопревосходительство». Я не популярен, но вы своей враждой меня поднимаете в глазах публики. Меня не считают больше «общественным» деятелем. Но когда узнают, что вы, господа, против меня, скажут: «Значит, в нем есть нечто общественное. Много общественного». Благодарю вас заранее. Лучшей услуги вы не могли бы мне оказать. Это — единственная, которую вы мне можете оказать.

— Ого!

Граф с сожалением оглянул комнату.

И незначащим тоном спросил:

— Вы в первый раз здесь? А я приезжаю к четвертому премьер-министру.

Александр Иванович поднял голову.

Все лицо его смеялось.

— Отставку?! Но торопитесь, ваше сиятельство! Сегодня же вечером! Непременно! Завтра будет поздно!

Граф посмотрел на него с изумлением:

— То есть?

— Завтра будет поздно. Завтра утром вся европейская печать, весь мир уже будет знать, что я, неспособнейший к министерскому делу человек, — последнее, за что ухватились. Что дальше не за что… Хаос!.. Вы понимаете? Последнее сорвалось! Рента полетит за пятьдесят!

И он спокойно прибавил:

— Большая потеря для того, у кого много. И акции тоже. Все. При онкольном счете колоссальные доплаты.

Граф поднялся.

— Нда… Вы такой?

— Я такой.

Граф помолчал:

— «Будем посмотреть», говорят немцы.

— Зачем же немцев? По-русски есть поговорка: «Увидим! — сказал слепой».

Александр Иванович рассмеялся.

— До свиданья, ваше высокопревосходительство!

— До свиданья-с, ваше сиятельство!

Приехав домой, граф приказал снимавшему с него шинель швейцару:

— Приедет с визитом господин Гучков, — меня нет дома.

— Его высокопревосходительство? — осведомился швейцар.

— Я тебе сказал: господин Гучков. Переспрашивать? Дураки!

Швейцар вошел к себе, улыбаясь во весь рот, и сказал жене:

— Придется скоро Доримедонта Парфеныча опят с новым министром поздравлять!

А г. Гучков, ложась в постель в этот вечер, припомнил все, что было за день, и, улыбнувшись, подумал, с удовольствием потягиваясь:

— Хорошо проведенный день!

И заснул, как человек, который уверен в завтрашнем дне.

XVII

По Петербургу шел гул.

В министерстве чуть не сотнями получались каждый день анонимные письма с адресом:

— Его высокостепенству Александру Ивановичу Гучкову.

А Загорецкий уверял, что следует писать так:

— Его высокопревосходительной светлости господину финансову, купцу Абдулину.

В наиболее замкнутых «своих» клубах, в ресторанах, где завтракает и ужинает лучшее общество, создался и в гостиные проник особый язык.

Министерство звали теперь:

— Лабаз.

Говорить иначе считалось «непонятным».

— Я в министерство внутренних дел!

— Виноват, такого больше нет. Упразднено!

— Как же? Г. Гучков!

— А! Вы в лабаз!!

Комиссию по составлению законопроектов для представления в Думу звали:

— Кладовкой!

А про ожидаемую министерскую декларацию спрашивали:

— Скоро «он» свой прейскурант выпустит?

Г. Гучкова звали:

— Сам.

Его будущих министров:

— Подсамки.

Его чиновников дразнили:

— Правда, что он вас «робятами» зовет?

Какой-то остроумец пустил, что отныне все «табели о служебных лицах перелицовываются на купеческий фасон».

— Он, видите ли, полагает, что все горе России от громких названий. Начальник станции какой-нибудь, — к нему не подступись! Грубит! Пассажиров первого класса обрывает! Спроси у него отыскать свободное купе, даже для дамы: — «Я вам не мальчик!» Почему? Потому что он «начальник»!

А переименуй его: «старший станционный сторож», — под козырек пассажиру делать станет: «В сей момент, ваше-ство».

Рассказывали, что «есть проект» переименовать губернаторов в:

— Приказчики на отчете.

Временных генерал-губернаторов:

— Подручные.

Судей в:

— Молодцы!

— На отчете приказчик мигнул подручному. Подручный — молодцам слово, — и ищи человека! Кратко, — и даже купцу третьей гильдии понятно.

Князь Тугоуховский, которому племянник долго кричал на ухо про бомбу и про Гучкова, по обыкновению все перепутал, и приставал во всем с вопросом:

— Слышали? До чего дошло! Купец Гучков с бомбой попался, — в министра бросить хотел! А? Говорят, повесят!

На что племянник, причисленный к министерству, только вздыхал:

— Дал бы Бог!

Про самую бомбу кто-то гаркнул:

— Сам подстроил! Ничего подобного!

И пол-Петербурга, как это всегда бывает, повторяло:

— Ловкую рекламу своей фирме устраивает!

Узнав, что «господин Гучков» даже графу… самому графу!.. визита не отдал, Фамусов в ужасе воздел руки горе:

— Да он властей не признает!

А княгиня Марья Алексевна со «своей» печальной улыбкой только осведомлялась:

— Правда, что «он» даже без помощи носового платка обходится?

Люди, купившие ренту по 68, — цена в день отставки предыдущего премьера, — были разочарованы.

Рента поднялась на четвертак, да так на четвертаке и застыла.

По этому поводу за завтраком у Кюба, «в низке», где завтракает весь деловой Петербург, кто-то во всю глотку сказал:

— Четвертак ему и вся цена!

Крылатое слово пошло по Петербургу.

Опереточная примадонна Рывкина, 62 лет отроду и 18 пудов весом, исполняя в какой-то оперетке известные куплеты с припевом:

Так грош тебе,
Так грош тебе,
Так грош тебе цена!

Спела, по совету знакомого рецензиста:

— Так четвертак тебе цена!

При громе аплодисментов всей публики.

За что дежурный помощник составил на нее протокол:

— За намеки на правительство.

А градоначальник посадил певицу на три дня на Казачий плац, как называется в Петербурге арестный дом.

По выходе оттуда, при первом же ее появлении на сцене, пострадавшая примадонна получила до шестнадцати букетов и три лавровых венка.

Один даже с надписью на лентах:

— Вы жертвою пали в борьбе роковой!

От «выжигающих из лучшего общества», — как значилось на пришпиленной карточке.

Это был кружок дам лучшего общества, выжигавший по понедельникам по дереву «в пользу бездомных кошек».

— «В виду требований политического момента», — как значилось в резолюции, принятой кружком, — дамы решили «примкнуть к движению» и выразить протест «толкучему правительству».

Т. е. правительству с Толкучки.

Вообще:

— Революция окончательно проникла в театр! — как доложил полицмейстер градоначальнику «на предмет закрытия оных».

В Александринском театре, во время представления «Ревизора», когда городничий — г. Давыдов завопил на купцов:

— Архиплуты, протобестии, надувалы морские!

Грянул неслыханный гром аплодисментов.

Произошла манифестация.

С арестами.

«Ревизор» сделался самой модной пьесой и потому был снят со сцены казенных театров.

Но его ставил г. Суворин.

Плакал, но ставил.

Писал в «Маленьких письмах» в своей газете:

— Глупо вмешивать искусство в политику, — как глупо Гоголя, великого Гоголя, заставлять ругать министра!

Но ставил «Ревизора» в своем театре каждый день.

И даже про «Шерлока Холмса» выразился:

— Позвольте! Какой там к черту «Шерлок Холмс»?! Публика хочет классического! Ставьте «Ревизора» каждый день. На святках будем по два раза в день жарить!

Пока, наконец, главное управление по делам печати, на основании пункта «б» статьи 00 «временных правил о свободе печати», не исключило совсем сцену представления купцов в «Ревизоре»:

— Как временно не соответствующую взглядам правительства.

В книжных магазинах искали экземпляров «Ревизора», и те, в которых находили, закрывали «навсегда».

Г. Суворин на 14 ротационных машинах жарил новое издание «Ревизора» без «криминальной» сцены.

В городе была обнаружена подпольная типография, где печатали «Ревизора» полностью.

Говорили, что виновные преданы полевому суду.

И что их судили в масках.

Вообще, город был полон всевозможных слухов, и в Петербурге делалось, действительно, черт знает что.

Г. Кантонистов, как выражаются рецензенты, «имел такой умопомрачающий фурор», какого не имел даже г. Сигма во дни своей кувейтской славы.

Но г. Кантонистова звали.

Как зовут на пирог, на поросенка, — вообще на хорошие и лакомые вещи.

— Приезжайте! Кантонистов будет! Он сегодня в четырех домах! К нам в половине второго ночи приедет. Вы не слыхали, как он рассказывает про свидание с этим… с премьер-министром. Я три раза слышала. Но есть, которые не пропускают ни одного раза. Так за ним из дома в дом и ездят. Как он рассказывает! Как он рассказывает!

Г. Кантонистов являлся для рассказа не иначе, как в глубоком трауре.

Это:

— По русской государственности! — как с глубоким вздохом пояснял он.

Для него ставили кресло несколько поодаль, чтобы его всем было не только слышно, но и хорошо видно.

Около г. Кантонистова, по обеим сторонам кресла, становились две «преданные ему» дамы в черном, из числа ездивших за ним из дома в дом.

Одна с батистовым платком. Для утирания слез.

Другая с флаконом, из оникса, с восточным ароматом. Для приведения в чувство.

Обе с ридикюлями.

Все замирало.

Прислуге в столовой грозили отказом от места, если хоть раз стукнет посудой.

Наступало такое благоговейное, такое напряженное молчание, что в некоторых спиритических домах столы сами собой начинали бесшумно двигаться.

Было страшно.

И г. Кантонистов начинал.

Он говорил несколько в нос, потому что от постоянных слез простудился и получил насморк.

Он рассказывал:

— … я ему: «Россию, сказано, не “измеришь”! И купеческим аршином в особенности! Тут вам не Гостиный двор, не Охотный ряд! И сами вы больше не “Александр Иванович”, а ваше высокопревосходительство. Прияв сан, осенитесь мыслями! Отрекитесь от счетов и преисполнитесь мыслями, атомы, микробы которых, так сказать, витают в этих комнатах. Вы недовольны действиями людей на местах, всех нас, на Россию работающих, — подавайте мне вашу программу! Точную, ясную! Дабы я мог возгласить ее всей России. Ибо я — государственный язык. Государственный язык я, работая в казенной газете. Говорите же!» Он, что называется в народе, пик-мик, и ничего! Тут я и начал! Тут я и начал! Из скромности не передаю, да и длинно. Всю русскую историю ему от Гостомысла вычитал! Пусть знает. Он в слезы. «Руку, — говорить, — вашу! На совместную работу! Сплечимся!» Но я от него этак! «Нет, — говорю, — в газете “Россия” я писать буду, ибо служение отечеству. Но служить вам своей опытностью, — слуга покорный. Ищите себе приказчиков! А на мне орден!» И вышел.

В конце рассказа он вдруг поднимался и, ударив себя в жирную грудь так, что крахмальная рубашка даже издавала треск, словно по пустому картону ударили, вопил:

— Граждане петербургские! Заложим жен и детей! Спасем отечество от купеческого ига!

И падал, рыдая, и даже как бы в конвульсиях.

Одна черная дама, рыдая сама, отирала ему слезы батистовым платком. Другая давала нюхать из оникса восточный аромат.

Хор «ездивших из дома в дом» исполнял кантату.

А обе черные дамы, раскрыв ридикюли, обходили присутствующих, делая сбор.

На ридикюлях, белым бисером, по черному, было вышито:

— Пожертвуйте, православные, на основание оппозиционно-охранительной газеты.

Сборы в день давали до 17 рублей и более.

Это в свете.

Это были «светские удовольствия».

XVIII

В административно-деловых, в «настоящих» сферах возмущения было не меньше.

— Кадетов к черту! Мирно-обновленцев к дьяволу! Даже своих октябристов ко всем ведьмам! Истиннорусских людей к самому сатане! Позвольте! Где ж у него прицепка? Где ж у него опора?

— В обществе не популярен!

— Нам враждебен!

— Между небом и землей.

Кто-то сказал:

— Воздушный шар!

И слово осталось.

— Без руля и без ветрил! Не можем же Россию всякому авантюрье поручать!

— Россию на воздушный шар сажать!

— И сами садиться!

— Вот еще!

— Гамбетта какой выискался! На воздушном шаре с ним летай!

— Не всякий оппортунист — Гамбетта! Этого мало!

— Устраивай себе судьбу буров! А нас оставь в покое!

— Ни правой ни левой! Центр он, видите, какой-то к жизни вызовет!

— Да где он, центр-с? Где он, я вас спрашиваю? Не видать что-то!

— В роде «пупа земли», как у них в Москве веруют. Пупа земли ищет!

Как всегда бывает, сделавши, начали рассуждать.

— Позвольте-с! Откуда он? Да он еще после своего «покаяния»… или, как его там?.. «исповеди» знаменитой… его не существует! Ведь это же ясно, черным по белому, было напечатано. Им самим подписано. В чем его «credo[11]»? Что он заявил? Что объявил? В чем «исповедовался»? «К мнению его высокопревосходительства премьер-министра Петра Аркадьевича присоединяюсь, и меры его нахожу превосходными». Где же тут «свое» мнение? Какие же тут «свои» меры? К чему же тогда и менять? Оригиналы на копии?

— Позвольте-с! — гремел Скалозуб.

При слове «меры» он встрепенулся.

[11] Кредо *(лат.)*.

— Позвольте-с, если насчет «мер», зачем же тогда «шпак», «штафирка»? У меня любой штабс-капитан в пять тысяч раз дельнее будет! Ежели ты, кроме «пли», ничего не знаешь, — отойди к сторонке. Это уж дело военное. Военный должен «пли» командовать. Я давно говорил…

Все, все были возмущены.

— Да что же это такое?

— Без поддержки партий?

— Ни с чем считаться не хочет?

— Да что ж он диктатором хочет быть? Это только диктатор ни с кем не считается!

— Диктатором?

Скалозуб ревел:

— Не бывать штафирке!

В чайных «союза русского народа» пили и пели:

«Как от вражеского кова,
Бог спасет нас от Гучкова!»

Хор подхватывал:

«Мы дружно на врагов,
На бой, друзья, спешим,
Против гучковских ков
Мы грудью постоим».

Это была новая патриотическая песнь, как говорил г. Пуришкевич:

— Моего собственного сочинения!

Конечно, в общем, все это было, как выразился один скептик:

— Не более, как работа общественного мнения.

А потому:

— По самому существу своему вниманию не подлежало.

Но факт тот, что многие портные закрыли кредит чиновникам министерства.

В Петербурге ждали «событий».

XIX

В Москве отразилось слабо.

В «Большой Московской» сидели своей компанией купцы из Теплых рядов и в ожидании ракового супа с расстегаем пили листовку, закусывая провесной белорыбицей.

Был час дня. Все столики были заняты завтракающими.

Вдруг в зале произошло движение.

Какой-то огромный и очень толстый господин крутился между столами, задевая дамам за шляпки, наступая сидящим на ноги, спотыкаясь на столы и иногда попадая рукой в кушанья.

Он говорил:

— Виноват! Я вас, кажется, обеспокоил? Ой, горячо! Я вам, кажется, в почки?

И снова задевал дамам за шляпки, наступал сидящим на ноги, спотыкался о встречные столы и попадал рукой в кушанья.

Лицо у него было вдохновлено. Глаза были где-то «не в здешней стороне».

Видимо, что он был занят какой-то мыслью.

И потому рассеян.

Англичанка-туристка, красневшая до корня волос, когда к ней подходил половой в белом, посмотрела в «Бэдэкер» и, не найдя там ничего, спросила у завтракавшего с ней англичанина-москвича:

— Кто этот джентльмен?

Тот наклонился и прошептал:

— Тс! Не говорите по-английски! Мистер Шмаков!

Англичанка взглянула в «Бэдэкер» и прочла:

«Величайший в мире враг Великой Британии».

Англичанка испуганно замолкла.

Увидав купцов, сидевших своей компанией, г. Шмаков сказал:

— А! Вот вы!

— Виноват! — изумленно воскликнул один. — Не имеем чести…

Но г. Шмаков прервал:

— Ничего не значит. Шмаков!

Подал всем руку, даже половому в белой рубахе, который разливши раковый суп, подавал пухлый расстегай с пухлыми налимьими печенками.

Заметив рассеянно:

— А вы не одеты? Так ходите?

Он сел и тотчас привскочил, вынув из-под себя цилиндр с широкими полями, какие носят старомодные купцы.

— Виноват! — сказал г. Шмаков, покрывая смятым цилиндром провесную белорыбицу.

Он оглядел сидевших за столом «орлиным взором» и строго спросил:

— Русские?

Один из купцов, постарше, от изумления даже перекрестился. Даже двуперстным сложением.

— Господи Иисусе!

Г. Шмаков уже спокойно сказал:

— То-то! А то я вчера одного истиннорусского человека уговаривал жидов бить. Часа два уговаривал. Кажется, даже уговорил. — «А как, спрашиваю, ваша фамилия?» Говорит: «Кегулихес!» Как я от него. На улице было. У извозчика лошадь с ног сшиб. Оглобля пополам. 14 рублей убытку заплатить пришлось. Нынче говори с оглядкой: везде масон гадит!

И, наклонившись к столу, он прошептал, страшно ворочая глазами:

— Новость!

Купцам стало боязно.

— Только ни гу-гу! Пока никому ни слова! Не разрешат! На той неделе сам в думе трахну. Гучков-то!

— Ну?

— Александр Иванович!

— Ну?

— Премьер-министр!

— Ну?

— Жид!

Купцы отшатнулись.

— Факт! — пронизывающим шепотом шептал г. Шмаков.

— Может ли это быть? — усомнился кто-то, опомнившись от неожиданности.

— Не подлежит сомнению! От банщика знаю. Банщик говорил, который мыл. Банщик всегда знает. Я теперь этого банщика на погребице держу. По рукам, по ногам связан!

Купцы ужасались все более и более.

— Банщика-то зачем же на погребицу?

— А чтоб не убежал! Убежит, — сейчас его жиды купят, франкмасоном сделается и ото всего отречется!

Лицо г. Шмакова сделалось хитрым:

— Нет, шалишь, брат! Селедкой кормлю! Пить не даю! Подтверди свои слова пред городской думой, — дам напиться!

— Законом запрещено! — высказал кто-то.

Г. Шмаков махнул рукой:

— Временное правило!.. Временное такое правило установил. И банщика за мной в думу принесут!

— Ослабеет банщик-то, — заметил купец помоложе с сожалением.

Лицо г. Шмакова сделалось свирепым:

— Броун-секаровской эссенции под кожу ему, подлецу, впрысну! Жид один, — пояснил он, — Броун-Секар, эссенцию такую изобрел. Повесить бы его! А эссенция хорошая!

Воцарилось молчание.

— Нет, господин! — воскликнул вдруг пожилой купец, тряхнув бородой. — Оно, конечно, банщикам это надо знать. А только не может быть, чтоб этакое было. Гучков вдруг…

— Жид!

— Из купеческого семейства!

— Человек! Подай сюда сейчас, сию минуту, телефонную книжку или какой другой жидам прейскурант! Сколько жидов в Москве купечеством занимается?

— Мы и без книжки, — остановил купец, — а все-таки быть не может. Фамилией Гучков.

— А Поляков?

— Русская фамилия.

— А Поляков? Китайская?

В глазах Шмакова загорались огни.

— Весь род их знаем.

— Жид!

— Не может этого…

— Жиды! — завопил вдруг г. Шмаков и изо всей силы ударил кулаком по расстегаю.

Нежные налимьи печенки полетели во все стороны.

Купцы в ужасе повскакали с мест.

— Жиды! Все, все жиды! — вопил г. Шмаков. — Знаю я вас, великих мастеров! Вон он, вон в белой рубахе ходит! Вы думаете, он — половой? Он — франкмасон! Другого бы, пройди в одном белье по залу, давным-давно бы в участок взяли. А они, жиды да франкмасоны, вместе стакнувшись! Они все в свои руки взяли! Им все можно!

Москвичи продолжали есть, приезжие обернулись и смотрели.

— Что это за безобразие? — возмутился какой-то господин, сидевший с дамой.

— Г. Шмаков-с! — извиняющимся тоном пояснил метрдотель, нежно склоняясь. — Г. Шмаков.

— А!

XX

Среди дел министру-президенту доложили, что:

— Приговор военно-полевого суда над неизвестным, не пожелавшим объявить своего звания, покушавшимся на жизнь г. министра, приведен в исполнение сегодня на рассвете.

Он умер спокойно и сурово.

Как большинство людей его партии.

— Словно утвержденный «церемониал… умирать!» — подумал г. Гучков.

Но в этой суровой кончине была одна минута нежности.

Неизвестный не спал, ожидая казни.

Он ходил по камере, что-то напевая про себя.

Когда прислушались, оказалось — «Старый капрал».

«В ногу, ребята, идите,
Полно, не вешать ружья!»

Это была предсмертная песнь Валериана Осинского.

Жандармский ротмистр прервал «монотонное пение», действовавшее ему на нервы.

Он вошел в камеру:

— Вы, может быть, хотите написать письма?

Осужденный взглянул на него простодушно:

— Можно?

— Вы имеете право!

И ротмистр приказал подать бумаги, конверты, перо, чернил.

Осужденный писал долго, низко наклонившись над столом, так что ротмистру никак не удалось видеть его лица.

Когда кончил писать, — писем оказалось два.

Одно, на четырех страницах, он заклеил в конверт без адреса.

Другое было — маленькая записочка в несколько строк:

«Мамуся! Твой "попочка" думал о тебе в последнюю минуту. Для тебя есть письмо у жандармов».

— Вот! — сказал он, подавая ротмистру оба письма. — Эту записку вы напечатаете в какой-нибудь газете.

Он улыбнулся:

— Без просьбы: «просят другие газеты перепечатать». Перепечатают сами. Государству от этого непосредственной опасности не грозит, — а одной очень старой и несчастной женщине вы доставите, хоть и ужасную, правда, но все-таки отраду. И на могиле растут цветы. И в горе бывает своя печальная радость. По одному слову…

И в глазах неизвестного молодого человека, на всем лице его разлилось что-то детское.

Он улыбнулся доброй, сконфуженной и словно виноватой улыбкой.

— «Попочка», — она узнает, что казнен ее сын. «Попочка» — это наше слово! — пояснил он. — Она меня так звала. Я болтал без умолку. Все болтаю, все болтаю. Так и осталось прозвание… с детства.

Он сладил с воспоминаниями.

— Тогда, — продолжал он уже твердо и спокойно, — дней через пять, через шесть к вам приедет очень больная, задыхающаяся старушка и спросит письмо от ее сына. Извиняюсь за нее, что она будет перед вами очень плакать. Вы ей

отдадите… Кстати же, — добавил он, — вы узнаете мое имя, что вас очень интересует! Вот и награда за доброе дело. Вот гонорар!

— Почему же вам теперь не сказать?

Неизвестный хитро прищурил глаза:

— Ишь вы! Авансом желаете? А пять-то, шесть дней, — шутка? Срок большой! Всем уехать можно. Все спрятать. Через пять-шесть дней раскрытие моего знатного инкогнито не будет уже никому опасно!

И с лица его, с улыбки все еще не сошло то детское, простодушное выражение, которое вызвали воспоминания.

Это «детское» почему-то страшно взбесило ротмистра.

— «Все вы “мальчики”! А убивать нас не мальчики?»

Ему хотелось кольнуть, ударить «мерзавца». Побольнее.

— Матери не пожалели-с?

Тот ответил, глядя на него своими задумчивыми глазами:

— Я себя не пожалел. А это, говорят, в человеке самое сильное: любовь к себе.

Ему вдруг словно стыдно стало за свою «слабость» перед врагом. Он выпрямился, прищурил свои красивые глаза и спокойно, твердо сказал:

— За матушку я не боюсь. Ей жить немного. А с моей казнью и еще меньше. Последние дни она не будет нуждаться: народное правительство назначить ей пенсию. Ее похоронят с честью.

Ротмистр засмеялся, но смех вышел деланным.

— Что будет-с… э-э… не знаем-с! А пока что, — факт налицо. Вас через час повесят-с. А я пойду домой пить чай. С калачом, с икрой-с!

Неизвестный учтиво поклонился:

— Приятного аппетита!

— Будет передано на усмотрение г. министра! — резким официальным тоном сказал ротмистр и вышел.

Молодой человек подошел к виселице спокойно.

Тщательно оправил петлю, чтобы избежать лишних страданий.

Из мешка послышался его крик:

— Да здра…

В эту минуту подпорка с грохотом вылетела.

Крик вдруг перешел в пронзительный визг.

Такой, что палач шарахнулся в сторону и наклонился, словно ожидая удара.

Послышалось хрипение…

Александра Ивановича передернуло, и внутри у него стало холодно.

Александру Ивановичу каждый день приходилось читать в газетах, а теперь в донесениях:

— Расстреляно шесть.

— Повешено трое.

Но это была «какая-то алгебра».

Какие-то Иксы, Игреки, неизвестные, — отвлеченные величины.

А тут…

Он почувствовал, что убили живого человека.

Человека, которого он видел, знал. Который помнил его слова.

Это лицо. Красивые, задумчивые глаза. Мягкая, пушистая белокурая бородка. Румянец щек.

Ничего этого теперь нет.

Исчезло.

И фраза, с которой он обратился к князю Трубецкому…

— «Опят князь!» — мелькнуло все-таки в уме у г. Гучкова.

— «Прекрасному и чувствительному сердцу не раз придется»…

Эта фраза показалась ему теперь отвратительной, омерзительной до тошноты.

До физической тошноты.

Он чувствовал, что его тошнит.

— «Что это?»

Он схватил себя в руки.

— «Лес рубят… В бою дерутся не рассуждая! Наполеон, тот бы не подумал»…

И у него мелькнула почему-то мысль:

— «В революции, в воздухе носится тень Наполеона. Все хотят быть Наполеонами. Все считают себя Наполеонами!»

И почему-то мелькнул в уме Раскольников, который:

— «Хотел быть Наполеоном».

Он совладел с собой и сухо сказал:

— Удовлетворению не подлежит. Не время и не место вводить в пьесу сентиментальности!

Чиновник вкрадчиво заметил:

— Появление старухи могло бы дать полезные указания. Выяснение личности дать нить…

Гучкова передернуло:

— Недостойно!

И, разозлившись на все, на себя, на весь мир, он закричал, комкая предсмертную записку казненного:

— Сами виноваты! Зачем воспитали так детей, что они сплошь революционеры!

XXI

В газетах появилось известие:

Новое покушение на министра-президента

«Вчера в приемной г. премьер-министра была арестована бедно, но прилично одетая подозрительная старушка, в ридикюле которой оказалась бомба. По признанию, сделанному в жандармском управлении, старуха хотела умертвить уже четвертого министра-президента, для чего не пропускала ни одного приемного дня

и неукоснительно являлась на прием. Но, по ее словам, "до нее никогда не доходила очередь". Производится следствие. В связи с этим произведено много арестов. Охрану министерства предположено значительно увеличить».

На завтра газеты сообщали:

«Старушка, задержанная в приемной премьер-министра, по подозрению в желании бросить бомбу, оказалась вдовой титулярного советника Пелагеей Ивановной Пантелеевой, 68 лет, хлопочущей о пенсии. В ридикюле ее, по осмотру, оказались не бомбы, а отношение губернского правления и ответы уездного казначейства».

На послезавтра газеты сообщали:

«Подозрительная старушка, задержанная в приемной министра-президента, высылается административным порядком на три года в Олонецкую губернию, под надзор полиции».

Александр Иванович читал газеты, комкал, кидал их под стол.

— Ничего большого! Мелкие, жалкие ошибки! Мелочные уколы печати! Все мелочь, мелочь, мелочь! Будни, будни, — министерские будни! Проклятые, серые, тоскливые будни! Преснятина! Никто не способен на что-нибудь крупное! Большое! Могучее!

XXII

Александр Иванович развернул длиннейшую телеграмму:

— «Ваше высокопревосходительство! Гордые сознанием, что урожденный москвич стал во главе государственного зодчества, — московская городская дума имеет честь»…

— Поправели так, что грамоте разучились! — улыбнулся Александр Иванович. — Придаточных предложений с главным не согласуют. Пишут, как в «чайной».

Он взглянул на подпись:

«Градский голова Гучков».

И, не дочитав телеграммы, с улыбкой взялся писать письмо:

«Дорогой Коля! “В первых строках сего моего письма”, строжайше, всей полнотой министерской власти, воспрещаю тебе посылать мне приветствия с “его высокопревосходительством”. Сам ты превосходительство! Брат приветствует брата! Картина для украшения классных комнат! А ты вот что. Понапри-ка на свою думу, чтобы она выразила сочувствие реальной политике реальным же способом. Самым реальным! Пусть увеличит помещение и расходы на содержание и усиление полиции. До каких только размеров возможно. Понял? “Да послужит, — как говорится, — пример первопрестольной столицы и другим городам”. Понимаешь? Момент решительный! Не до телеграфных слов! Я не кровожаден, ты знаешь. Величайшее бедствие, — гражданская война. Я и хочу ее предупредить, лишив “их” генералов, офицеров, даже унтер-офицеров. В широчайших размерах! Но если предупредить невозможно, я готов ее вызвать. “Положить раздражающее”, как говорили в старину врачи. Но вызвать одно, единственное генеральное междоусобное сражение. Чтобы кончить разом! Седан! Мукден! Мне нужны декабрьские дни, — но во всей России. Пресня, — но в десятке губерний. Пора сломить. Пусть “меры”, которым ты будешь содействовать непомерным увеличением полиции, или предупредят, или вызовут взрыв. Но взрыв! Я хочу видеть врага! А на мелкие, аванпостные стычки расходовать, истощать ни себя, ни России не желаю. Твой Александр».

Он взял другую длиннейшую телеграмму:

«Ваше высокопревосходительство! Гордые сознанием, что наш представитель купеческого сословия взять кормчим и поставлен у руля государственного корабля, мы заявляем вам все единогласно: “Мы ждем команды”»…

Александр Иванович улыбнулся:

— Это г. Калашников.

Посмотрел на подпись.

— Так и есть!

И рассмеялся:

— Он еще в Нижнем, на губернаторском обеде, всегда покойника Баранова одной и той же речью приветствовал. «Ярмарка, ваше превосходительство, это корабль. Вы, ваше превосходительство, капитан. Мы, ваше превосходительство, не что иное, как матросы. Вы, ваше превосходительство, крикните: "Лезь на мачту!" Мы, ваше превосходительство»… И Баранов его красноречие всегда одной и той же шуткой прерывал: «Г. Калашников так хорошо живописует море, что у меня начинается морская болезнь. Прошу вас, — перестаньте!» Каждый раз. Одно и то же, из года в год.

Он, не читая, просмотрел только подписи телеграмм:

— Такое-то купеческое общество.

— Такое-то.

— Такое-то.

И отодвинул этот ворох от себя:

— Частая смена министра хороша тем, что усиливает фонды государственного казначейства увеличением телеграфного дохода.

Он улыбнулся:

— Хоть бы телеграф забастовал! А то с ответами на эти телеграммы министру делом заниматься некогда.

И позвонил.

— Ответить! — приказал он чиновнику, подавая телеграммы.

XXIII

В кабинет Александра Ивановича Гучкова торопливо вошел Александр Аркадьевич Столыпин, красный и сконфуженный.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство Александр Иванович, что вам угодно было принять меня в неприемный день. Дело-то такое… Странное… щекотливое, так сказать, дело… как на него посмотреть… я никогда не утруждаю министров…

— В чем дело! — ласково спросил Александр Иванович. — Очень рад, если смогу…

— Дело в Алексее Сергеевиче Суворине! Милейший старик! Почтеннейший! «Аванс, а не человек!» как зовут его у нас в редакции. Несмотря на возраст, крепость сохранил изумительную. Самозванцем интересуется и от имени общественного мнения очень хорошо пишет. Но за последнее время… Извините, словно муха его какая укусила. Вдруг: «Я вас, говорит, петитом!»

— Как петитом? — удивился Александр Иванович.

— Мелкий шрифт так у них называется в газетах.

— Я знаю.

— «Я, говорит, вас петитом буду печатать». Согласитесь, мне обидно. Вдруг, все корпусом, корпусом, — и петит! Я ведь не как другие там литераторы. Мне не гонорар. Фамильная гордость страдает. Мы с Лермонтовым в родстве!

— Да почему же он так?

— Спросите! Говорю вам: «укусило». Изволите ли видеть, в голову ему вошло… Одним словом, непременно желает, чтобы ваш брат, Николай Иванович, у него писал!

— Но мой брать городским головой в Москве.

— Разве ему не говорили? Говорили! Уперся! «Пусть, говорит, бросит и в “Новое Время” идет». Нравный старик! Амбиция! «У меня, говорит, так публика привыкла, чтобы непременно брат министра виды правительства излагал! Опровержений больше! А опровержений больше, — шуму больше. А шум в газете, что на мельнице. Необходим. Без шума ни газеты, ни мельницы, — быть не могут». Подите с ним!

— Вы бы как через товарищей по редакции подействовали!

— Пробовал!

Александр Аркадьевич махнул рукой.

— Выбрал минуту, когда старик был помягче. Просил одного товарища… слово-то какое! Пошел к старику в кабинет, часа два битых там сидел. Я думал, что он что-нибудь в мой профит скажет, а он стариковым расположением воспользовался, и аванс себе выхлопотал. Не коварство? Выходит и говорит: «Ничего не мог сделать. Себе кое-какие гроши выцарапал, а относительно вас — кремень!» А он и не говорил! И себе-то две тысячи взял! «Гроши!» Вон они какие, литераторы-то!

Александр Аркадьевич поник головой.

— Но я, право, не понимаю, что ж я тут могу? Предложить вам в газете «Россия»?

Александр Аркадьевич с испугом воскликнул:

— Избави Бог!

И покраснел еще гуще:

— То есть… виноват… я не так… я не хотел…

— Ничего-с! — спокойно сказал Александр Иванович. — Но только тогда я решительно не понимаю, что же я могу?

— Все! Верьте мне, Александр Иванович, все! Старик самостоятелен! У-у! Но честолюбив! Склонность имеет: всегда так, как министры, думать. Льстит ему: совсем как у министра у него мысли. Стоить вам слово сказать. Он сейчас министерскую мысль на лету подхватит. Из честолюбия-с, единственно из честолюбия. Чтобы в голове у него было совсем как у министра!

— Хорошо… извольте… при свидании скажу…

— Страшно обязан буду. А то помилуйте, — петит. Не смею больше отрывать… Никогда не затрудняю министров. И если бы не петит…

Александр Аркадьевич, так же торопливо и такой же красный, вышел из кабинета.

— Будни… будни… министерские будни! — подумал Александр Иванович. — Одни мелочи.

И в сердце у него была тоска.

XXIV

Александр Иванович проснулся с тяжелой головой.

После сна он чувствовал себя не подкрепленным, а уставшим.

Ночь была тревожная.

Всю ночь снилась какая-то «ерунда».

Он был в комнате.

В «той» комнате.

Какая-то маленькая старушка, вся в черном, бродила из угла в угол, заглядывала под столы, под диваны, под кресла.

И звала.

Однообразно, протяжно, тоскливо звала:

— Попочка!.. Попочка!.. А, попочка!.. Где ты, попочка!..

Как кошка бродит и мяучит, у которой утопили котят.

Она шарила под креслом, на котором сидел Александр Иванович, и дотрагивалась до его ног руками, холодными, как у покойника.

И мороз пробегал по коже у Александра Ивановича.

Он чувствовал, как у него шевелятся волоса.

— Попочка-а!

И Александр Иванович старался, мучительно старался вспомнить:

— Где он видел попочку?

Где?

И у него выступал холодный пот.

И он не мог, не мог вспомнить.

Старушка уходила в другую комнату, и издали, из темных комнат, доносилось ее тоскливое мяуканье:

— Попочка-а!.. Попочка-а!

И Александр Иванович, словно прикованный к креслу, с ужасом думал, что вот, сейчас, старуха опять войдет в комнату и начнет шарить, искать.

И она появлялась в дверях.

И шла на него.

Неподвижно глядя бесцветными, оловянными глазами.

И говорила однообразным, безучастным голосом. Странным. Какие слышатся только в кошмарах.

— Куда вы дели моего попочку?

И подходила ближе, ближе…

— Куда вы дели моего попочку?

Александр Иванович чувствовал, что старуха подойдет, — и сердце у него разорвется.

Он хотел крикнуть от ужаса.

И не мог.

Он повторял себе:

— Это сон! Это сон! Нужно проснуться! Нужно проснуться!

И не мог.

А старуха была уж совсем близко.

— Куда…

Александр Иванович просыпался, весь в поту, с холодными ногами.

Он прислушивался.

Из других комнат, из темноты, доносился как будто шорох… платья…

Как будто послышался стон…

Он зажигал электричество.

Приходил в себя.

Бесился.

— Сцена из Шиллеровской трагедии! Русский министр-президент в роли Франца Моора!

«Внутренно хохотал».

Наружно улыбался.

Засыпал…

И снова старушка начинала бесшумно бродит по «той» комнате.

— Попочка-а… попочка-а… Где ты, попочка?..

И он видел перед собой вдруг клетку с попочкой.

Хотел взять.

И вдруг из-за решетки глядело на него молодое лицо, с задумчивыми глазами, с мягкой, пушистой бородкой.

И странным, металлическим, голосом говорило:

— А отвечать вам я не намерен!

И он хотел бежать от клетки и не мог.

Хотел крикнуть.

И не мог.

И снова просыпался в беспредельном ужасе.

Лежал прислушиваясь, словно ожидая что-то услышать оттуда, из темноты, из других комнат.

И снова засыпал.

И едва веки, тяжелые, как свинец, закрывались, и что-то тяжелое, как свинец, охватывало и давило голову, — снова раздавался голос:

— Попочка-а…

И так всю ночь.

И, просыпаясь ночью, он с тоскою думал:

Когда же, когда же свет, будут люди?

Александр Иванович занимался делами.

Ездил, куда нужно ездить министру-президенту.

Принимал доклады.

Работал над будущей министерской декларацией.

Перерабатывая ее в седьмой раз, он задумался.

И улыбнулся…

— «Когда-нибудь монах трудолюбивый»…

Ему представилась картина.

Публичная библиотека.

Какой-нибудь старик с бахромкою волос вокруг голого, лоснящегося черепа. Со спутанной бородой.

Над томами «Правительственного Вестника».

Низко наклонившись. Водит по страницам носом сверху вниз. Близорукий.

— А! Вот!

Что почувствует он, читая вот эту декларацию?

— Ну! Историк-то почувствует только радость: «Нашел! Наконец-то! Черт их возьми, какие тяжелые книги!» Знаменитая декларация Гучкова! Ну-ка, ее на свет!

Что скажет публика… Тогдашняя… незнакомая, неизвестная, которой, как ни напрягай воображение, нет возможности увидеть… которой не предугадаешь…

Что скажет эта публика, когда ей из мрака, из хаоса прошлого, из кровавого хаоса, как из погреба, вынесут, отряхнут плесень:

— А вот декларация Гучкова!

Улыбнется, быть может, прочитав?

Улыбкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом…

— Я даже становлюсь сентиментален! — улыбнулся и Александр Иванович. — Нервы!

И он принялся переделывать декларацию.

И ему казалось, что кто-то из-за плеча глядит на то, что он пишет, и смеется.

— Нервы!

Ему докладывали.

Он слушал с глубоким вниманием, но всякий раз, как упоминалось:

— Карательная экспедиция.

— Приговоры.

— Меры.

В стройной, последовательной нити его мысли мелькало молодое лицо, задумчивые глаза, мягкая, пушистая бородка.

Он подергивал плечами, словно откуда-то дуло.

— Нервы!

Он не любил проходить через «ту» комнату.

Чем бы он ни был в эту минуту занят, — он оглядывал ее с интересом.

— На каком кресле «он» сидел? Кажется, на том?

И иногда он чувствовал, что его тянет в эту комнату.

— Нервы!

Однажды, остановившись среди этой комнаты, он подумал:

— Не слишком ли мы много на себя берем?

И ему вспомнился Трепов. Грудь колесом. Ясные глаза. Смелый взгляд.

— Умер от сердца!

И ему вспомнился вдруг один покойный купец. Застрелившийся.

Они сидели небольшим обществом. Какой-то приезжий сибиряк, рассказывая про сибирские дела, упомянул о степном генерал-губернаторе, подписавшем недавно три смертных приговора.

— Какой ужас! — воскликнула одна дама.

Наступило молчание.

— А оно, должно быть, интересное ощущение, — задумчиво и улыбаясь, сказал купец, который потом застрелился, сидевший около письменного стола и вертевший в руках перо, — интересное ощущение: подписать вдруг смертный приговор.

И он написал на листе лежавшей перед ним бумаги:

— С. Холодов.

И все почему-то взглянули на подпись.

И ему, Александру Ивановичу, был неприятен почему-то росчерк. Размашистый, ухарский.

Александр Иванович подумал теперь:

— Ну, вот! Только этого и недостает! Конечно! Чтоб я со всем Петербургом принялся ругать «купца Гучкова». — «Захотелось купцу чужими жизнями пораспоряжаться!» Не напечатать ли этого? А?

И он поспешил уйти из «той» комнаты, невольно ускоряя шаги.

Тут чувствовался Трепов… и еще кто-то.

— Спиритизмом не заняться ли? — со злобой подумал Александр Иванович.

— Нервы!

Но в этот день, ложась спать, Александр Иванович снова почему-то вспомнил о Трепове.

— Во сне он…

И ему… Странное какое-то ощущение… Захотелось не засыпать.

— Почитать разве что-нибудь!

И уж окончательно озлобившись на себя, он подумал:

— Да что ж я, наконец, такое?

Вот и теперь…

Александр Иванович встал и подошел к зеркалу.

Лицо у него было усталое, слегка отекшее, бледное. Около глаз было желто.

— Доктору сказать! Kali bromati[12] пусть пропишет!

И ему представился номер газеты:

— Министр-президент А. И. Гучков заболел нервным расстройством. Созывался консилиум.

Он пожал плечами.

---

[12] Бромистый калий *(лат.)*.

— Положение хуже... министр-президентского!

Он рассмеялся.

И вдруг смолк.

Ему показалось, что смеется старик.

— Нервы!

И когда его окружили люди, и на столе зашуршали бумаги, и в окно глянуло заблудившееся и как-то попавшее в Петербург солнце, — он весело подумал, оглянув стены:

— Сей замок полон привидений!

XXV

Вторую неделю шли хлопоты по составлению министерства.

— Итак, граф... — говорил Александр Иванович.

— «Опять граф!»

Он сидел вечером в своем кабинете, с графом Шофгаузеном.

Сначала он послал к Анатолию Федоровичу Кони.

Анатолий Федорович Кони заболел.

Подождав один день, Александр Иванович снова послал к Кони.

А. Ф. Кони опять заболел.

Александр Иванович подождал еще два дня и опять послал к Кони.

А. Ф. Кони снова заболел.

Александр Иванович расхохотался и пригласил старика-графа Шофгаузена «по государственному делу».

— Итак, граф, — говорил Александр Иванович, — мы были с вами одной партии. Вы в ней ведь больше не состоите?

Старик кивнул головой:

— Вышел!

— И не принадлежите теперь ни к какой? Поэтому-то, главным образом, я на вас и остановился. Я не сектантский

собор собирать собираюсь. Для словопрений: «Како верует ши? Принимаешь ли сие? Отметаешь ли сие?» Партии… партийные счеты… партийные интересы на первом плане, заслоняющие собой общее, главное… Весь этот мусор парламентаризма… Я вместе с Толстым…

Старик посмотрел на него с любопытством.

— Я вместе с Толстым думаю, что это нам не нужно! Мы берем Европу не с того конца. Мы похожи на детей, которые, желая быть взрослыми, курят папиросы, допивают в рюмках остатки водки и сквернословят, хотя их тошнить и от того, и от другого, и от третьего. Вы не принадлежите к партиям. Ваше «верую и исповедую»: лучшее будущее и стремление к нему, несмотря ни на что. Мы одного лагеря. После всего, что я вам сказал, я предлагаю вам портфель министра юстиции в моем кабинете.

Граф…

Это был высокий, стройный, красивый старик, с немного выцветшими, как это бывает у стариков, но живыми, умными и пристальными глазами. От него веяло сухостью и безукоризненным благородством.

Граф слегка поклонился, улыбнулся и сказал:

— Знаете! Хотите я вам скажу, что вы в эту минуту думаете? Вы смотрите на меня и думаете: «Хороший бланк!»

Г. Гучков шевельнулся на кресле.

— Чудак-старик, — продолжал граф, — знаменит тем, что «отовсюду выходит». Куда ни придет, отовсюду в скором времени выйдет. Из городской думы вышел, из партии «17 октября» вышел… Что делать? Так. Каюсь. У меня, знаете ли, есть одна мерка. Маркиз Поза. Шиллеровский. Припишите это немецкой крови, которая течет в моих жилах… Когда мне представляется какая-нибудь общественная проблема, я спрашиваю себя: «Как поступил бы в этом случае маркиз Поза?» И… ухожу! Не виноват же я, что маркизу

Позе в наше время пришлось бы отовсюду только уходить! И из городских дум и из партий! Простите за отступление… Итак, вы думаете: чудак-старик, но репутация… ничего особенно фейерверочного не сделал. Не сверкает, не горит, не блещет тысячами ослепительных огней. Но светится мягким, ровным, тихим, чистым светом. Не какой-нибудь умопомрачительный солитер, но хороший камень, приличного веса и чистой воды, который не стыдно надеть ни на какую руку. И вы решаете: «Хороший бланк для моего министерства!»

Александр Иванович натянуто улыбнулся.

— И что ж? Вы желаете его поставить? Кончим в два слова. Да или нет?

Граф умоляюще поднял руки:

— Ради Бога, Александр Иванович! Так нельзя! В министры, по вашему мнению, люди должны легче идти, чем в дворники. Даже те договариваются! Позвольте поговорить об условиях.

Лицо Александра Ивановича стало скучающим.

— Я вас слушаю.

— Из проекта декларации, который вы мне с самого начала дали прочесть, я увидел… извините меня… ту же партитуру, только переложенную в другом тоне. Раньше это был «Фрейшиц, разыгранный перстами робких учениц». Теперь это solo[13] на тромбоне… Вы извините меня за излишнюю, быть может, прямоту?

— Продолжайте!

— «Реформы»… Раньше, у ваших предшественников, тут слышались тихие скрипки. У вас пущен барабан, валторны, тромпеты. Вы прибавили слова: «решительное», «безотлагательное», «немедленное». Те говорили: «Сначала успокоение,

---

[13] Соло *(итал.)*.

потом реформы». Звучало как что-то далекое. Вы говорите: одновременно! Нечто новое: возможно быстрое введение реформ. Но и нечто старое: вместе с тем успокоение по старому способу. Так я вас понял?

Александр Иванович утвердительно кивнул головой.

— Но это старо! — воскликнул граф. — Это уж было. То же обещал первый премьер-министр. И ничего не вышло. И никого не успокоило. Какие же у вас преимущества?

Александр Иванович ответил резко:

— Одно! В глазах общественного мнения — одно. При мне на бирже не будет терминов: «Жена министра продает» и «жена министра покупает».

Граф почтительно склонил голову.

— Полнейшая безукоризненность! Большое достоинство в государственном человеке. Огромное… и можно сравнить его с нолем. Оно увеличивает в десять раз все остальные. Разберемся. Вы не популярны.

— Я не актриса, чтобы заботиться о «публике»! Да и то нынче вон… во французском театре… ей кричат: «вон!» а она себе показывает ноги, как бревна, с подвязками из брильянтов, каждый… в морскую лодку величиной. И те не обращают внимания!

Граф ответил мягко:

— Ну, зачем же, Александр Иванович, так презрительно относиться к людям. Только за то, что они — актеры! Ведь не всем же в буфете водку пить, — надо кому-нибудь в это время «думать как Шиллер». Я пользовался дружбой покойного Росси. Тоже был актер. Королям его следовало бы смотреть, когда он королей играл. Как Наполеон смотрел Тальма. Каждый жест, каждое слово, каждый взгляд, — очень большое и точное представление имел: чем должен быть король. Он говорил мне: «Знаешь, почему я не так хорош… не могу

быть так хорош в Отелло, как в Гамлете? Когда я играю Отелло, я чувствую, я слышу, как вся публика, вся, сколько ее есть в театре, внушает мне, кричит: “Не убий!” Другим»… это он намекал на Сальвини. При всем королевстве он был актер!.. «Другим это ничего. Кожа у них, что ли, такая толстая. А я не могу. Не поднимается у меня рука на Дездемону. Не поворачивается язык ее “тварью” назвать. И я чувствую, сам чувствую, что слаб. Другое дело — мой милый Гамлет! Там вся публика электризует меня, толкает, требует от меня: “Убей Клавдия”. И мне легко, и я несусь, я окрылен. Я окрылен внушением толпы». Для всякого артиста, на какой бы большой сцене он ни играл, Александр Иванович, публика существует. Итак, у «публики», как выражаетесь вы, у «общества», как сказал бы я, — вообще «внизу», скажем мы вместе, вы не популярны. «Наверху», в правящих, в административных, в чиновничьих сферах…

— Вам угодно говорить о сотнях анонимных писем, которые я получаю? Со «смертными приговорами» и другой такой же чушью? Об остротах, рожденных в великосветских кабаках и перенесенных в гостиные, которым скорее пристало бы называться…

— Я рад, что вы даете этому настоящую цену. Это естественно. Исторически неизбежно, чтобы здесь к вам отнеслись враждебно!

— Как ко всякому общественному деятелю!

— Будем употреблять слова с осторожностью. Вас не считают «общественным» деятелем. Вас считают «противообщественным» деятелем. В этом еще ваша некоторая поддержка. Но вас должны, конечно, не любить. Хозяин, когда его выселяют из дома, который он привык считать своим, всегда относится с враждой к новому хозяину, который приходит на его место. Это так естественно.

— Естественно все! Клеветы! Интриги! Вплоть до угроз включительно! Еще бы, господа! Новый человек! Parvenu[14]! Выскочка! Вы рождены министрами! Вас кормилица кормила и говорила: «Ну, ты, министр, не реви!» Вас нянька носила и думала: «Вот я ношу будущего министра». Вы учились в школе, «где кончают на министра». Вы, родясь, были предназначены!.. Извините, я не о вас говорю, граф!

— Извинение стоит обиды, — рассмеялся граф, — но ничего! В вас видят новую силу, которая поднимается. Так, в свое время, принимали Вышнеградского, Витте, «не урожденных министров», как вы выражаетесь.

— Да! Тоже отличная история! Наврали французскому корреспонденту, воспользовались его незнанием языка и потом в восторг пришли, когда это появилось в «Figaro»: «До сих пор Россия видела министрами только людей высокоаристократического происхождения, теперь же, в лице гг. Вышнеградского и Витте, у кормила правления появились люди, сами сделавшие свою карьеру (то, что по-русски называется "prochvosti")». Обрадовались, по десять рублей за номер платили, чтобы самим же прочитать собственную глупость! Месть! Протест! Мокрой тряпкой… грязной… стереть бы с лица России ваш очаровательный Петербург.

— Тогда был мыслим такой протест! Теперь он выражается в иных формах. Повторяю, эта злость понятна. Сословие, которое до сих пор «жертвовало», является управлять. И естественная злость наверху была бы бессильной, если бы у вас были заручки внизу.

— Я сам себе заручка! Я! Моя программа! Мои действия! Мои первые же шаги! Дело в том, чтобы только помочь мне, помочь их сделать!

— Отлично!

---

[14] Выскочка *(фр.)*.

И граф с юношеской силой и живостью ударил ладонью о стол.

— Я ваш! Я готов вам помочь в деле родины! Я беру портфель. Я становлюсь во главе юстиции. Свободной! Независимой! Юстиции, под которой нет ничего, кроме закона, над которой нет ничего, кроме собственной совести. Я завтра же делаю «исправляющих должность» судебными следователями, несменяемыми судьями, которых ни один администратор не позволит себе вызвать для внушений. А если бы и позволил себе, — несменяемый, ни от чего, кроме суда, не зависящий следователь-судья посмотрит на такое приглашение, как на приглашение от лица неизвестного, да еще совсем из другого круга. И не пойдет. Прокуроры больше не будут получать внушений, приказов. Никто не будет их натравлять: «Взять!» Никто не будет на них цыкать: «Тубо». Судьи не будут считаться ни с какой «уголовной политикой». Истинно «уголовная» политика! Не будут знать ничего, кроме правосудия. У нас будет отличная юстиция, Александр Иванович! Истинная юстиция, ручаюсь вам! Суд вновь почувствует себя достаточно вооруженным законом и скажет: «Где нужно судить, буду судить я, — и только я!» Он вновь вернет себе всю утраченную территорию. Судить будут судьи, а не таинственные офицеры. Судить со всеми гарантиями! Мы сразу восстановим одну из самых важных отраслей государственного дела, — юстицию, во всей ее чистоте, полноте, могуществе, величии. Мы сделаем это! Вот вам моя рука, Александр Иванович!

— Вы, конечно… вы не про сию ведь минуту говорите… иначе… иначе… это явилось бы шуткой… простите меня… мало даже уместной… Все это так должно быть! Конечно. Иначе не может быть. Это и мой идеал. Но ведь не можете же вы человеку, который, скажем, едет из Петербурга в Москву и только еще садится в поезд, сказать: «Слезай,

ты уж в Москве»… Вы понимаете, что сейчас… Время военное, а вы говорите, конечно, об устройстве мирного времени? Сейчас все это было бы утопией…

— Как? Принимаясь за устройство закономерного и правомерного государства, вы начинаете с того, что закон и право называете утопией? Когда министр юстиции говорит вам о законной юстиции, — вы считаете это шуткой? И даже неуместной? Как? Меня, старого юриста, для которого Богом было Правосудие, Евангелием — закон, устав судопроизводства — служебником, суд — таинством, литургией. Меня вы хотите заставить объявить, что моего Бога нет! Что Он бессилен! Что есть «иные бози, разве Его!» Что они лучше! Меня, министра юстиции, ее первосвященника, вы хотите заставить объявить, что не надо быть священником, чтобы служить литургию? Вы хотите, чтобы я, — я проповедовал уничтожение не только обряда, но и догмы и веры?! В нашем кругу, Александр Иванович, — сказал бы я, — считается неуместным молодым людям шутить над стариками. Да еще так шутить. «Шутить», — сказал бы я, если бы вам было до шуток. Вы валитесь, Александр Иванович, в ту же пропасть, в которую полетел и граф Витте.

— Графская пропасть? — расхохотался г. Гучков судорожно и нервно. — До галлюцинаций: везде графы.

— Акимов, — продолжал граф, — старый судья! Человек большого ума! Когда состоялось его назначение, — революционерам, тем, может быть, все равно, — но либералы приуныли. Умный консерватор! В стаде появился белый слон! И что же? На что вы, господа, истратили человека? Что от него осталось? Хорошо закрывал газеты! Похоронный церемониймейстер! Бюро похоронных церемоний из министерства юстиции! Бюро, где газеты хоронились «по первому разряду». «Совсем как в Европе-с!» Не сразу: «цыц»,

а с соблюдением формальностей. Старый режим умирал. Дурново действовал как хирург. Витте хлороформировал. А Акимов… бедный Акимов расстилал соломку на мостовой. Газеты закрывал. «Чтобы шума не было». Нет-с, Александр Иванович, быть мухой на хвосте великолепнейшего сокола, который летит в пропасть, — не желаю-с! А вы летите в пропасть! Вы мечетесь, — разве вы ко мне, смешному человеку, который отовсюду уходит «по благородству», обратились за бланком. Вы потеряли голову, если уж у юриста просите поставить бланк на неправосудии. Очень благодарен вам за почетное предложение. И отказываюсь.

— Тогда зачем же все эти разговоры?! — почти закричал Александр Иванович.

— Вы уж слишком! — улыбнулся и слегка прищуренными глазами посмотрел на г. Гучкова граф, — Вы совсем слишком, Александр Иванович! Вы оскорбляете людей и хотите даже, чтобы они при этом «не смели разговаривать». Это уже выше диктаторства! Я доволен, что имел случай говорить с вами потому, что, быть может, не имея никаких уполномочий, я говорил от имени всей России. Сказал, что сказала бы вам вся Россия.

— Графская Россия! И вы, может быть, граф, явились, чтобы примирить меня с другими графами? Ведь у нас, что ни партия, то граф. Только графов и слышишь! С графами хорош, — с Россией хорош!

Граф спокойно пожал плечами.

— Я не виноват в том, что родился графом и что живу в стране, где надо быть графом, чтобы иметь возможность говорить. Я не явился, — меня позвали…

— Извиняюсь за беспокойство.

— Охотно извиняю, как доктор, которого позвали к больному, а он нашел покойника. Имею честь кланяться!

— Честь имею.

Александр Иванович с ненавистью посмотрел на затворившуюся дверь:

— Парламентеры! Парламентеры от России! Вам только парламентерами на войне и быть! Господи!

Он схватился за голову:

— Везде одна мокрота, жижа, слизь. Опереться не на что! И еще говорят: скользишь, в пропасть летишь! Да как же с вами…

Он застонал от злости и с ненавистью огляделся кругом.

— Проклятие, что ли, здесь какое? Заклятие положено на этом месте? То же? Со всеми все то же? Две недели нет возможности составить министерство! Все отказываются! Болеют! Приходит человек, — человек! И среди слизи какой-то тонет!

Он упал в кресло и сейчас же вскочил, обозленный еще сильнее.

— Разговоры с благородными графами из мелодрамы, и русский министр-президент в заколдованном замке!

Он схватил со стола какое-то попавшееся дело и бросил его обратно об стол.

— Канцелярских писцов министрами сделаю! Пешек наберу. Электрических кнопок. Один делать дело буду! Диктатор? Диктатор!

И он пошел к себе, инстинктивно обойдя «ту» комнату.

XXVI

Александр Иванович подошел к окну.

Посмотрел, — и какое-то неприятное ощущение зашевелилось в нем.

В спине тоскливо заныло.

В ногах Александр Иванович почувствовал беспокойство. Не дрожь, нет… беспокойство!

На набережной было пусто и уныло.

Серое небо низко-низко опустилось над землей. Давило.

Шел не то дождь, не то мокрый снег.

По противоположному тротуару медленно прошел какой-то высокий человек с окладистой черной бородой. В цилиндре.

— Где я видел это лицо? — задал себе вопрос Александр Иванович.

Через минуты две человек прошел назад.

Он ходил походкой человека, который уже давно дожидается.

Цилиндр на нем от мокроты взлохматился и имел жалкий вид.

Человек шел слегка сгорбившись, словно он с трудом нес на плечах отяжелевшее от дождя пальто, топорщившееся, стоявшее колом.

Правый карман оттопыривался.

Несомненно, оттопыривался.

В нем что-то лежало.

Сегодня, именно теперь, Александр Иванович должен был ехать.

Но ему по телефону сказали, что сегодня визит состояться не может.

И он неожиданно остался дома.

Александру Ивановичу вдруг вспомнились слова фон Плеве:

— Я знаю «мой день». «Это» будет в четверг. День доклада. Когда я выезжаю…

И неприятное чувство все росло и росло.

— Знакомое лицо… Где я видел это лицо?.. Где?.. А видел… Где?

И вдруг ему вспомнилось.

На прошлой неделе, на вокзале, когда он выезжал…

Садясь в вагон, он оглянулся на почти пустую платформу.

И вдруг ему бросился в глаза высокий человек с окладистой бородой, в котелке. Который быстро вышел из какой-то двери.

Между Александром Ивановичем и дверью, из которой быстро вышел человек, стояли два жандарма.

Александр Иванович вошел в вагон.

Тогда он не обратил на это никакого внимания.

Просто, одно из мелких, не значащих впечатлений, которые как-то застревают в зубцах памяти и остаются там почему-то долго, иногда всю жизнь.

Потом в другой раз…

Александр Иванович садился в карету.

Оглянулся.

И не далеко от группы его провожавших, подсаживавших, — он увидал этого же, этого человека, высокого, с окладистой бородой, в котелке.

Еще раз…

Его карета летела по Невскому.

На повороте на Большую Морскую Александр Иванович наклонился к стеклу и мельком увидел высокого человека, в котелке, с окладистой бородой, заглянувшего внутрь кареты.

— Знакомое лицо! Помнит, — подумал он мельком.

Высокий человек, в цилиндре, с окладистой черной бородой, вновь появился и зашагал медленно, словно нехотя переставляя ноги.

— То же лицо… несомненно…

Дверь подъезда, должно быть, отворилась.

Человек вдруг ожил, быстро повернулся, взглянул по сторонам, на подъезд.

Шагнул с тротуара.

Но из подъезда, должно быть, вышел какой-нибудь курьер.

Человек остановился, повернулся и медленно зашагал походкой человека, который дожидается уже давно.

Александр Иванович позвонил.

Вошел дежурный чиновник.

— Вы звали, ваше высокопревосходительство…

— Погодите! — сказал Александр Иванович вполголоса.

Человек появился снова.

Александр Иванович кивнул головой и, не глядя, спросил подошедшего чиновника:

— Видите? Что б это был за человек?

— Это…

Чиновник ответил тихо, словно чего-то конфузясь:

— Он… постоянно… здесь ходить…

— А!

На душе у Александра Ивановича стало тоскливо, противно и унизительно, как всегда бывает на душе у человека, когда он испытал страх.

— Он тогда… бомбу в кармане нашел… — пояснил так же, почему-то, вполголоса чиновник, — у того…

— А!

Александр Иванович, не глядя на чиновника, пошел к письменному столу.

Он улыбнулся.

Но улыбка вышла какая-то растерянная.

— Это, однако, хорошо, что они меняют им хоть головные уборы!.. То котелок, а то цилиндр… А то было бы очень однообразно… Куда ни поедешь, — везде кругом одни и те же фигуры.

Чиновник хихикнул.

— Благодарю вас… Меня так… заинтересовало…

Александр Иванович почувствовал горячо в щеках и даже в ушах.

— Можете идти!

— Ваше высокопревосходительство! — раздался за спиной у него вкрадчивый, тихий, но очень настоятельный голос.

Александр Иванович быстро повернулся.

— Что вам?

XXVII

— Ваше высокопревосходительство…

Голос чиновника звучал искательно-ласково, но вместе с тем настойчивостью, почти непреклонной.

— Традиции, конечно, не обязательны. Но существуют привычки… Чины министерства чрезвычайно… смущены. До сих пор не имели чести официально представится вашему высокопревосходительству… Это создает для них… они так говорят…

— Вы уполномочены?

— Имею честь!

Чиновник поклонился.

— Это создает… некоторую неясность… В особенности, в связи с циркулирующими в Петербурге слухами… Конечно, пустыми… но все-таки… Чины министерства — ближайшие помощники вашего высокопревосходительства! — считают необходимым…

Александр Иванович улыбнулся:

— Что ж, вы мне, господа, забастовкой, что ли, грозите?

Чиновник тоже улыбнулся, но очень сдержанно.

— Для опровержения ходящих слухов, ваше высокопревосходительство! Для… ясности…

Александр Иванович пожал плечами.

— Извольте! Если эта формальность так необходима… Когда вам угодно будет представиться?

— Хотя бы сегодня, если ваше высокопревосходительство ничего не имеет против… День неприемный, все здесь, и вы не выезжаете.

Александр Иванович сухо ответил:

— Извольте!

И, слегка улыбнувшись, прибавил:

— Устраивайте, как это все у вас принято. Действуйте по обычаям вашей страны!

— Благодарю вас, ваше высокопревосходительство…

Чиновник поклонился, достал из кармана сложенную вчетверо, как чиновники складывают документы, тетрадь из толстой министерской бумаги, бережно и с почтением развернул ее и подал министру.

— Вот-с!

— Это что? — с удивлением спросил Александр Иванович, сел за стол и жестом пригласил чиновника сесть напротив.

— Это что? — переспросил он, взглядом пробежав страницу и отвернув другую. — Афиша? Перечень действующих лиц?

Чиновник отвечал почтительно, но настойчиво.

— Для предварительного ознакомления-с!

Александр Иванович прочел первые строки:

— Гм… Это интересно, однако… Семен Никодимович Вифлеемский. Знаю. Это из семинаристов?

Чиновник почтительно наклонил голову.

— А это что ж такое? «Княгиня Марья Алексевна»? Это что ж такое? Против его имени? Псевдоним его, что ли?

Чиновник почтительно, но слабо улыбнулся министерской остроте:

— Имя лица, коего… рекомендацией чиновник определен на службу.

— А-а! А это что за графа? Особа… особа… особа… список особ?

— А это…

Чиновник деликатно улыбнулся.

— …те трения… неприятные трения… которые получаются, если бы означенное лицо, чиновник, было удалено со службы… или встретило неожиданные препятствия в прохождении и возвышении по службе…

И сквозь деликатность тона чувствовалась наглость беспримерная.

Александр Иванович отложил бумагу и спросил сурово, взглянув чиновнику прямо в лицо:

— Это что ж такое?

Чиновник не потерял деликатнейшего тона.

И отвечал с полупоклоном:

— Заботливость о начальнике, ваше высокопревосходительство… Желание… совершенно естественное желание подчиненных… облегчить своему начальнику служение отечеству… Предупредит… Оберечь от тех нежелательных трений, которые он мог бы вызвать, не будучи предупрежден, тем или другим распоряжением по канцеляриям… Желание удалить от него эти трения, могущие… могущие затормозить его государственную деятельность… Потребовать от него огромных затрат энергии, необходимой на дела правления!.. Могущие…

Чиновник стыдливо опустил глаза и закончил уж совсем тихо и мягко:

— Есть и такие трения… Могущие совсем приостановить государственную деятельность начальника!

— Да?

Александр Иванович прищурил глаза.

— И вы всегда так проявляли вашу заботливость?.. При вступлении каждого министра?

Чиновник, словно извиняясь в чем-то, улыбнулся и откровенно прибавил:

— Впервые!

— Почему же?

— Раньше, видите ли, было так. При министре можно было выслужит пенсию. Министр, — и министр! Смены министров были редки… как катастрофы. Потом… времена изменились… Требования времени!.. Министры стали… краткосрочные. Смена за сменой. Но… до сих пор были свои люди. Долгосрочным «это» не нужно было: они всех знали, и их все знали. Краткосрочные до сих пор тоже в «этом» не нуждались: сами были чиновники, проходили службу, знали… вообще, свои люди. С вами, ваше высокопревосходительство, начинается новая эра. Люди новые. С условиями не знакомые. Мы и решили… для ясности… предупреждать…

— Страховаться?

Чиновник вздохнул:

— Надо, ваше высокопревосходительство, и о себе подумать! При быстрой смене веяний, настроений, требований, программ, начальств, — всего-с… обеспечить себе…

— Бессменность? Бессменность себе среди всего меняющегося? «Времена меняются, но только мы не меняемся в них»! В противность древним! Так-с? Бессменность?

Чиновник ответил сухо:

— Кусок хлеба!

— Двадцатое число?

— Им кормимся.

— И недурно! Желаете продолжать вечно?

Чиновник снова ласково улыбнулся:

— Желаем предотвратить от начальника трение… Если угодно будет внимательно пробежать вашему превосходительству, — вы изволите тут усмотреть такие неожиданные и нежелательные могущие быть трения…

— Слышал-с!

Александр Иванович с брезгливой гримасой просматривал «афишу».

Брови его иногда невольно приподнимались.

И чиновник тогда сдерживал улыбку.

— А где же тут вы?

— На третьей странице… внизу… вот-с!

Александр Иванович, прищурившись, прочел.

— Ого!.. Поздравляю! Вы хорошо гарнированы!

Чиновник привстал и поклонился.

— Благодарю вас, ваше высокопревосходительство.

Александр Иванович положил тетрадь и холодно, с ненавистью, спросил:

— Это что же? У себя оставить? Или вам возвратить?

— Это как вам будет угодно, ваше высокопревосходительство! — наклонил голову чиновник. — Может быть, у себя оставите… иногда для справок. У нас есть другие экземпляры.

— Наготовили?

— Переписали копий.

— А недурной был бы материал для какой-нибудь оппозиционной газеты? А? Как вы думаете? Если бы им в руки попало? — спросил вдруг Александр Иванович, положив руку на тетрадь.

Чиновник странно улыбнулся:

— Увидали бы… что оппозиция… невозможна!

Александр Иванович поднялся.

— Скажите вашим товарищам… что я прошу кончить эту процедуру скорее!

— Они готовы-с!

XXVIII

В приемной чиновники стояли перед Александром Ивановичем приятным полукругом.

Один, с седыми баками, необыкновенно почтенного вида, держал в слегка дрожащих руках небольшой образ св. Александра Невского и, кажется, был взволнован.

Все стояли с почтительно наклоненными головами.

— Чай, исподлобья глядят на дежурного. А тот им мигает: «Все, мол, сделано! О трениях предупредил!»

И от почтительной, едва дышавшей толпы, на Александра Ивановича повеяло чем-то дерзким, прямо наглым.

Из полукруга сделал два шага вперед среднего роста элегантный чиновник, с красивым коком, густыми седыми усами, в щегольском вицмундире, с двумя звездами.

Элегантно поклонился и ясно, отчетливо, не торопясь, сказал.

Словно кому-то, за что-то с величайшею сдержанностью, но очень чувствительно выговаривал, кому-то объявлял какую-то непреклонную волю:

— Ваше высокопревосходительство! К искреннему сожалению всех ваших подчиненных, мы не имели до сих пор чести, как это принято традициями нашего ведомства, представиться вашему высокопревосходительству. Крайне сожалея об этом, мы, конечно, далеки от ропота. Сами люди долга, мы прекрасно, по личному опыту, знаем, что — увы! — обязанности службы часто мешают исполнению самого священного долга нашего по отношению к близким, к своей семье.

Александр Иванович слушал с бесстрастным лицом, слегка наклонив голову.

«Словно приговор».

— По той же причине, — после крошечной паузы продолжал элегантный чиновник, переступив с ноги на ногу, — мы были лишены чести принести вашему высокопревосходительству наше горячее поздравление с избавлением от опасности, самоотверженно предотвращенной, к счастью, от вашего высокопревосходительства вашими маленькими и незаметными сослуживцами.

При слове «сослуживцами» Александра Ивановича слегка передернуло.

Перед ним проплыло лицо господина с окладистой черной бородой.

Проплыло и, казалось, сняло свой залохматившийся от дождя цилиндр и раскланялось.

Александр Иванович исподлобья взглянул на говорившего.

— «Сам ты по какому департаменту?»

— Исполняя, — продолжал «читать приговор» господин с седыми усами, — лучше поздно, чем никогда, свой приятный долг, мы, ваши ближайшие помощники, чины вверенного вам министерства, были бы счастливы услышать от вашего высокопревосходительства указания, которые вдохнули бы в нас уверенность, столь необходимую в наше трудное, переходное, — он подчеркнул слово «переходное», — время!

Элегантный господин поклонился и отступил в полукруг.

Александр Иванович поднял на него пристальный и тяжелый взгляд.

— Господа! Благодарю вас за приветствие, которое, конечно, мне дорого. Что нового я скажу вам? Старый друг лучше новых двух…

По губам его мелькнула нехорошая улыбка.

— Я отвечу вам старой…

Он едва удержал слово «бюрократической»…

— …поговоркой: «министры меняются, бюро остаются!»

В полукруге произошло приятное волнение. Полукруг двинулся на Александра Ивановича.

— «Как в атаку!»

Он жал руки, костлявые, пухлые, как подушки, сухие слегка влажные, длинные, тонкие пальцы, огромные мохнатые лапы.

И все время чувствовал какую-то дрожь отвращения при этих прикосновениях.

— «Все?»

К нему подошел старик с седыми баками, необыкновенно почтенной наружности, державший в руках икону.

Говоривший речь чиновник чрезвычайно элегантным жестом указал на икону и произнес с величайшим благоговением в голосе и на лице:

— Не откажите, ваше высокопревосходительство, принять от ваших сослуживцев и подчиненных!

— «В чем и должен поцеловать им образ» — подумал Александр Иванович.

Он приложился к иконе.

— «Словно венчают меня с собой!» — мелькнуло у него.

Он окинул их быстрым взглядом.

— Еще раз благодарю вас, господа!

Повернулся и пошел.

Они застыли с почтительно наклоненными головами.

И Александр Иванович, входя в кабинет, почувствовал на своей спине взгляды исподлобья, наглые, насмешливые и молча торжествующие.

— Повенчан!

Он сел за стол и в мелкие клочки разорвал «проклятую тетрадь».

Под ней лежал проект министерской декларации.

Александр Иванович равнодушно взял ее в руки и пренебрежительно улыбнулся:

— Министерская декларация № 4. И искать ее надо будет не в истории, а в «журнале исходящих бумаг».

И он желчно швырнул от себя декларацию.

В окно глядел серый и тусклый свет.

Серое небо низко нависло над землей. Давило.

XXIX

— Скушно у вас тут! Небо серого арестантского сукна. И лица точно из арестантского сукна выкроены. Серые.

Сака́лин, а не столица Российской империи! Чисто светопреставления ждете! В городишке у нас раз было «назначено светопреставление». Не то книжку какую нечаянно прочли. Вычитали. Не то странник предрек. «Четвертого ноября, в 11 с половиной часов вечера, будет светопреставление». Так вот тоже не хуже вас лица у всех были. Мечутся. Баба на базаре баранками торгует, — да как схватится за голову, да как завопит: «И на што мне эти бублики? И к чему мне ваша семитка? Ежели быть нынче светупредставленью». Скушно!

Ермолай Никифорович Евдокимов, средних лет, тучный купец, с приятным, русским, раскормленным лицом говорил на «о», по-волжски. Старый, личный приятель Александра Ивановича. Учился в Германии, получил «доктора философии» и занимался большим делом на юге.

— У вас, в расстрелянном городе, весело! — сказал г. Гучков.

— Ничего. Живем. В воскресенье поедешь в беговых дрожках на дачу, везде по балкам, под деревьями — народ. Речи, шум, пение!

— Казаки! Нагайки!

— Разгонят в одном месте. Бисером по полю рассыплются. В другом — в кучку скатятся.

— Ужас как весело!

— Днем, действительно, тошно. Посмотришь в окно — штык проплыл. Через двадцать шагов от него другой. Через двадцать — третий. Еще через двадцать — четвертый. Вчетвером ходят, — друг дружку хранят. Идут, озираются, — вдруг кто трахнет. Пассажир на поезд с вещами торопится, хорошего извозчика взял — смотрят: а вдруг он из-под вещей достанет да… Хороший извозчик, — значит, седок человека убить хочет. А ночью заснешь, просыпаешься: на улице шум, топанье, мужские, женские голоса. Что-то на манер «Карманьолы» поют. Веселое. Это с массовки какой-нибудь возвращаются. В то время, как ваша полиция, замученная, усталая,

во сне ружья не выпуская, с револьвером, во всей амуниции, спит свинцовым сном, сидя где-нибудь в участке, — улица шумит, улица поет, улица смеется. Жизнь!

— Угорел ты там, в провинции-то, сидя! — пожал плечами Александр Иванович.

— Прокисли вы, тут сидючи. И ты! Без году неделю сюда попал, а уж успел прокиснуть. На что ругаешься-то? На что ругаешься? Подумай! На мать родную ругаешься! Вспомни! Места себе не находил. Носило тебя от буров в Китай? Что тебе было дома делать? Театр держать? А началось «это», и ты ожил. Дело и дома нашлось! Место в жизни получил? А ты на «это» же брюзжишь! Без «этого» был бы ты где-нибудь у папуасов! Раны им, от нечего делать, перевязывал или с соседним племенем за них дрался! Эх, вы! Забились куда-то в угол, в болото ингерманландское, и дрожите! Светопреставления ждете! Вам бы на воздух куда из вашей слякоти! Чтоб вас обдуло. Взгляни, еще никогда на Руси так весело не было!

— Весело!

— Весело. Никогда столько песен не пели! Везде поют! Несмотря ни на что, поют!

— Да что ты за меломан такой выискался?!

— Весело, — и нравится. Всей Руси весело. Страшно, а весело. Может, в этом-то и жизнь! Вы вот сидите, нахохлились, испуганно кричите, как галки в непогоду. А посмотри! Театры никогда так не работали! И изо всех жанров больше всех в спросе самый веселый. Оперные труппы оперетки запели! Чтоб все колесом ходило! Потому — весело. В ресторанах дым коромыслом, — никогда так поздно не торговали. Клубов, как поганок, развелось. Игра, шум! Угар какой-то! У вас в буфете… монополия-то когда так торговала?

— Нашел, чему радоваться? Спились все!

— «Руси есть веселие пити».

— Это всегда бывало! Во Франции, во время террора, когда работало на одном помосте по две гильотины рядом. Одной не хватало! Когда рубили головы, как капусту. Тоже «веселье» было. На публичных балах в котильоне новую фигуру плясали. Гильотинирование. Дама на колени перед стулом становилась, в отверстие спинки, как в гильотину, голову просовывала, а кавалер ее по шее платочком. И тихонько, едва касаясь волос, голову ей приподнимал. Будто бы отрубленную показывал. А все кругом какую-то сарабанду плясало. Отупение нервов!

— А может, подъем сил? Ишь ты, из упокойницкой книжки сейчас! По жизни, как по покойнике, читаешь. А жизнь жива. Румяна! Румянец на щеках. Вы их сотнями, тысячами в ветром подбитых пиджачишках в Якутскую область шлете, — а их все больше, больше, — и поют. Бьете — поют. Похороны даже у них, — больше на праздник похожи, чем на похороны. Ужас кругом. Бомбы, расстрелы, зарево пожаров, виселицы. А Русь поет и пляшет! Пляшет и поет среди всего этого!

— Да радость-то с чего?

— Страх исчез. Страха нет. Страх умер. Не понимаешь, чудак ты человек? Над огромной страною висел страх, держал ее в руках страх, правил ею, давил ее страх. И вдруг страх исчез! Как снег растаял. Те, кого привыкли боятся, сами боятся! Весь страх люди потеряли! Террор кругом, а страха нет. Самой смерти человек перестал бояться! «Смертию смерть поправ!» — в воздухе слышится. Чисто на Волге ледоход идет. Страшно и весело!

— Да ты революционер, «mon cher[15]»?

— Наблюдатель. Зритель. И в пьесе мои симпатии всегда на стороне первого любовника, а не комической старухи!

[15] Мой друг (*фр.*).

В этой пьесе, что перед глазами, три персонажа. Об одном говорили. Другой — вы. В бессильном ужасе светопреставления ждете… В бессильном… несмотря на все «меры», а дальше уж куда идти, все перепробовано! «Это», «оно», — чего вы по имени называть не любите, — только растет и растет. Настоящая гидра! И нет у тебя, у Геркулеса, головни, чтобы «усеченные» шеи прижечь. Меч есть, а головни нет. Меч есть, но он недействителен. А огня нет!.. Третий персонаж, — это центр, «общество», нечто среднее, которое ты уповаешь прельстить и своим сделать. Маньчжурия, на которой японцы с русскими дерутся. Японцы победят, японцы маньчжура отколотят: «Зачем русским припасы давал». Русские победят, русские взбучку дадут: «Зачем японцу помогал!» А то и так случится: в один день японцы придут, потом русские их прогонят, потом опять японцы, потом снова русские, потом снова-здорово японцы. И каждый и каждый раз непременно поколотит! Русские в японцев, японцы в русских палят, а у маньчжура над головой и те и другие пули летают. Хорошо еще, если только над головой… Центр, «общество», нечто среднее, обыватель, — ему, собственно, как маньчжуру, до вашей войны дела нет. Ему изо всех «свобод» разве одна, — свобода печати, — нужна. Он и будет утешатся: «Все-таки есть правда на свете! В газетах пропечатать можно!» А режим какой хочешь вводи! Но чтоб этот режим ругать можно было. Привык русский обыватель к двум вещам: терпеть и ругаться. Это и есть его истинные «исторические основы». С него участковый пускай десять рублей берет, — но чтоб он мог за это участкового в газетах на сорок рублей выругать. Он и утешится: «Вот она и выходит правда-то наружу». И будет его, обывателево, «долгоденственное и мирное житие» даже и относительно счастливым. Я в одной из прогрессивнейших газет, в дни «величайших свобод», письмо в редакцию читал.

Обыватель пишет: «Спешу, в виду наступившей, слава Богу, наконец-то, свободы слова огласит: и меня околоточный надзиратель на улице такого-то числа ни за что ни про что по уху ударил. А в участок пошел, — в участке никакого внимания не обратили!» Радость в письме! «Ура» слышится! Тон этакий, — «вот, мол, времена какие настали! Раньше меня били, — никто не знал. Теперь дуют — все знать будут!» Слава Тебе, Господи! «Дожили до подсвечников!» как покойный Кач в объявлениях писал. Ежели не до самого света, то до подсвечников!.. Вы войну ведете! А этот «средний», «центр», «обыватель», натурально, мечется: «Кто победит? Кто бит будет?» К «ним» метнется, — они его от себя бомбой. «45 человек одной бомбой разорвало». Он в ужасе от них к вам. Вы его от себя… «22 человека в один день расстреляно». Он и от вас в ужасе! Как барыня в Монте-Карло. На «красное» поставить или на «черное»? Шарик вертится. Сейчас ее судьба решится. Она голову потеряла. И на красное ставит и на черное, — выходит ноль. У нее полставки и потянули! «Всегда проиграешь»… Центр! Покатая площадь. Непременно вправо или влево наклонится, — глядя по тому, кто победит. Маньчжурия! Или японские, или русские флаги вывесить! У нее, на всякий случай, и те и другие сшиты. Да и тает он, центр-то! Мучительно все время в «страдательном залоге» быть. Тает, уменьшается, на ту, на другую сторону решительно переходит. Лучше сражаться, чем в сражении праздным наблюдателем быть: когда меня убьют? Зыбучая почва! А ты на ней строиться! Лукавая штука — тот центр, который центром и останется. Умен он, обиходным, — вот «реальным»-то, — умом умен, чтоб к кому-нибудь «до окончания дела примкнут». Подождет он решительной минуты, когда победа на чью-нибудь сторону переходить станет. И тогда на сторону победителя и хлынет, равновесие опрокинет

и окончательную победу даст. И тогда!.. Ты помнишь, в газетах было… В декабрьские дни на Пресне, какой-то «колониальный торговец» на баррикаду прошение подал. Так по форме и отписал: «Временному революционному правительству. Имею честь покорнейше просить разрешить мне провезти для надобностей моей лавочки через баррикаду бочку керосина». А потом он, небось, у генерал-губернаторского чиновника в ногах валялся и за ту же бочку керосина вознаграждения требовал: «Революционеры, подлецы, разорили!» Революционеров указать? Да сколько вам угодно. Вот он центр-то! Признающий одну власть, — победителя. Один «принцип», — победу. Победил, — значит, прав. «Стало быть, с умом шел, ежели победы добился! А ты куда лез, ежели в тебе силенки нет? А! Ты за принципы? А мне убытков наделал?!» А за какие принципы «наказать», — ему все равно. Гильотины или виселицы, — он одинаково воздвигнет. Страшен человек, когда много боялся. Из «центра» выходят палачи. Центр — это чтоб докончить победу. Вспомни французскую революцию, благо вы эту похоронную книгу везде тычете. Кто здоровее всех и роялистам и республиканцам «смерть» орал? Глядя по тому, кто побеждал? Мелкие торговки с парижского рынка. Мелкая, да еще торговка, — не торговец, а торговка даже, — что может быть центральнее? А ты на этой земле строиться хочешь? Да еще перед сражением! После, — да. Победи, — и стройся. Я сам…

Ермолай Никифорович улыбнулся.

— Мне все эти обстоятельства теперешние с десяток тысяч убытку наделали. Не так денег жаль… сумма плевая, на другом, благодаря тем же обстоятельствам, больше заработали… а зло! Мне бы очинно хотелось за эти десять тысяч кого-нибудь вздернуть. Очень! Кого? Все равно. Побежденного.

«Ты чего ж это сил своих не сообразил, фордыбачил, сразу не сдавался? А? Ошибку давал? А мне из-за твоей ошибки убытки терпеть? Полезай!» Зло бы сорвал. Так-то!

Александру Ивановичу подали телеграмму.

У него заметно дрожали руки, когда он ее распечатывал.

XXX

Александр Иванович утром телеграфировал в Москву бывшему союзнику по партии.

Заклинал забыть все прошлые размолвки, «как бы велики они ни были».

— «Самое большое, все-таки: счастье России. В служенье этому между нами разногласия нет».

Умолял не помочь:

— Нет. Воспользоваться мною, как случаем, чтобы общественный элемент проник в правительство. Прийти. Положить фундамент.

Заклинал:

— «Не отталкивать протянутой руки».

Ответ из Москвы гласил:

«Жалею. Невозможно. На ваш призыв к моим гражданским чувствам отвечу: "Нам с вами памятника "Минину и Пожарскому" не поставят. Никакого соглашения между нами быть не может"».

Александр Иванович скомкал телеграмму:

— Все вы!.. Петербург изжульничался, Москва обтеатралилась, мелодрамы играет! Вы все в провинции с ума сошли!

— Плохо, брат, «пишут из деревни»? — подмигнул Евдокимов.

Александр Иванович бросил телеграмму в особый ящик, к тридцати другим, и расхохотался.

Нервным, чуть не истерическим смехом.

— Чего ты?

— Вспомнил! Рассказ один вспомнил! Раскольник умирал. Доктор ему чашку с лекарством протянул: «Выпей. В один дух все пройдет». Раскольник посмотрел: «Из поганой-то посуды». И умер. Это из московской жизни! А вот из петербургской. Барыня, — при крепостном праве, — тонула. Лед треснул, тронулся. Вот-вот барыня в воду ахнет. Человек ей, выездной ее, с твердой льдины руку подает: «Вылезайте из возка, вылезайте, барыня!» А она ему: «Перчатку надень! Перчатку, когда руку подаешь, невежа!»

Александр Иванович посмотрел на Евдокимова:

— Хочешь министром быть?

— То есть… как это?

— Так. Министром. Серьезно говорю. Шесть портфелей! На выбор! Тебя к чему больше тянет? Может быть, с земледелием желаешь познакомиться? Или занимательное чтение любишь? Тогда по дипломатической части, в шифрованных телеграммах «тайны мадридского двора» будешь читать! Может, справедливость на земле водворить хочешь? Или порядок? Я, пожалуй, и внутренние дела уступлю. Только это должность больше дамская. Для дамы. Тут «страшные романы» все в бумагах. С заговорщиками, таинственными побегами, гениальными сыщиками! Бери! Потом сам жалеть будешь! Случай единственный! Господи! Любопытства даже в России ни у кого нет!

Он говорил нервно, «не в себе».

Ермолай Никифорович покачал головой:

— Эх, как ты опетербуржился. О России с каким пренебрежением. Чуть не собакам ее бросить готов!

Александр Иванович вспыхнул:

— Это ты не ври! Какая это Россия? А Россию я люблю! Не любил бы, не был бы здесь.

Ермолай Никифорович улыбнулся:

— Ты-то ее любишь, да она-то не хочет, чтобы ее так любили. Купец у нас один в городе женился. Пожилой. Жена не Бог весть что, — четыре класса гимназии кончила. Но все-таки «листричество» уж не говорить и для удовольствия не в баню, а в театр ходить желает. Он ее смертным боем, а она от него. Родные вступились: «Брось!» — «Как же, говорить, я ее брошу, ежели я ее люблю. И чего ей, такой сякой, надоть? Платья — шкафы ломятся, серёг, браслетов, колец, — пальцев не хватает! Этакого мужа поищи. Должна она понять, люблю я ее или нет?» К ней сунулись: «Любит ведь! По-своему. Но любит». — «Мало ли что, говорит, он любить, да мне-то такой любви не надо!» Вы-то все любите, — да страна, вишь, такой любви не желает! Вон оно дело какое!

Ермолай Никифорович помолчал и, сменив шутливый на деловой тон, сказал:

— Ну, эти антимонии в сторону! Твое дело, — ты своим государственным умом и разбирайся. Залез в кузов, — свое грибное достоинство и соблюдай. Так устав как же? Утверждаешь?

— А про устав общества повторю то же, что уже вначале сказал…

Александр Иванович подал Евдокимову толстую тетрадь, в лист.

— Проводи установленным порядком.

— Чудак человек! — воскликнул Ермолай Никифорович. — Ну, как с тобой серьезно разговаривать? Каким же установленным порядком, ежели у вас в Петербурге все есть, кроме министров! Слезы из швейцарского сыра в Милютиных лавках за пять рублей целую рюмку дадут. Свежих огурцов в декабре, — пожалуйте! — «И клубника есть?» — «Сколько угодно!» — «А министры у вас есть?» — «Все вышли!»

— Подожди!

— Это генерал Куропаткин нам тоже все командовал: «Жди». Дождались!.. А ты вот моментом-то, что министров у тебя нет, и воспользуйся. Торговле-промышленности облегчение и сделай. Взял бы подписал. По крайней мере, хоть какой-нибудь «акт» после себя оставишь. Память!

— Да ведь это же наглость!

— Что? Что я пользу от этого дела получу? Известно, получу. Собака без пользы хвостом не машет! А земли в Сибири гуляют. Дело огромнейшее! Государственной величины дело. Большую пользу приносить может.

— Это же наглость! Вас на помощь зовешь, на помощь! А вы? Грабить?.. В такой момент!

— Моментом-то и хотим воспользоваться! Реалисты!

— Как с пожара!

— Замолол! Оратор!

Ермолай Никифорович посмотрел на устав:

— Так как же?

— Иди установленным порядком.

— Заладил. Вот те и реальная политика! А ты нам интерес от реальной политики покажи! Заинтересуй в ней. Попробовать дай! Чтобы мы вкус к ней почувствовали. Мы тебе тогда и поможем! Докажи реально!

Он снова пододвинул устав.

— Иди установленным порядком! — отодвинул Александр Иванович устав.

— «Установленным порядком!» Ты не только что министр! Выше! Ты — начальник отделения! Эк они, как живо тебя в Питере обкургузили. За Петербург на меня накинулся, Россию запрезирал, живому, реальному делу бюрократические рогатки ставишь. И с лица даже, как они, серый стал и вокруг глаз желто!

Ермолай Никифорович со вздохом положил устав в карман.

— Тебе бы, ваше высокопревосходительство, куда-нибудь на кислые воды поехать!

Он подал свою огромную пухлую руку:

— Прощевай! Оставайся ты тут!

— Мое почтение! Мое почтение!

Евдокимов пошел к двери и приостановился на полдороге:

— А может, подпишешь? Даром только в Питер ведь ездил. Время терял! Думал: свой человек, торговый, деловой, реалист. А?

— Иди. Иди. Некогда с тобой. Другие дела есть.

— Ну, ну! Делай министров! Делай! Не мешаю…

И Ермолай Никифорович на цыпочках вышел из кабинета в приемную, чтобы «не ронять перед ожидавшими престижа купеческого министра».

XXXI

Декларация «министерства Гучкова» появилась в газете «Россия» в 8 часов утра.

А к одиннадцати по Петербургу ходила уже пародия:

К многоуважаемой публике

С переходом учреждения в новые руки назначается
на этот раз
окончательная ликвидация
всего старья.
Не реклама, а истинная правда!

Приняты все меры к самому точному, быстрому, аккуратному и — *!!!немедленному!!!* — выполнению всех новейших требований.

NB. Все обязательства наших предшественников выплачиваются по полтиннику за рубль. NB.

Обратите внимание!

По случаю всеобщей забастовки, нами набраны подмастерья, хотя не блещущие именами, но могущие потрафлять всегда и во всем и, смеем уверить, будут стараться, под непрестанным нашим руководством, над немедленным исполнением требований.

Просим оказать им доверие,

которое они не замедлят, надеемся, оправдать перед почтеннейшей публикой.

!!!ОСОБЕННО ВАЖНО!!!

Просим всех прочесть.

Цены на человеческую жизнь нами оставлены прежние.

С почтением *А. Гучков*

Петербург — балаганил, как всегда.

XXXII

Петербург, по обыкновению балаганил.

А в уездном городе Тараванске исправник, Николай Иванович Хренников, на собственных именинах, взял кусок черного хлеба, отрезал корочки, равномерно намазал на мякиш сливочного масла, слегка посолил, тщательно поперчил, положил несколько кружочков испанского лука, приготовленного в уксусе и прованском масле, покрыл все тоненьким ломтиком вестфальской ветчины, опять чуть-чуть поперчил, разрезал бутерброд на четыре равные части, налил в одну рюмку аллаша пополам с английской горькой, в другую влил немножко мятной, немножко померанцевой, слегка анисовой и дополнил простой, выпил сначала одну рюмку, закусил ее двумя кусочками, потом другую рюмку, закусил ее двумя кусочками, — и тогда уже, прожевав, ответил г. Лебедеву, редактору «Новой Тараканской Трибуны», выходившей

вместо просто «Тараканской Трибуны», закрытой на все время положения о чрезвычайной охране:

— А декларации г. Гучкова, впредь до письменного подтверждения из Петербурга, я вам все-таки напечатать не позволю. А напечатаете, — номер конфискую!

— Министр пишет, а вы зачеркиваете?

— Да! — подтвердил Николай Иванович. — Министр пишет, а исправник зачеркивает. Можете по этому поводу: «Милует царь, да не жалует псарь», или какую другую либеральную поговорку припомнить. Мне это все равно.

— Но ведь это произвол!

— Власть!

— Совершенный произвол. Это что же? Ваш начальник… Неповиновение властям!

— Я вам, конечно, очень признателен, что вы меня, дурака, уму-разуму учите, как мне свою власть толковать. Но только, позволю себе заметить, я и сам не лыком шит и в этом смысле кое-что понимаю. При четвертом министре-президенте держусь. Да раньше них, — при восьми, сударь вы мой, настоящих министрах служил.

— То есть, как же это? То настоящий министр, а то не настоящий!

— А так-с!

Николай Иванович помолчал, достал сигару, внимательно раскурил и сказал:

— Чудно это, господа, что вы полагаете. Я не могу жить свиньей. Я — дворянин. Я — офицер. Не будь у меня семьи, я, может быть, по нынешним временам, полковником… за особо усердную деятельность генерал-майором бы был. Но у меня семья, и потому я по полицейской части. Прикреплен! У меня есть привычки. Я сигару курю в тридцать копеек. У меня жена. Ей надо в люди поехать, к себе принять. Чтоб было, в чем, — чтоб было, чем! У меня четверо детей…

Брови Николая Ивановича сдвинулись, лицо стало хмуро при этом слове.

— Четверо теперь… Два сына. Я их правительству же готовлю: в кадетах. Две дочери. Две! Должен же я их, господа, за ваших же сыновей выдать. Значит, приданое дать? И вдруг мне говорят: «Конец полицейскому режиму!» Пшел, Хренников, вон! Кури, Хренников, махорку! Жену отправь на базар мочеными яблоками торговать. Сыновей в жулики, а дочерей отдай в учительницы!

Сидевший в гостях учитель тихонько крякнул.

— Подумайте! Ну, может ли это быть? И со мной не могут так поступить, и я не дозволю, чтобы со мной так поступили!

Он сказал это твердо и решительно.

— Привыкли жить при настоящих министрах. До настоящих министров опять дослужимся!

— Позвольте, Николай Иванович, — вмешался учитель деликатным голосом, — как может быть министр не настоящий, раз он назначен?

— Нет власти, аще не от Господа! — вздохнул соборный протоиерей, закусывая. — Властям предержащим да повинуйтесь!

— Какие же такие бывают не настоящие министры и настоящие?

— Настоящие министры?

Николай Иванович посмотрел на учителя вразумительно.

— Настоящий министр назначался не в угоду. А так, просто, властью. На то и власть! Взяла и назначила. И был он министр от века и до века, пока не заболел. Настоящий министр в город приезжал, — улицы до камней чистили! В собор ехал. Как победитель! Духовенство его благословляло. Но казалось так, что само испрашивает благословения у его высокопревосходительства. С настоящим министром говорить

никто не смел. А не он, — извините меня, г. Лебедев, — даже перед газетчиками распинался! За настоящим министром если что водилось, — молчать было приказано. Молчать! Не казначеишка какой-нибудь! Ответственности не подлежал. Это была власть! Настоящая власть! Со всеми, как вы теперь выражаетесь, прерогативами, что ли! На такую власть уповать можно было. И властям, ею поставленным, поневоле верили. Верили и повиновались! Ибо фордыбачить было бесполезно. Настоящий министр был дуб! В смысле крепости сравниваю… Не по чему-нибудь назначался, — по родству, по связям, по истинной силе! У него корни были, — шевельни, под всем Петербургом земля заходит. Везде корни! А теперешние, эти, нынешние, завтрашние, послезавтрашние, как блины в ресторане — «ежедневно свежие», — что? Преходящее! Сменяющееся! Как дурная погода! Цветочки!

— И не будет и не познает к тому места своего! — улыбнулся соборный протоиерей, закусывая.

— Это так-с! «Стороной пронесет!» Как летом дождик! И не могу я поверит-с, чтоб г. Гучков или там другой кто в этом роде был всерьез, настоящим министром. По вере моей не могу поверить! Вот как батюшка, — не может он страннику какому-нибудь поверить, будто тот пророк, и ему все писание открыто!

— Не поверю. Малодушие! — подтвердил протоиерей, утираясь салфеткой. — И ни с чем не сообразно, к тому же! В писании сказано: придут многие лжеволхвы…

— Государство есть нечто вечное. И власть есть вечная. И, в вечное веруя, не могу временному, преходящему уверовать. Ни поддаться! Так это, поблажка… Минует время, и ничего «этого» не будет. «Стороной пройдет!» Мы, люди на местах, завет незабвенного Дмитрия Федоровича помним!..

— Документ имеете? — осведомился батюшка. — Циркуляр был?

— Письменного документа не было. Но истинный, но в душе служащий, — и без письменного подтверждения понимать должен. Улавливать! Сродством души постигать! Наш человек был. Сын градоначальника, сам обер-полицмейстер. Урожденный наш. «Рыбак рыбака»… И мы поняли. Его вот мы, господа писатели, под конец жизни либералом прославили. Смеху подобно! А мы вот… неученые люди, а лучше вас поняли. И в первый раз, когда об амнистии этой самой речь зашла, — поняли. «Полную, Дмитрий Федорович говорит, дать полную!» И когда об автономии пресловутой университетской речь зашла, — и тогда поняли. «Дать, говорит, автономию, ежели желают!» И когда о министерстве речь зашла, — и тогда подтверждение нашему пониманию получили. «Кадетского, говорит, желают! Дать им кадетское!» Понятно?

— Что ж тут понимать? Очень либерально! — заметил кто-то из гостей.

— По-вашему либерально, а по нашему общепонятно! Это, как в стихах какого-то подпольного поэта, — при обыске как-то отобрал, — говорится:

«Лишь надобно народу
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать!»

— Это, правда, цензурой не разрешенное… но не подпольного поэта, а Алексея Толстого стихотворение! — запротестовал учитель.

— Граф был! — добавил протоиерей.

— Да? Знаете? — Исправник посмотрел на учителя и сухо добавил: — Для нас, батенька, всякий, кто стихами пишет, — крамольник. Пиши, как следует.

И он продолжал, и в голосе его слышалась ирония:

— Свободы желаете? Сделайте одолжение. Показать им, что такое свобода! Пусть видят. Это, знаете, как у меня на базаре. Вы моего старшего городового Мастерицына знаете? Взвыли на него бабы: такой-то он, сякой-то. И то-то берет и это-то! Строчилы кабацкие им жалобы пишут. В день по десятку получаю, в передней у меня бабы ревут. «Моченьки нет! Ослобони их от Мастерицына». Позвал! В глаза ему гляжу, он мне в глаза глядит. Как собака на охоте без слов хозяйскую мысль в глазах читает. Впилась! «Что, говорю, Мастерицын? Вот ты баб на базаре от воров ограждаешь?» — «Ограждаю, говорит, так точно, ваше высокобродие! В том моя обязанность!» — «А вот бабы тобой недовольны! И такой ты и этакий! А не будет тебя, я думаю, воры узнают. "Можно теперь!" скажут. На базар нахлынут!» Понимает, умный пес! «Так точно, говорит, ваше высокобродие, беспременно воры нахлынут!» — «Ну, что ж, говорю, Мастерицын, это уж бабье дело. Бабам лучше знать, что им лучше, что им хуже! Я тебя, Мастерицын, на плохой участок переведу. Будешь жить, Мастерицын, в бедности!» — «Есть, говорит, на все воля ваша, ваше выскобродие. Служили на хорошем, послужим и на плохом. Жили богато, поживем и бедно. Как вашей начальнической милости будет угодно. Мы же на все согласны!» Перевел. Трех дней не прошло, — бабы воем взвыли: «Верните нам Мастерицына. Без него жулье как из прорвы. Житья нет». В ногах валяются: «При Мастерицыне было куда ж!» Дал им еще три дня повыть, и Мастерицына им назад водворил. И уж навсегда!

Николай Иванович даже погрозил пальцем.

— Пример маленький. Но в стройном государстве, и в большом и в малом, политика должна быть одна. Понюхайте, понюхайте свободы! Понюхайте, понюхайте министерств! Исправника попросите!

— Не вкусивши горького, не захочешь сладкого! — вздохнул батюшка.

— Заграницы разные, которые деньги дают и на проценты живут, — вообще республики… Стыдно им одним на свободе-то ходить, как гулящим! Тоже вой подняли: «Скорей свободу дать». Денег без этого не дают! Скажите! «Они, мол, созрели. Чего вы их под опекой держите?» Созрели? Свободу? Дать им свободу! Пущай покажут, как созрели! Год свободы прошел. Разбой по всей земле! Вот тебе и свободы. «Видите, миленькие, как они созрели?» Вот как, судари вы мои, настоящие-то государственные умы полагают. И как мы на месте безмолвно понимать должны. Не настоящее! А вот не настоящего-то вы покушаете, так настоящего вот как запросите. Как бабы с базара завоете: «Верните нам опять Мастерицына». Вас учат! Эх… вы!

— Вы ошибаетесь!

Николай Иванович презрительно пожал плечами.

— Един Бог без греха! — сказал соборный батюшка и добавил:

— И без ошибки!

XXXIII

Спор становился горячим и всеобщим.

— Ведь это ж анархия?

— Борьба за власть.

— С чьей стороны борьба? С чьей?

— С нашей. Кто ее имеет! С «бюрократической», с «полицейской», как вы там ее еще называете. Зовите как хотите! Но с настоящей! Кому она принадлежала! Кто в ней вырос! Всякий хозяин за свое добро борется! Вот еще! Я привык! И ежели у меня какая-нибудь стриженая дочь, мое же отродье…

Николай Иванович закусил губу, и снова лицо его стало хмуро.

И все замолкли.

— Но, однако, — заговорил после неловкой паузы редактор «Трибуны», — ежели из Петербурга идет категорическое, предписание… Вы что же, отдельным государством себя, что ли, объявите? Сопротивляться будете?

Николай Иванович улыбнулся, и что-то злобное пробежало по его лицу.

— Повиноваться буду! Всю жизнь повиновался, и тут повиноваться не перестану.

— Ага! Значить, свободы…

Николай Иванович, прищурившись, посмотрел на говорившего:

— Да вам каких, собственно, свобод надо?

— Четырех свобод!

— Да не угодно ли хоть десять!

— Свободы собраний!

— Собирайтесь!

— Слова!

— Говорите! Хоть бомбы на всем народе чините! Еще оно лучше, ежели на виду. Меры приму! Свободы собраний, слова! Скажите! Да хоть во все горло орите! У меня тут один живописец вывесок есть, — вы его знаете. Такую глотку Бог дал! На всех митингах! Первее его нет! Разве я ему препятствовать стану? В свободах? Я его позвал и прямо сказал: «Ты вот что, любезный. Ты митинги эти свои собирай и говори на них, что тебе угодно. Хоть меня ругай! Тебе за это, вот мое слово, ничего не будет! Право имеешь! Свобода. Но только: ты на митинг, а я в мастерскую. Ты речь, а я протокол. За одно употребление свинцовых белил, как вредных для здоровья, без сапог пойдешь. Понял?» — «Закону,

говорит, такого нет. Без свинцовых белил невозможно». — «Закону, говорю, нету, а положение о чрезвычайной охране есть! И по нему весьма возможно. До трехсот рублей, или, — несостоятелен? — до месяца на высидку постановлю. Заплати и разбирай потом: правильно? Отсиди и хлопочи потом: законно? Или живопись, или политика. А там дело твое: митинги собирай, — не препятствую!» Медник тоже один был. Оратор! Сам его слушал: отлично говорит. Адвокат! С этим я, конечно, и говорить лично внимания не взял. Так, по мастерам дал знать: где в мастерской «адвокат» на работу станет, — сейчас на ту мастерскую протокол за антисанитарное содержание. Слова ему по поводу речей не сказал! Двух месяцев не прошло, — «адвокат» из города уехал. Работы нигде. А то стану я свободам мешать! Вам свободы печати? — повернулся он к редактору «Трибуны». — Печатайте что вам угодно! Разве я препятствую? Господи! Я только, в виду явившихся у меня сомнений, номер конфискую. Нынче конфискую и завтра и послезавтра. На усмотрение! Пусть судебная палата, в губернии, решит запретить номер или выпустить. А вы газету гг. подписчикам чрез два месяца и рассылайте. Очень будут признательны!

— Но это ж произвол!

— Власть!

— Произвол!

— Власть!

— Произвол!

— А, зовите как хотите. Вообще сила!

— Но где же право?

— Права бунтовать никому не дадено!

— Этаким манером, действительно, что прогресс задержаться может! — сокрушенно заметил батюшка.

— Прогресс есть вещь медленная!

И от спора, и от волнения, и от выпиваемых смесей Николай Иванович пьянел.

— Вы видели, чем я водку закусывал? — спросил он, оглядев всех маслянистыми и слегка блаженными глазами. — Что это такое было? Прогресс! Мой папенька, царство ему небесное, только до губернского города доезжал. И всего на все карпа оттуда с черносливом вывез. У Мариани там в гостинице готовили. Очень модное блюдо считалось. А я, его сынок, в столичном городе Москве есть учился. Захожу в «Эрмитаж» Оливье. Чертог-с! Одна лестница! Шествие по ней из балета устраивать! Зал! Для ассамблей зал. Метрдотели идут, — дорогу даешь. Думаешь: коммерции советники! Сижу и с благоговением взираю. Шутка? Ведь здесь половина выкупных платежей проедена! Захотел свидетельские показания по этому делу выслушать. Очевидцев допросить. Как это могло? Кивнул полового: «Вызвать ко мне Оливье!» — «Извините, говорит, они померли». — «Кто, спрашиваю, из свидетелей того времени жив?» — «Мариус, говорят, господин». Старик Мариус еще жив был. Распорядитель. Приходит старик, смеется. «Желаю, — говорю, — произвести дознание: как это происходило? Пол-России в трактире было съедено?» И допросил: «Что ели? Чему были свидетелем и… хе-хе!.. пособником и подстрекателем?» Тут он мне, среди прочих блюд, сей бутерброд и открыл. «Вот, мол, чем закусывали! Возьми хлеба, испанского лука, сливочного масла лучшего, вестфальской ветчины без жилы и без жира…» Вы видели, чтоб так водку закусывали? Нет? А теперь видели! И знаете! И сами в другой раз закусывать станете и других этому закусону научите. Так знание и распространяется!

Он закончил наставительно:

— Мирно трудись, а мы тебе, как наилучше использовать плоды мирного труда, покажем. На этом и дворянство и власть. Значит, и все! В этом и прогресс!

— А турнут? — спросил вдруг незаметно как напившийся письмоводитель.

— А погром? Все жулье в городе знаю. Такой свободой воспользуются, — обыватели сами осадного положения запросят.

Николай Иванович с гадливостью посмотрел на письмоводителя строго:

— Ты бы, свинья, спать пошел! Боишься, чтоб не турнули, а сам дерзишь! Гад!

XXXIV

К концу вечера Хренников опьянел окончательно.

Глаза у него были красны.

Он вопил:

— И буду бороться! Без пощады бороться буду! Где бы ни встретил! У меня семья! В семье бороться буду! Дочь… Людмила Хренникова… Анархистка!.. За студентишкой бежала!.. За оратором!.. Нелегальная… Дочь!.. Людмила Хренникова! И вдруг! На скамье подсудимых! За государственное преступление! На что обута, на что одета, на что вскормлена, вспоена, тварь? На что грамотна стала? И от всего… На отцовскую жизнь плюнула!.. От всего отреклась! «Грязь, говорить, стыдно мне…» Отцовского всего стыдно. На коленках у меня сидела, девочкой ее качал, белокурая была… и всего стыдно! Все грязь! И колени отцовские — грязь! «Искуплю!» говорит. Что «искуплю-то»? — «Что я — Хренникова!» Имя, свое, отцовское, материнское, братьев, сестер, мерзко! Подложное, по фальшивому паспорту, бродяжеское, — и то лучше!..

Он плакал.

— Перестань! Перестань! — со слезами, трясясь головой, уговаривала его жена. — Чужие… перед чужими…

— Изловить мне ее! — вопил Николай Иванович. — Своими руками задушу! Вот этими руками! Я — отец, у меня четверо детей: дочь родную задушу! Смотрите! Вот до чего предан! Дочь! Меня… усердие… усердие… увидят… ревностное исполнение… меня генерал… генерал… губернатором сделают… Римлянин!

Он засыпал.

Гости потихоньку расходились.

XXXV

В «Figaro» появилась статья:

— Русские дела.

За подписью: «Иван».

(От нашего корреспондента)
Петербург (такого-то числа)

«Министерский кризис благополучно окончился, и Россия вступила, — на этот раз, надеемся, окончательно, — на путь мирного прогресса и процветания. Известие, которое, конечно, может только порадовать многочисленных держателей русских бумаг.

Вступление г. Гучкова (о смерти которого от бомб за последнее время неоднократно сообщали наши коллеги; на пост министра-президента, несомненно, — крупнейшее событие на последних страницах русской истории.

Перед нами человек в полном цвете лет и незаурядных достоинств, какие не часто встречаются в людях. Г. Гучков пользуется полным доверием (он миллионер!). Искренний друг свободы, — он сражался за буров. Обладает добрым, отзывчивым сердцем, — стоял во главе санитарного отряда во время последней войны. Но в то же время истинный друг порядка, — он занимался искоренением в Китае разбоев. И недюжинной энергии: г. Гучков объехал весь свет.

Министерская декларация г. Гучкова произвела самое лучшее впечатление, и мы можем с удовольствием констатировать, что в г. Гучкова верит вся страна! Русские поздравляют себя с таким приобретением, как г. Гучков.

Несомненно, что, опираясь на такую всеобщую поддержку, симпатичному г. Гучкову ничего не будет стоить освободить жаждущую покоя страну от анархистов, предводимых гг. Шиповым, Стаховичем, Долгоруковыми, Гейденом, Трубецким, Урусовым»…

Корреспондент написал:

— Князьями Долгоруковыми, графом Гейденом, князем Трубецким, князем Урусовым.

Даже:

— Князем Шиповым и графом Стаховичем.

Но редактор задумался:

— Что это у них, — что ни анархист, то князь или граф? И титулы вычеркнул.

«Гучков теперь самое популярное имя в России.

Составленный им кабинет не блещет известностями. Но это-то и обеспечивает ему полное доверие: в нем нет говорунов, составивших себе громкую славу на митингах! Это скромные деятели, не гнавшиеся за дешевыми лаврами и работавшие, избегая быть замеченными. Самая скромность их имен производит чрезвычайно выгодное впечатление. Русские любят скромность.

К тому же ни один акт, ни одно мельчайшее распоряжение ни по одному из министерств не проходит без санкции министра-президента. Г. Гучков работает везде сам, везде поспевая лично, с семи часов утра часто до поздней ночи.

Энергия его поразительна. И могла бы вызвать известного рода беспокойство у людей, заинтересованных русскими делами. Но мы можем подтвердить, что г. Гучков обладает несокрушимым здоровьем.

Оставив вокруг себя весь административный антураж из лиц, опытных в государственных делах, г. Гучков может быть уверен в их полном и драгоценном содействии.

Являлось еще опасение: как отнесутся к этому первому министру-президенту из общественных деятелей — чины провинциальной администрации. Но привлечением — закон дает ему на это право, — городских муниципалитетов к увеличению издержек

на полицию г. Гучков привлечет к себе, несомненно, сердца и всей полиции в стране. А полиция в России — все.

Крупный фабрикант сам (его обожают рабочие!), он практически знает рабочий вопрос. А что касается до некоторых, действительно существующих в стране местных аграрных споров и недоразумений, то г. Гучковым на этот счет будут приняты решительные меры. Здесь все уверены, что хотя и темный, но одаренный все-таки, как выражаются в России, "здравым смыслом" (нечто в роде того, что у нас называется: "ум"), отлично выражаемым пословицей: "Мой дом с краю, ничего не знаю" — русский народ в самом непродолжительном времени, со свойственным ему историческим терпением, вновь примется за свой полезный и производительный труд.

Какую колоссальную опасность для дела революции представляет г. Гучков, — показали сами анархисты. Они сразу поняли, что с появлением у власти г. Гучкова их дело проиграно сразу и бесповоротно и что в России теперь должно наступить спокойствие и процветание. Г. Гучков удостоился с их стороны "чести", неслыханной даже для русского министра: на него, как известно, было произведено покушение в первый же день, в первый же час его вступления во власть!

Все это еще более должно убедить держателей русских бумаг, что с появлением у кормила правления г. Гучкова волнение вокруг государственного корабля сразу стихнет, и Россия спокойно и прямо пойдет в гавань благоденствия. Кредит ее за границей, несомненно, быстро поднимется, что даст правительству значительную свободу в финансовых операциях и проведении реформ, которые, как и война, прежде всего, требуют трех вещей:

— Денег, денег и денег!

Пожелаем же, — и мы уверены, что к этому пожеланию присоединятся все заинтересованные в русских делах, — а где их, этих заинтересованных, нет? — пожелаем г. Гучкову выполнить задачу, — в блестящем выполнении которой, можем это засвидетельствовать, впрочем, никто в России не сомневается…»

XXXVI

В деревне было тихо.

Говорили:

— Это игде горить?

— Надоть быть, у Петлугина барина!

— Ври! Петлугины, чай, не в той стороне!

— Ну, значит, Черемшевы хутора!

И расходились по избам.

Эпилог

Через два месяца в «Правительственном Вестнике» появилось:

— Министр-президент А. И. Гучков увольняется от должности, вследствие прошения, по болезни.

Через два дня телефон из Петербурга уведомил:

— Бывший министр-президент А. И. Гучков для поправления здоровья выехал за границу.

А через месяц телеграмма из Ниццы сообщила:

— На гостящего здесь министра-президента в отставке г. Гучкова было сделано покушение. Встретившаяся с ним на «Promenade des Anglais [16]» молодая девушка произвела в него два выстрела из револьвера. Оба выстрела без результата. Обезоруженная и задержанная молодая девушка объявила, что ее имя — *Людмила* Хренникова и что она стреляла в г. Гучкова, чтобы отомстить за смерть своего жениха, некоего Савелова, приговоренного (?) г. Гучковым к смертной казни. Г. Гучков категорически заявил, что самая фамилия Савелова ему решительно неизвестна. Предполагают, что девушка сумасшедшая, что теперь часто наблюдается у проживающих за границей русских.

---

[16] Английская набережная (*фр.*).

Прошел еще месяц… два…

В газетах иногда появлялось известие:

«По слухам, предполагается возвращение А. И. Гучкова на пост министра-президента».

«По слухам, с А. И. Гучковым ведутся переговоры».

«Петербургское» телеграфное агентство каждый раз аккуратно опровергало:

«Мы уполномочены заявить, что мысли о возвращении А. И. Гучкова на прежний пост не возникало».

«Мы уполномочены заявить, что никаких переговоров с А. И. Гучковым никем не ведется».

Наконец и эти известия перестали появляться.

Прошло пять месяцев.

Когда кто-нибудь вдруг говорил:

— Гучков…

Его переспрашивали:

— Как вы сказали?

— Гучков, Александр Иванович!

Пожимали плечами:

— Да он кто?

— Господи! Но как же вы! Бывший министр-президент…

— А!.. этот…

Или припоминали:

— Да, да, был такой!

И разговор равнодушно переходил на другую тему.

Прошло семь месяцев.

Александр Иванович писал в Россию, в Петербург, министру-президенту:

«Случайно разбирая свои бумаги, я нашел, случайно же попавшие среди них, прилагаемые: записку и запечатанное письмо. Это писал перед смертью один казненный неизвестный молодой человек, который хотел в меня бросить бомбу. Он просил передать эту записку для напечатания в газеты, говоря, что тогда явится

старушка, его матушка, которая узнает его по слову “попочка”. Ей он просил передать запечатанное письмо. Просьба эта тогда почему-то исполнена не была. Теперь этому прошло много времени, и я надеюсь, что Ваше Высокопревосходительство не найдете ничего против, чтоб воля»…

Александр Иванович написал:

— Покойного.

Но потом взял другой лист и переписал все письмо.

« … чтоб воля умершего была исполнена. Отчего не доставить горького и позднего, но все же утешения получить загробный привет от сына какой-то неведомой нам старушке, которой, быть может, осталось мало жить, и которая ждет, ждет своего сына. Исполнением этой просьбы Вы премного обяжете меня. Не поставьте себе в труд, Ваше Высокопревосходительство, приказать ответить мне, какая участь постигла эту просьбу.

P. S. Я думаю, что фамилия молодого человека была Савелов. Но не уверен».

Ответа не последовало.

Александр Иванович месяц следил по русским газетам.

Не раздастся ли протяжный, призывный стон:

— Попочка.

В газетах ничего не появилось.

Содержание

Запись бесед А. И. Гучкова с Н. А. Базили 3

Речь по смете Святейшего синода
(Заседание 9 марта 1912 г.)...163

Речь об общем политическом положении
(Совещание «Союза 17 октября» в Петербурге
8 ноября 1913 г.)...167

Речь, произнесенная военным и морским
министром А. И. Гучковым в заседании
Центрального военно-промышленного комитета,
с участием всех общественных и промышленных
организаций в Александровском зале Петроградской
городской думы 8 марта 1917 года..190

Приложение 197

Л. Троцкий. Гучков и гучковщина...199

В. М. Дорошевич. Премьер.
Завтрашняя быль (Фантазия) 205

Александр Иванович Гучков

Отречение Императора и другие исторические события

Воспоминания Председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Подписано в печать 09.10.2019
Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 22, 38
Тираж 500. Заказ № 19-10-09

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16


DirectMEDIA